

АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ ИМ. А. А. ПОТЕБНИ

*К IX Международному
съезду славистов*

СОВРЕМЕННОЕ ЗАРУБЕЖНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
И МЕТОДОЛОГИИ

007063

КИЕВ НАУКОВА ДУМКА 1983

ЗАРУБЕЖНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ НА РАСПУТЬЕ

Мировое языкознание живет интенсивной и многогранной жизнью. Ежегодно собираются десятки международных форумов, посвященных различным аспектам общего языкознания и проблемам изучения отдельных языков или языковых групп и семей, выходят в свет сотни периодических изданий, относящихся к многочисленным областям общей и частной лингвистики, публикуются тысячи монографий и статей на лингвистические темы. Такое большое место, занимаемое лингвистикой среди современных областей знания, обусловлено, с одной стороны, исключительно важной и всевозрастающей ролью языковой деятельности в развитии общества, а с другой — первостепенным значением теоретического осмысления сущности языка для понимания ряда кардинальных вопросов философии, психологии и социологии.

Как и ряд других гуманитарных наук, современное мировое языкознание характеризуется значительным разнообразием методологических подходов к изучаемому объекту. Такое отсутствие единства методологических основ, помимо многоплановости самого языка как объекта исследования и отмеченной исключительно тесной связи ряда общелингвистических проблем с мировоззренческими проблемами философии, усиливается специфическими особенностями развития науки о языке в настоящий период. Лингвистический структурализм, пустоцвет которого облетел в основном на протяжении 60-х годов, оставил после себя сильно засоренную методологическую почву. На этой почве, наряду с новыми здоровыми ростками традиционных отраслей языкознания, получивших прочную опору в методологии диалектического материализма, появились зародившиеся в тени структурализма лингвистические направления, ориентированные главным образом на отдельные разновидности идеализма и позитивизма.

Противоположность диалектико-материалистической методологии, с одной стороны, и методологии идеализма и позитивизма — с другой, является основной чертой, характеризующей современное состояние мирового языкознания. Диалектико-материалистическое

языкознание исходит из понимания языка как специфического, свойственного всем членам общества знаково-коммуникативного вида общественной деятельности, имеющей объективный характер и субъективно осмысливаемой ее носителями подобно всем другим видам деятельности. Сущность языковой деятельности заключается в том, что все доступные человеческому восприятию и осмыслению явления действительности и связанные с ними факты сознания обозначаются при помощи исторически закрепленных, общественно отработанных аналитических звуковых знаков человеческой речи или их условных письменных заместителей. Такое обозначение делает возможным необходимое для развития общества мысленное оперирование с бесконечным количеством классов объективных явлений и отвлеченных понятий и взаимный обмен результатами этого оперирования между людьми. Исторически установившиеся приемы и закономерности языковой деятельности, бесконечно повторяющиеся в сходных ситуациях, образуют сложную систему, реально существующую в общей совокупности речевых актов, осуществляемых всеми членами общества (языкового коллектива). Не будучи в состоянии непосредственно наблюдать реальную систему языка в целом, каждый исследователь создает себе приблизительное представление о ней на основании сопоставления и обобщения фактов, наблюдаемых в доступной конкретному исследованию части речевых актов, и собственных языковых навыков. В результате обобщения получаемых таким образом представлений о реальной системе приемов и закономерностей языковой деятельности создается абстрактная научная система языка, которая излагается в форме научной фонетики, грамматики и словаря данного языка и в таком виде становится объектом дальнейшего научного анализа и обобщения, но не может полностью заменить собой понятие реальной системы языка в общелингвистической теории. Как и другие виды общественной деятельности, с развитием общества языковая деятельность претерпевает постепенные изменения под влиянием определенных причин, одни из которых представляют собой факторы внутриязыкового характера, другие — внеязыковые факторы. Исторические изменения языка, совершающиеся медленно и постепенно, непосредственному наблюдению практически недоступны. Но о них можно судить на основании сопоставления данных о различных этапах развития одного и того же языка или же группы родственных языков по их разновременным фиксациям в письменных памятниках или же по отдельным генетически соотносительным формам родственных языков или диалектов, восходящим к предполагаемой единой более древней форме. Языковые данные, получаемые из письменных памятников или путем сравнения фактов родственных языков, отражают исторические этапы развития языка неполно и не всегда точно. Но эти данные позволяют в той или иной степени, в зависимости от их количества, приблизиться к правильному пониманию объективного состояния языка на прошедших этапах. Каждое состояние языка, фиксируемое на каком-нибудь этапе, является лишь научной абстракцией, представляющей

одни из моментов непрерывного процесса осуществления и постепенного изменения языковой деятельности. В соответствии с этими исходными положениями решаются в диалектико-материалистическом языкознании и все остальные вопросы теоретического объяснения и эмпирического исследования языка. Диалектический материализм признает возможность различных конкретных подходов к языку и методов лингвистического анализа, зависящих от непосредственных целей исследования и от характера исследуемых объектов, но не допускает превращения какого-либо одного из этих частных методов в универсальную теорию языка. Диалектико-материалистический подход к языку наиболее последовательно учитывает действительную сущность языка и объективные возможности его научного познания, обеспечивая языкознанию максимальную эффективность и общественную полезность.

Идеалистическое языкознание отрицает первичность объективного существования языка. Искусственно отделяя язык от речи как его реализации, идеалистическое языкознание представляет язык в виде идеальной системы, находящейся только в сознании каждого говорящего (субъективный идеализм), или в виде якобы объективно существующей системы чистых отношений, не обладающих материальными свойствами (объективный идеализм). При этом языковой знак трактуется как идеальное единство означающего и означаемого, в принципе не зависящее от обозначаемого реального объекта. В связи с этим языковая деятельность рассматривается как свободное проявление духа, не зависящее от объективной действительности, а исторические изменения языка объявляются иногда лишенными причинного характера и обусловленными только внутренней целенаправленностью, языковой свободой говорящих. Философский позитивизм, пытающийся стать выше противоположности двух основных направлений в философии — идеализма и материализма — и тем не менее в ряде отношений смыкающийся с идеализмом, внес в языкознание агностическое отношение к реальному объекту исследования и ограничение исследовательского интереса явлениями, воспринимаемыми на уровне непосредственного наблюдения. С этим связана и ярко выраженная в зарубежном языкознании тенденция к кропотливой разработке и бесконечному совершенствованию формальных методов описания и анализа фактов языка, громоздких систем их условного обозначения, предельно затрудняющего восприятие и понимание скрываемых за ним фактов. Положение позитивизма об одинаковой допустимости различных научных теорий, объясняющих один и тот же объект, способствовало возникновению в зарубежном языкознании целого ряда лингвистических концепций, каждая из которых создает свою систему понятий и утверждений, отличающихся от принимаемых в других концепциях (впрочем, нередко только по названию, в плане терминологии), и вместе с тем стремится приобрести статус универсальной общелингвистической теории. Идеалистический и позитивистский подходы в языкознании ведут к извращенному представлению исследуемых объектов, выпячиванию одних их сторон и затупевы-

вашю других, отвлечению внимания исследователей на бесперспективную разработку фиктивных проблем и игнорированию проблем действительных и актуальных.

Диалектико-материалистическая методология играет ведущую роль в советском языкознании, методологии идеализма и позитивизма — в языкознании капиталистических стран. Это объясняется в первую очередь причинами идеологического характера — тем, что философия диалектического материализма является неотъемлемой составной частью марксистско-ленинской коммунистической идеологии прогрессивного и развивающегося социалистического общества, в то время как различные направления философского идеализма и позитивизма используются для теоретического обоснования идеологии реакционного и отмирающего общественного строя капитализма. Однако зависимость между идеологией, господствующей в данном обществе, и методологией, принимаемой в языкознании страны, не имеет прямого характера. В любой капиталистической стране наряду с господствующей идеологией может быть более или менее широко представлена другая идеология, сказывающаяся и на методологии разрабатываемых здесь общественных наук. Не менее существенно и то обстоятельство, что не все исследователи, занимающиеся разработкой определенных проблем языкознания, осознают глубинные связи отдельных лингвистических концепций с соответствующей философской методологией и дальше — с классовой идеологией. Именно поэтому в капиталистических странах часть языковедов, преимущественно умудренных большим исследовательским опытом, убеждаясь в несостоятельности модных направлений в языкознании, пытающихся перечеркнуть многие достижения предшествующих этапов развития лингвистической науки, стихийно, под давлением совокупности исследуемых ими фактов принимают одно за другим положения наиболее прогрессивной методологии в языкознании, иногда и не подозревая, что они становятся, более или менее последовательно, на позиции диалектического материализма. С другой стороны, преимущественно молодые, еще недостаточно теоретически подготовленные языковеды нередко проявляют склонность к увлечению необычными терминами и парадоксальными формулировками отдельных модных направлений и в результате вольно или невольно оказываются на позициях идеалистического и позитивистского языкознания.

Таким образом, борьба между главными, диаметрально противоположными методологическими направлениями в языкознании ведется в основном не на уровне методологии, а на уровне разработки конкретных лингвистических проблем. В принципе такое положение вполне закономерно, так как именно в исследовательской практике могут быть проверены эффективность той или иной методологии, ее адекватность исследуемой действительности. Но при таких условиях, без одновременной открытой борьбы на уровне методологии, в значительной степени тормозится общий прогресс науки о языке. Прогрессивная методология распространяется в мировом языкознании стихийно, шаг за шагом, в исследованиях отдельных

ученых, слишком медленно отвоевывая у реакционной методологии одну позицию за другой, между тем как реакционная методология взамен каждой утраченной ею позиции занимает новые, еще более тщательно маскируя их необычными обозначениями и формулировками. Сторонники идеализма и позитивизма в языкознании стараются сохранить такой характер борьбы, они даже выдвинули лозунг о том, что в науке не стоит «сражаться за знамена», пытаясь этим лозунгом отвлечь внимание широких кругов лингвистов от подлинной идеологической сущности разрабатываемых и защищаемых ими лингвистических концепций. На примере Копенгагенской школы структурализма они убедились в том, что открытая борьба на уровне методологии не сулит идеализму и позитивизму в языкознании сколько-нибудь существенного и длительного успеха. Но систематическое дополнение борьбы между лингвистическими концепциями, основывающимися на различных методологических позициях, непосредственной конфронтацией на уровне самой методологии вполне соответствует интересам утверждения прогрессивного диалектико-материалистического подхода к языку и ускоренного развития языкознания, так как только таким путем могут быть в надлежащей мере раскрыты идейная порочность и познавательная бесперспективность методологии идеализма и позитивизма, а тем самым — и методологическая несостоятельность формирующихся на их основе лингвистических направлений.

Современный период в зарубежном языкознании определяется как послеструктуралистский. Представленное различными разновидностями структуралистское направление в течение нескольких десятилетий навязывало языкознанию восходящую к де Соссюру преувеличенную оценку роли идеалистически понимаемой языковой структуры как сети чистых отношений, якобы определяющих и материальную природу конкретных единиц языка, и их семантическое содержание. В рамках структурализма или просто под его вывеской были получены и некоторые положительные результаты в изучении структуры языка, особенно в тех случаях, когда исследователи принимали структурализм лишь как один из возможных аспектов изучения языка, не исключая других аспектов (напр., А. Мартине, некоторые представители Пражской лингвистической школы и др.). Но эти положительные результаты, которые могли быть достигнуты и без структурализма, не идут ни в какое сравнение с тем отрицательным влиянием, которое структурализм оказал на методологическое воспитание новых поколений лингвистов и на состояние разработки ряда важных разделов языкознания. Подавляющее большинство лингвистов, попавших под влияние структурализма, усвоило вместе с его теоретическими положениями методологически ложное представление о якобы идеальной сущности языка как гипостазированной системы, оторванной от объективной действительности, и стремление к формализации как основному способу и конечной цели исследования языка. Структуралистское игнорирование принципа историзма в языкознании и связанное с этим ограничение задач языкознания синхроническим изуче-

нием внутренней структуры языка привели к глубокому упадку исторического языкознания, устранению из сферы языкознания проблематики подлинно общественных аспектов функционирования языка, социальной обусловленности его развития:

Лингвистический структурализм сошел со сцены не вследствие идейной борьбы — эта борьба велась против него недостаточно активно, — а из-за своей специально научной несостоятельности, неспособности обеспечить надлежащую разработку актуальных проблем языкознания. Тем самым не были отвергнуты обусловившие эту научную несостоятельность порочные методологические основы структурализма, а лишь отклонены предлагавшиеся структурализмом формы применения этих методологических основ к языку. За идеализмом и позитивизмом сохранилась — хотя и в более узких масштабах — возможность выполнения их методологической роли в языкознании под видом других лингвистических концепций.

Прямой наследницей структурализма в зарубежном языкознании оказалась зародившаяся в его недрах так называемая трансформационно-генеративная грамматика, основателем которой является Н. Хомский. Название «генеративная» дано этой теории с целью подчеркнуть, что ее задача заключается в разработке правил порождения грамматически правильных предложений данного языка и отличия их от «неграмматических» предложений, в частности, конкретные конструкции в речи, называемые «поверхностными структурами», считаются порожденными на основе так называемых «глубинных структур», непосредственно не наблюдаемых. Трансформационной эта теория названа потому, что способом обозначения каждой генеративной процедуры в ней являются так называемые трансформации, представляющие собой условные формализованные обозначения превращения одних конструкций в другие. Впоследствии этот прием был распространен некоторыми последователями Н. Хомского на исторические изменения в языке. На месте понятия языковой структуры в теории Хомского выступает абстрактное и по существу идеалистическое понятие языковой компетенции говорящего, с введением которого практически исключается понимание языка как объективно существующего общественного явления. Надуманность и схематизм трансформационно-генеративной грамматики, получившей значительное распространение в США и странах Западной Европы, встречают критическое отношение и всевозрастающее сопротивление со стороны многих лингвистов. Оставляя в стороне вопрос о возможной применимости формальных приемов трансформационной грамматики при осуществлении машинного перевода (подобные аргументы неоднократно высказывались и в поддержку отдельных направлений структурализма), следует подчеркнуть, что в качестве общелингвистической теории это направление абсолютно несовместимо с диалектико-материалистическим пониманием языка и задач его исследования.

Почти одновременно с трансформационной грамматикой в некоторой степени как ее противоядие возникла американская социолингвистика, поставившая целью изучение функционирования языка

в социальном контексте. Социолингвистика отличается от трансформационной грамматики не только в методологическом, но и в объективно-предметном плане: с различных методологических позиций в них рассматриваются вместе с тем различные стороны языка. Появление социолингвистического направления, частично продолжившего традиции американской социальной антропологии, еще раз подчеркнуло, что языкознание не может ограничиться изучением внутривидовых отношений в языке. Однако по методологическим принципам зарубежная социолингвистика, опирающаяся в основном на философию позитивизма, имеет мало общего с диалектико-материалистическим пониманием языка как общественного явления. Исходя из требований позитивистской методологии, ряд представителей американской социолингвистики отказываются даже от изучения причинных связей между языком и обществом, ограничиваясь при этом простой констатацией параллелизма относящихся к ним явлений. В зарубежной социолингвистике практически не разрабатывается проблема исторического развития языка, являющаяся наиболее важной проблемой в плане связи языка и общества. Подлинно социологический анализ явлений языка в исследованиях этого направления нередко подменяется рассмотрением их на уровне индивидуальной и групповой психологии. Несмотря на глубокие принципиальные расхождения с трансформационной грамматикой, зарубежные социолингвисты принимают некоторые трансформационалистские понятия и исследовательские приемы.

В отдельное, не очень четко определенное, методологическое направление в зарубежном языкознании складывается семиотическая теория языка. Главное содержание лингвистических работ этого направления заключается в освещении известных свойств языка с позиций семиотики Ч. Пирса и других философов. В отдельных случаях авторы этих работ (напр., Р. Анттила) настоятельно подчеркивают их идеалистическую ориентацию.

Небольшая группа американских лингвистов (У. Кристи, С. Лэм, Д. Локвуд и др.) объединилась на почве так называемой стратификационной лингвистики, рассматривающей язык как совокупность структурных уровней (стратов) и исходящей из глоссематического представления структуры языка как сети чистых отношений. В работах этих авторов отдельные явления языка представляются символически в виде узлов линий различной конфигурации. Этот громоздкий и необычный способ описания языка, по мнению авторов, не находит признания только потому, что они не уделяют пропаганде своих взглядов столько внимания, как сторонники трансформационной грамматики.

Поддержанная установкой позитивистской гносеологии тенденция к выделению и обособлению новых методологических направлений и оттенков является самой характерной чертой современного зарубежного языкознания. Даже некоторые исследователи с широким методологическим кругозором, близкие к объективно-научной методологии диалектического материализма, стараются придать своим концепциям какие-нибудь подчеркнута оригинальные черты и на-

весить на них отличительные методологические вывески. Так, А. Мартине и его последователи настойчиво удерживают за своей весьма содержательной и многосторонней лингвистической концепцией название «функциональная лингвистика», хотя, по-видимому, именно это название, восходящее к Пражской школе, мешает Мартине избавиться от некоторых методологических крайностей, отделяющих его концепцию от диалектико-материалистической теории языка.

В условиях кризиса лингвистического структурализма наряду с возникновением новых немарксистских направлений в зарубежном языкознании заметно усилились позиции марксистской методологии. В капиталистических странах появились серьезные лингвистические исследования, исходящие из диалектико-материалистического понимания сущности языка как общественного явления (работы Д. Херубима, Г. Симона, У. Аммана и др.). Имеется ряд работ, которые не содержат прямых авторских указаний на принимаемую в них методологию, но вместе с тем не обнаруживают каких-либо принципиальных отклонений от диалектико-материалистического понимания языка. В некоторых из них встречаются утверждения идеалистического и позитивистского характера, но они производят впечатление чужеродных вкраплений в целостную систему взглядов, отражающую объективно-научный подход к языку.

Дифференциация в методологии зарубежного языкознания продолжается. В ходе этой дифференциации все шире осознается бесперспективность идеалистических и позитивистских направлений в науке о языке, все настоятельнее становится необходимость последовательного перехода мировой лингвистики на позиции диалектического материализма.

* * *

В коллективной монографии «Современное зарубежное языкознание. Вопросы теории и методологии» с позиций диалектико-материалистической лингвистики рассматриваются основные направления разработки важнейших теоретических и методологических проблем науки о языке в странах Западной Европы и Америки. В написании монографии приняли участие следующие авторы: А. С. Мельничук (разделы «Зарубежное языкознание на распутье» и «Вопросы истории языка»), А. Н. Гаркавец («Понимание специфики языка как общественного явления»), К. Ф. Савранчук («Проблема соотношения языка и культуры»), О. Б. Ткаченко («Освещение результатов взаимодействия языков»), Ю. А. Жлуктенко («Теория языкового планирования»), А. И. Чередничепко («Проблемы типологии языковой вариантности»), М. М. Пещак («Трактовка связи между значением и звуковым выражением»), И. Ф. Андерш («Интерпретативная и генеративная семантика»), С. С. Ермоленко («Проблемы изучения экспрессивных единиц языка»), Т. Г. Линник («Понимание соотношения метода и теории»), И. В. Сойко («Проблемы теории валентности»).

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА

ПОНИМАНИЕ СПЕЦИФИКИ ЯЗЫКА КАК ОБЩЕСТВЕННОГО ЯВЛЕНИЯ

Уяснить сущность языка как общественного явления значит определить его через отношение к обществу во всех многогранных и многоаспектных связях каждого из них. Иначе говоря, для того чтобы представление об этом отношении соответствовало действительности, необходимо последовательно учитывать объективную сложность языка и общества, развившуюся исторически. Для языка в общем виде сложность заключается в одновременном и нерасчлененном существовании его как речевой деятельности, отдельное проявление которой — речевой акт, как реализующейся в общей совокупности речевых актов реальной системы языка и как зафиксированной различными видами памяти совокупности индивидуально-конкретных высказываний. Еще более сложной системой есть общество, которому также свойственна совершенно определенная структура, структура классовая, составляющая специфику взаимоотношающихся явлений базиса и надстройки, в частности культуры и идеологии.

Многогранность языка и общества, неоднозначная и зачастую неочевидная причинная взаимосвязь их составляющих представляют ощутимую познавательную трудность, особенно при научном определении отношения между ними. При этом удовлетворительность того или иного научного определения данного отношения предопределяется методологической основой науки, так или иначе решающей эту проблему.

В современном зарубежном языкознании понимание сущности языка как общественного явления довольно разнообразно — от изоляционистского игнорирования связи между языком и обществом до выразительных, претендующих на научную целостность и исчерпываемость концепций социалингвистического характера [Simon 1974]. Первый тип исследовательской позиции характерен для дескриптивного и генеративного структурализма, а также психолингвистики, второй — для социалингвистических направлений. Первые исследователи склонны отрицать возможность решения проблемы языка и общества или само наличие проблемы, вторые считают ее едва ли не единственным достойным внимания объектом изучения. В то же время социалингвисты решают ее по-разному —

в зависимости от поставленной цели: либо создание общей теории речевого поведения в бихевиористском духе, либо установление параллелей между языковыми и социальными структурами в плане их совместного варьирования без объяснения причинных связей, либо разработка общей теории места и роли языка в общественной жизни — в плане макросоциолингвистики, ориентированной на коллективную речь, или в плане микросоциолингвистики, ориентированной на речь индивидуальную и предлагающей узко индивидуалистское решение вопроса стирания границ между общественными классами. Представляется целесообразным построить наше обсуждение существующих точек зрения в той последовательности, в которой указаны основные течения современного зарубежного языкознания, поскольку именно в таком порядке отмечается не только усиление внимания к социальной стороне языка, но и глубина понимания общественной сущности предмета.

В западной лингвистике первой половины XX в. широкое признание приобрело представление о языке как особой структуре с четко определенными отношениями между компонентами. Описание этой структуры должно осуществляться в ее собственных границах, без выхода за пределы языка как системы знаков, и для нее самой, т. е. с целью разрешения чисто структурных вопросов, во многом дедуктивно и безотносительно к особенностям употребления языка. Эта идея получила существенное развитие в европейском структурализме сосюрровского толка и американской дескриптивной лингвистике, давшей жизнь основным современным западным течениям языкознания. Основоположники последней понимали социальную природу языка как средства общения и обобществления конкретного и индивидуального опыта благодаря абстрагирующей и коммуникативной функциям языка [Сепир 1934: 11—12]. Ф. Боас и Э. Сепир, изучая обычаи, ритуалы, родоплеменную структуру, формы вежливости и другие проявления индейских культур Америки, стремились описывать изучаемый язык независимо от обслуживаемой им культуры и одновременно постоянно чувствовали невозможность такого абстрагирования, невозможность описания названных ее элементов без знания языка изучаемого племени, без включения в англоязычное описание автохтонных этнографизмов. Более того, этнографические заключения очень часто приходилось строить на основании языковых данных. Эти частные факты привели Сепира к несоразмерно общим выводам о том, что, во-первых, «в действительности «реальный мир» в значительной мере несознательно строится на основе языковых норм данной группы» [Sapir 1966:69], а, во-вторых, главным фактором, определяющим структурные особенности языка, являются внутренние тенденции языка [Sapir 1951:89]. Стремление этих этнографов к лингвистическому изоляционизму, получившее выражение в структуральном описании языка, таким образом, обусловлено желанием оградить объект изучения (тот или иной язык) от исследовательского извращения вследствие применения традиционной грамматики, каждое из понятий которой ассоциируется с грамматическими явления-

ми других языков. Следовательно, у Ф. Боаса и Э. Сепира впесоциальность описания языка — это, скорее всего, лишь прием, приведший к недопустимо широкому ложному заключению.

Логическая ошибка Сепира, малозаметная за истинностью ярких частных наблюдений, его последователями неоднократно доводилась до абсурда. Располагая ограниченным объемом сопоставимых элементов языка и общества и приписывая им ограниченное содержание, последователи Сепира делают выводы, претендующие на абсолютную универсальность. Так, с одной стороны, primero из приведенных мнений Б. Уорф придал значение аксиомы лингвистической относительности [Whorf 1940], которая впоследствии была развита в теорию изоморфности языковых и социальных структур. С другой стороны, дескриптивный структурализм, которому изначально был свойствен процедурный, прикладной характер, позже, у Л. Блумфилда, получил статус лишенной социального содержания абстрактной теории. У него дескриптивный метод был поставлен на методологическую основу философского прагматизма и позитивизма и психологического бихевиоризма. Концепцию общей обязательности и надындивидуальности языкового знака Блумфилд интерпретирует в свете бихевиористской модели «стимул — реакция» как удобную для взаимодействия биологических систем форму замещения биологического стимула говорящего и биологической реакции слушающего, форму (систему форм), которую они выработали и заучили в процессе приспособления к среде. Игнорируя общественно-историческую сущность языка, Блумфилд настаивает на синхронном описании в метафизическом смысле: «Чтобы описать язык, не нужно никаких свидетельств истории; фактически исследователь, который позволит таким свидетельствам повлиять на его описание, неминуемо исказит материал» [1968:33]. Недаром последователи ученого, в частности А. Найда, пришли к выводу о том, что наиболее удобным для грамматического описания является вымышленный, несуществующий язык [Гухман 1952:291], поскольку в этом случае не будет никаких недоразумений, возникающих обычно в связи с исключениями из правил [Carnap 1934:210—211]. «Чистый языковой факт», описываемый американскими дескриптивистами, предстает, таким образом, как некая метафизическая сущность — независимо от общественного функционирования языка и его общественно обусловленного развития.

Как нечто однообразное, однородное и монолитное по структуре рассматривает язык и генеративный структурализм. Данными для лингвиста, по критическому определению У. Лабова, являются высказывания наблюдаемого реального индивида, а собственные интуитивные суждения о языке [Лабов 1975а:100]. Более того, социально обусловленные отклонения от интуитивно построенной абстрактной модели языка отбрасываются как «свободное вырывание» [Брайт 1975:34—35]. Из сказанного вытекает, что генеративный структурализм, сосредоточивая внимание на языке как системе (компетенция) и отвергая языковое употребление (применение) как несущественное, не просто суживает объект исследования

в пользу отстаиваемой идеи гомогенности абстрактной языковой структуры, одинаково доступной интуитивному познанию каждого из носителей языка. Более того, языковая система как общественно-абстрактное понятие подменяется индивидуальным представлением говорящего о ней. Совершенно очевидна субъективно-идеалистическая направленность такого понимания языка: объективно существующая в реальной речевой деятельности общества, в письменных и других фиксированных состояниях языковая система интерпретируется генеративным структурализмом как субъективно-абстрактная сущность.

Активизация исследований по проблеме языка и общества с применением генеративной методик и основных понятий этого направления в современной американской социолингвистике и критика основных идей порождающей грамматики, связанных с асоциальным пониманием языка, вынудили некоторых представителей трансформационализма пойти на компромисс: «Специфическое разграничение компетенции и применения, осуществляемое грамматикой, представляет собой гипотезу, которая может оказаться ошибочной, если другие факторы, существенные для употребления языка, и взаимоотношения этих факторов станут объектом исследования» [Chomsky, Halle 1968:111]. Другие трансформационалисты генеративного направления идут еще дальше. Например, В. Фромкин ставит социолингвистическую задачу построения генеративной теории употребления языка [Fromkin 1968:47—68].

Обобщая сказанное о субъективно-идеалистическом, асоциальном понимании языка и внесоциальном его исследовании двумя названными течениями структурализма, уместно привести слова У. Лабова, свидетельствующие об обеспокоенности лингвистов нынешним состоянием западного языкознания, в котором оно оказалось из-за ненадежности методологических основ: «Игнорирование данных речевого коллектива мстит за себя возрастающим ощущением тщетности усилий, умножением спорных вопросов и ростом убеждения, что лингвистика — игра, в которой каждый теоретик избирает решение согласно своим вкусам и интуиции» [Лабов 1975а:177].

Психолингвистика, развивающаяся в последние десятилетия с использованием понятийного аппарата генеративного структурализма, допускает аналогичные ошибки, хотя и делает их по-своему. Стремясь установить психологические закономерности порождения предложений, она исходит из биологической природы человека и языковой способности ребенка, тогда как в действительности в выборе грамматической формы высказывания преимущественную роль играют не столько «биологические», психофизические, по принятой у нас терминологии, факторы (рассеянность внимания, заикание, способность выделять интонацией главное и второстепенное и т. п.), сколько социальные [Sprachliche Kommunikation... 1974:88], в том числе факторы социальной психологии личности, отчасти разрабатываемые в рамках микросоциолингвистики.

Идея лингвистической относительности, как и обусловленный ею дескриптивный структурализм, возымела решающее влияние на раз-

витие зарубежной социолингвистики во всех ее проявлениях. Одной из наиболее результативных попыток модификации бихевиористской теории языка Л. Блумфилда и Б. Скиннера [Skinner 1957] явился трехтомный труд К. Пайка «Язык в отношении к унифицированной теории человеческого поведения» [Pike 1967]. Если Блумфилд ставил целью описание языка как системы, а системность (как и Ф. де Соссюр) связывал не с речью, а с языком, то Пайк постулирует, что и речь обладает системой и противопоставляется языку не по признаку системности/несистемности, а иначе [Pike 1967:52]. По сути, труды Пайка имеют целью не описание языка, а создание общей теории и систематики речевого поведения. Исходный тезис этой теории — любое человеческое поведение структурировано, варианты поведения («этические единицы») тяготеют к некоторым инвариантам («эмическим единицам»), причем вариативность не представляется существенной.

Действительно, как свидетельствуют исследования советских лингвистов, реально существуют некоторые стандартные (стабильные) ситуации, в которых поведение человека, в том числе речевое, регламентируется: ритуальная речь, набор военных и спортивных команд, установившиеся формы объявлений, некрологов, обращений, формы вежливости и т. п. В то же время существуют переменные (переменные) ситуации, в которых человек ведет себя и говорит творчески и число которых больше числа стандартных ситуаций. И в тех и в других ситуациях речевое поведение, речь собеседников определяются многочисленными социальными и социально-психологическими факторами [Верещагин, Костомаров 1976: 95—102]. Следовательно, в любом случае речевая деятельность мотивируется социально. К. Пайк лишает речь социального содержания, отказывая ей в социальной мотивированности и сводя речевую деятельность к бихевиористской формуле «стимул — реакция», каждому из компонентов которой приписана «этическая вариативность». Ложность концепции Пайка и немногих его последователей в Новом и Старом Свете кроется не только в ее методологической несостоятельности, но и в логической неправомочности. В большом по объему трехтомном труде Пайк дает описание ситуаций, которые можно определить только как стандартные, то есть такие, где наиболее вероятны именно шаблонизированные речь и поведение: бракосочетание, крещение, благословение, приговор, формулы поддержания контакта при беседе по телефону и т. п. [Бок 1975]. Одновременно он избегает описания переменных ситуаций, в которых предвидимость речи, по крайней мере, маловероятна. Верность Пайка позитивистской позиции прослеживается в его отказе от учета причинных связей между формами речевого и неречевого поведения, по причине чего создается впечатление, что любой человек независимо от его социальных качеств в определенной ситуации будет себя вести и говорить одинаково: по выражению У. Лабова, процедуры дескриптивной лингвистики базируются на представлении о языке как организованном наборе социальных норм, а сами эти нормы считаются инвариантами, свойственными всем членам

языкового коллектива [1975б:320]. Таким образом, теория речевого поведения Пайка и построенная под ее влиянием западноевропейская теория речевых действий и конверсативного анализа, имеющая целью создание специальных диалогических грамматик [Arbeiten 1979], несмотря на значительное количество описанных ими ситуаций со свойственными им формами речевого поведения, являются умозрительными субъективно-идеалистическими построениями, лишенными социального содержания, как и теория языка Блумфила, на которой они в конечном счете базируются.

Теория изоморфизма языковых и социальных структур разрабатывается в плоскостях как межъязыковых и межкультурных противопоставлений, так и противопоставлений в пределах одноязычного общества. Первое направление развивается в духе этнографических исследований основоположников теории с характерным для них применением структурных методов. По утверждению К. Фегелина и З. Хэрриса, языковедение и этнография, оперируя разными приемами, описывают по сути один фактический материал [Voegelin Harris 1947]. Благодаря этому культуру, социальную структуру, по мнению К. Леви-Строса, можно описывать в терминах, принятых в языковедении, а именно средствами структурной лингвистики, которая делает возможным построение культурной грамматики [Levi-Strauss 1977; Williams 1966] — по аналогии с упомянутыми конверсативными грамматиками. Эта задача, думается, не под силу структурной лингвистике, как и языковедению вообще со всем арсеналом его исследовательских и описательных методов. Ведь язык и культура — далеко не соотносимые понятия, хотя в некоторых сферах не только характеризуются параллелями, но и в некоторой степени взаимообуславливают друг друга как явления общественные. В частности, термины родства, с которых собственно и началось дескриптивное сближение языковых и общественных структур, как нельзя точнее отражают иерархию родственных отношений; использование тех или иных местоимений, именных и глагольных форм при обращении наглядно отражает своеобразные этические представления, группирующиеся вокруг категории вежливости. Тем не менее фрагментарное и довольно беспорядочное сопоставление языка и культуры на основе только таких незначительных фактов одного и другого, вырванных из системы, не может служить сколько-нибудь серьезной базой утверждения универсального изоморфизма этих двух общественных явлений. Довольно типичными изоморфистскими работами в данном смысле являются статьи Дж. Фишера и Д. Хаймса, посвященные сопоставлению особенностей употребления языка и культурных навыков ряда племен и переведенные на русский язык [Фишер 1975; Хаймс 1975], Э. Кларк и Г. Кларка о некоторых языковых универсалиях, обусловленных социальными факторами, и Я. Малькиеля об употреблении местоимений для выражения категории вежливости и социального различия говорящих, обзор которых помещен в «Вопросах языкознания» (1980, № 6, с. 153).

В исследованиях этого толка язык понимается двояко: либо как часть культуры, либо как общественная сущность, имеющая отдельное от культуры существование. Неуверенность в определении отношения между языком и культурой в плане их противопоставления либо включения друг в друга базируется на расплывчатом представлении о языке и особенно культуре как сложных социальных явлениях. В языке, как правило, последовательно не различаются разные аспекты его проявления — язык, речь, речевая деятельность и речевой акт. В результате этого ситуативно или индивидуально психологически обусловленные особенности речевой деятельности в отдельно взятых речевых актах нередко предлагаются в качестве типичных черт различных типов речи или непосредственно в качестве признаков языка как системы. Скажем, заикание отдельных жителей острова Трук рассматривается Дж. Фишером в одном ряду со стилистическими особенностями речи, свойственными всему языковому коллективу, вследствие чего заиканию приписывается значение всеобщего социального фактора [Фишер 1975:417].

Понятие культуры даже в рамках одной работы трактуется очень произвольно — ей приписываются разные объем и содержание: то это культура в обиходном смысле как совокупность принятых норм общественного поведения, то это культура в узкоэтнографическом духе как континуум народных верований, обычаев, норм общественной жизни и связанных с ними материальных реалий, то это уже совсем широкое понятие, охватывающее общество, цивилизацию во всех возможных проявлениях, включая социальную структуру, производительные силы и производственные отношения, политику, идеологию и собственно культуру вместе с языком. Этой характеристике отвечает большинство работ этнографического направления. Естественно, что при таком расплывчатом понимании языка и культуры (социальной структуры — последний термин получает все более широкое применение) любое утверждение о связи того и другого, а тем более их компонентов может показаться убедительным.

В плане взаимообусловленности языка и культуры в работах данного направления язык рассматривается также двояко. Во-первых, в свете теории языковой относительности языку по традиции приписывается значение фактора межнациональной культурной дифференциации: люди по-разному воспринимают мир потому, что говорят на разных языках. Д. Хаймс дополняет этот тип лингвистической относительности другим, а именно: язык одновременно является показателем межнациональной дифференциации, поскольку в нем отражаются особенности культуры. Иначе говоря, связь между языком и культурой предлагается считать не односторонне обуславливающей — от языка к культуре, а двусторонней, взаимообуславливающей. В обоих аспектах взаимообуславливающая связь языка и культуры понимается как частичная: «Языковые навыки отчасти создают культурную реальность... Культурные ценности и верования отчасти создают языковую реальность» [Хаймс 1975: 232—233]. Все на первый взгляд верно. Однако в плане влияния языка на культуру при интерпретации конкретного языкового и

этнографического материала Д. Хаймс воздерживается от приписывания этому влиянию причинного характера, склоняясь к мысли о сосуществовании моделей, которые «имеют историческое значение как продукт совместного развития языка и остальной части культуры» [Хаймс 1975:295]. Отход от изначально свойственного данной гипотезе причинного объяснения связей между языковыми и остальными культурными явлениями — не признак научной осторожности, а закономерное отражение позитивистского содержания рассматриваемой ниже концепции совместного варьирования языковых и общественных структур, которая восходит к теории изоморфности¹.

Труды английского психолога Б. Бернштейна из Института просвещения Лондонского университета о речи учеников, имеющих различное социальное происхождение, вначале были выполнены с педагогической целью — выяснить причины неуспеваемости детей из низшего класса и возможности и пути устранения этого. Впоследствии исследования Бернштейна приобрели самостоятельное социолингвистическое значение, а его основные идеи нашли признание многих западных лингвистов и социологов [Niepold 1970, Zamani 1976]. Этот факт вынуждает нас внимательно рассмотреть основные тезисы теории языкового дефицита, развиваемой Бернштейном, ввиду ее классовой враждебности и политического цинизма [Жлуктенко 1981б].

Сочинения Бернштейна представляют собой яркий образец некорректного применения идеи изоморфизма языковых и социальных структур в плоскости противопоставлений внутри одноязычного общества. В своих первых статьях, вышедших в 1958—1962 гг. [Bernstein 1958, 1959, 1962], он разрабатывал идею о том, что речь имеет две формы (modes) — формальную, литературную (formal) и просторечную (public), которые впоследствии, после критики, он назвал иными терминами — соответственно разработанным, развернутым (elaborated) и ограниченным (restricted) кодами [Bernstein 1965, 1966]. Ограниченный код характеризуется использованием элементарных синтаксических структур и значительной степенью предсказуемости (ср. бихевиористскую концепцию Пайка) и ориентирован на поддержку социального контакта и социальной солидарности. В речи детей рабочих это проявляется в употреблении однообразных обращений-просьб социального характера. Разработанный код отличается меньшей степенью предсказуемости и склонностью к сложным синтаксическим структурам. В этой форме речи больше осмысленности, обобщений, более объективна точка зрения и более тесные логические связи. Владелицы этим кодом дети представителей среднего класса отдают предпочтение обмену разнообразной информацией и ее восторженному обсуждению. Разработанный код ориентирован на самовыражение и межличностное общение. Использование ограниченного кода (просторечия) свойственно «низшему классу» (позже определенному как рабочий),

¹ См. также следующий раздел.

по крайней мере его низшим слоям, тогда как использование кода разработанного является привилегией среднего класса и, возможно, высших слоев низшего. Зависимость между наличием в речи этих двух кодов и делением английского общества в соответствии с принятой в западной социологии терминологией на два класса — средний и низший (рабочий) — интерпретируется как непосредственно данная и однозначная. В целом концепция Б. Бернштейна полностью согласуется с существующей на Западе циничной социологической аксиомой, согласно которой средний класс познает окружающую действительность, а рабочий — социальную иерархию. Ложность идеи Бернштейна, пронизанной классовым шовинизмом, последовательно доказывает А. Д. Швейцер, продемонстрировавший, что та или иная разновидность речи, будь это ограниченный или разработанный код, характеризует не тот или иной класс или слой общества, а ту или иную социальную ситуацию, стандартную либо вариабельную. Другое дело, что в буржуазном обществе существуют резкие расхождения в самом наборе речевых ситуаций, доступных по социальным причинам тем или иным общественным слоям. Расхождения в речевом поведении, вскрытые Бернштейном, соотносимы с социальной структурой, но не непосредственно, а через речевые ситуации [Швейцер 1976а:33—34]. Несмотря на ложность и основательную критику со стороны западных лингвистов [Coulter 1969; Wunderlich 1971], идея Бернштейна получила широкое распространение в зарубежном языкознании [Lawton 1968], где, будучи принята на веру [Эрвин-Трипп 1975:346] ввиду простоты и социологической привлекательности (ей приписывается значительная объяснительная сила), существует в целом ряде социолингвистических и психолого-педагогических модификаций.

С самого начала изложенная идея Бернштейна, известная на Западе под названием гипотезы языкового дефицита, принята не была. У. Лабов писал, что логическая разработанность содержания речи говорящих из среднего класса еще не свидетельствует о синтаксической развернутости их речи [Лабов 1975а:176], а само утверждение о том, что «низший класс» пользуется ограниченными и стереотипными ресурсами, пригодными только для поддержания социального контакта, но не для самовыражения [Швейцер 1976а:34], не соответствует действительности [Лабов 1972]. Однако со временем сам Лабов в несколько видоизмененной форме положил эту идею в основу собственной гипотезы языковой стратификации. Последняя получила отклик в исследованиях Дж. Гамперпа, Дж. Фишмана, С. Эрвин-Трипп, Р. Макдэвида-мл. в США, У. Эвермана и других в ФРГ, Л. Бринка и Й. Лунда в Дании, И. Фонада во Франции, Б. Малмберга в Швеции и многих других. Сущность стратификационной, или дифференциальной, гипотезы состоит в том, что язык является отражением социального расслоения общества — социальной и национальной сегрегации и интеграции как в рамках всего общества, так и в пределах отдельных его слоев [Лабов 1975б:331 и др.]. Различия в объективном речевом поведении — один из аспектов социальной и ситуативной стратификации.

Изменения в речевом поведении свидетельствуют о перемещении индивида в рамках социальной структуры, поскольку речевое поведение является индикатором изменения социального положения говорящего. В отличие от гипотезы дефицита Б. Бернстайна, которая жестко взаимосвязывает корреляции в коммуникативном и речевом поведении социального класса, У. Лабов вводит понятие социального и стилистического варьирования [1975б:329 и сл.] и связанные с ним социологические переменные — социальный индикатор и стилистический маркер [1975а:150 и сл.], сообщающие его гипотезе некоторую гибкость: варьирование, обусловленное социальной структурой, взаимодействует с варьированием, обусловленным социальной ситуацией, вследствие чего единая для данного коллектива модель ситуативной вариативности может по-разному реализоваться в различных социальных группах [Швейцер 1976а:79]. Важное значение для варьирования имеет место говорящего в социальной структуре и социальной ситуации, которое Дж. Фишман определяет через понятия социального статуса и социальной роли [Fishman 1975:44—46]. А. Швейцер отмечает недифференцированность этих понятий в западной лингвистике и в своей концепции противопоставляет их: социальный статус определяется по месту говорящего в социальной структуре как совокупность постоянных социальных характеристик информанта, тогда как социальная роль определяется согласно позиции в ситуации как совокупность переменных социальных характеристик информанта [1976а:81].

Аналогичным образом смягчается жесткость гипотезы Б. Бернстайна в концепции Дж. Гамперца, который вводит понятия более общего диалектального, или межличностного, варьирования, происходящего в группах, различающихся в территориальном или социальном отношении, и более частного наслаивающегося, или внутриличностного, варьирования, отражающего сдвиги в языке отдельных говорящих. «Диалектальные речевые особенности отражают индивидуальную историю говорящего. Они указывают на происхождение его семьи, а также на всякое последующее изменение в групповых связях — например на переезд из одной области в другую или на изменение в социальном положении. Наслаивающееся варьирование является отражением деятельности индивидуума в его регулярной повседневной практике» [Гамперц 1975:304]. Внутриличностное варьирование рассматривается также как «способ символизации различных социальных отношений» [Гамперц 1975:311], которые реализуются через два способа взаимодействия — деловое (transactional) и личностное [Гамперц 1975:313]. Дж. Гамперцу принадлежит приоритет выделения такого важного социолингвистического понятия, как речевой репертуар, которому в концепции А. Швейцера и Л. Никольского соответствует понятие социально-коммуникативной системы [Швейцер, Никольский 1978:72 и др.] и под которым они понимают совокупность речевых форм, используемых определенным речевым коллективом в его социально значимом речевом взаимодействии [Гамперц 1975:299].

Некоторый терминологический и понятийный параллелизм, бросающийся в глаза при сопоставлении концепций зарубежных социолингвистов У. Лабова, Дж. Гамперца, Дж. Фишмана и др., с одной стороны, и советских языковедов А. Д. Швейцера Л. Б. Никольского, с другой, наталкивает на мысль, что эти концепции столь же одинаково решают кардинальные вопросы проблемы языка и общества, языка как общественного явления. Однако именно здесь существуют наиболее острые расхождения.

Первое из них касается понимания социальной структуры. В представлении советских языковедов социальная структура — это деление общества на классы и социальные группы, выделяющиеся внутри классов. По определению В. И. Ленина, «классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают» [т. 39, с. 15]. Классовая структура общества у Бернштейна, отвечающая принятой в буржуазной социологии традиции, противоречит ленинскому определению, как не согласуется с ним и деление общества на классы, принятое в социолингвистических работах так называемого «марксистского» языкознания в ФРГ, но не в чистом виде, а с дополнительным внутренним членением классов, т. е. с обычным для западной социологии выделением разнообразных общественных слоев. Последние нередко объединяют представителей разных классов (крупных капиталистов и ученых, средних предпринимателей и рабочих и т. п.) не по их месту в производственных отношениях, а по каким-то вторичным признакам. Задачи социолингвистов типа У. Лабова, Дж. Гамперца, Дж. Фишмана и др., несмотря на их общие заявления, практически выглядят значительно уже, чем раскрытие в полном смысле «классовой стратификации языка и речи». Их фактическим объектом в рамках макролингвистики является речь малых социальных групп, выделяемых по различным произвольно взятым признакам без учета иерархической взаимосвязанности этих признаков. Так, в один ряд ставятся производственные, возрастные, экономические, половые, этические, эстетические черты говорящих, не говоря уже о таких чисто индивидуальных особенностях, как разного рода психофизические и биологические. Поскольку набор социальных и других факторов, по которым очерчивается малая группа, не подвергается иерархическому анализу, что обусловлено методологическими принципами, макролингвистика способна говорить лишь о совместном варьировании языковых и общественных явлений, любые из которых именуется структурами. Следовательно, качественное отличие зарубежной макросоциолингвистики состоит в том, что она не только далека от попыток установить причинные связи между выявляемыми корреляциями коммуникативного и речевого поведения, но и не способна сделать это, даже по той простой причине, что язык понимается упрощенно —

как набор структур, сосуществующих со структурами общественными, а речь — как система форм речевого поведения, варьирующих совместно с формами коммуникативного поведения. Именно последние чаще всего и понимаются под термином «социальная структура». Более того, собственно коммуникативное поведение зачастую предлагается в качестве социального поведения вообще. В этом отношении западная социалингвистика не вышла за пределы бихевиористской концепции речевого поведения К. Пайка, хотя мало кто из современных социалингвистов открыто признает себя его последователем.

Значительные трудности в определении отношения между языком и обществом наблюдаются в работах символично-интеракционистского направления, одним из важнейших микросоциалингвистических аспектов которого является проблема социологизации личности в связи с употреблением языка. Общая причина, вынуждающая микросоциалингвистов (можно даже сказать, вызвавшая к жизни это направление) заниматься проблемой социологизации личности, в яркой, хотя и не совсем апалитической форме раскрывается Р. Макдэвидом-мл.: «Когда короли станут философами, а философы — королями, когда средний американец станет спокойнее относиться к своему соседу и предоставит каждому заниматься тем делом, к которому он имеет склонность и интерес, вот тогда — поскольку классовые различия потеряют свое значение — едва ли будет необходимость говорить о социальных диалектах. Но пока это время не наступило, пока общественное положение человека оценивается в зависимости от того, насколько его английский соответствует принятым в господствующей культуре стандартам правильной речи, сохранится необходимость выяснения роли языковых показателей социальных различий в любом сообществе» [Макдэвид-мл. 1975:363]. В этом пространном высказывании наглядно продемонстрировано то общее, что объединяет американских, а в равной степени и западноевропейских, микросоциалингвистов с автором гипотезы дефицита Б. Бернстайном: классовое различие интерпретируется как чисто внешнее и индивидуальное — один человек овладел достижениями цивилизации, в том числе языком, другой не овладел даже ее азами — и это отнюдь не зависит от базиса классового противоречия — от отношения обоих к средствам производства и места в распределении социального богатства.

По выражению авторов одной западногерманской монографии, язык является не только средством социальных отношений, но в равной мере самим социальным отношением. Поэтому, как они утверждают, в общественной жизни языку принадлежит решающее значение не только в осуществлении коммуникации, но и в социализации личности, понимаемой как эффективное, предпринимчивое приспособление к среде. И в данном смысле языку отводится двоякая роль. Во-первых, язык — важнейшее средство социализации, с его помощью человек осваивает большую часть ролей, социальных норм и намерений. Во-вторых, овладение языковой коммуникацией, языковыми правилами и нормами — само по себе цель

и в конечном итоге результат социализации. Таким образом, язык — это как средство, так и предмет, цель социализации [Sprache 1973: 66]. Далее авторы утверждают, что, хотя и остается вопросом, почему возможности на образование (Bildungschance) находятся в связи с классовой принадлежностью ребенка, очевидно, что языковое поведение ребенка, специфическое для его класса, — это, по крайней мере, одна из причин, определяющих различия в возможностях на образование. При этом приводятся некоторые цифры: если 84% детей высших чиновников и предпринимателей успешно окончили гимназию в 1966 г., то из детей рабочих — только 24; рабочие семьи в ФРГ составляли тогда 49,8%, но среди студентов процент детей рабочих всего 5,2 [Sprache 1973:97, 95].

Некоторые представители социалингвистики в ФРГ, относящие себя к «марксистскому» направлению, в поисках путей устранения антагонистических противоречий классового общества — в духе еврокоммунизма — предлагают индивидуалистское решение вопроса. По мнению А. Гутта и Р. Зальффера, опирающихся в своих заключениях на работы Г. Симона, В. Готтшальха, К. Энглиха, У. Овермана и др., язык должен превратиться из орудия господства буржуазии в средство эмансипации пролетариата в классовой борьбе: научившись точно и вербально адекватно представлять общественные ситуации, свое положение в них, вербально выражать эмоциональные реакции, развивать на основе анализа ситуаций и положения стратегию решений и направление действий, пролетариат сможет занять равное со средним классом положение в обществе. Проще сказать, смысл эмансипации пролетариата они видят в обучении его правильно выражать мысли с помощью языка [Gutt, Salfner 1972:23, 78—79]. Как хорошо известно, подобным образом вопрос социализации личности из низших слоев решается в пьесе Б. Шоу «Пигмалион». С иронией писателя перекликается критика данного способа решения вопроса самими западногерманскими лингвистами. В частности, Д. Вундерлих говорит, что предложение эмансипации рабочего класса путем создания равных возможностей на образование благодаря развитию речи детей рабочих до уровня стандарта — это по сути «подмена стратегии коммунистической организации пропагандой новой иллюзии» [Wunderlich 1971:317]. Оценивая данную позицию с методологической точки зрения, следует сказать, что здесь социалингвисты, оставаясь в плену экзистенциализма, господствующего в западной социологии, причинность общественных явлений сводят к психологической мотивации действий субъекта, что в отношении американской социалингвистики удачно отметил А. Д. Швейцер [1976а:42]. Для подготовленного читателя, отдающего себе отчет в отношении методологических основ и социальной направленности западных социалингвистических исследований, последние могут оказаться полезными ввиду скрупулезности и изобилия конкретных наблюдений, выполненных с применением эффективных и во многом оригинальных исследовательских приемов и процедур.

Ошибки в понимании сущности языка как общественного явления в современном зарубежном языкознании обуславливаются тремя основными факторами.

Намеренное либо неосознанное *абстрагирование лингвиста от общественного характера языка*, а тем более *сознательное игнорирование его общественной природы* неминуемо привносят те или иные существенные искажения в научное представление о языке. Таков смысл известного числа погрешностей, обусловленных стремлением различных структуралистских направлений оставаться в условных пределах внутренней лингвистики, позитивистски отказываясь от необходимого учета сложного и с трудом поддающегося математически точному и недвусмысленному описанию социального контекста функционирования языка.

Не менее существенные заблуждения возникают в результате использования ложных представлений об обществе, составляющих методологическую основу того или иного лингвистического направления, ставящего своей целью исследование языка в социальном контексте. *Ненадежный философский фундамент* — те или иные проявления современного позитивизма либо отсутствие единой философской базы, исполненный логических противоречий методологический эклектизм — определяет научную беспомощность общих заключений, к которым приходят западные социолингвисты.

Третий фактор, определяющий специфику понимания проблемы языка как общественного явления в современной зарубежной лингвистике, — это выполняемый ею *социальный заказ*. Правительствами Запада щедро финансируются социальные, и в том числе социолингвистические, исследования, призванные разработать меры смягчения раздирающих классовое общество антагонистических противоречий, в частности по проблемам высшего и среднего классов, национальных меньшинств и бывших колоний, ставших на путь самостоятельного политического и экономического развития. А. Д. Швейцер в статье о философских основах американской социолингвистики приводит высказывание диалектолога Дж. Следда, искренне признающего тот факт, что финансирование научно-исследовательской деятельности ученых, изучающих острые социальные проблемы обитателей американских гетто, имеет целью «превращение потенциальных революционеров в угодливых, карабкающихся вверх и старательных прислужников, составляющих низшие слои среднего класса в индустриальном [капиталистическом.— А. Ш.] обществе, обеспечение «благоприятных изменений», которые ни в коей мере не ставили бы под угрозу существующую систему власти и привилегий» [Швейцер 1977:205].

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

Проблема соотношения интеллектуальной сферы жизни людей и языка, поставленная в труде В. Гумбольдта «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие

человеческого рода» и получившая в нем противоречивое решение, разрабатывалась впоследствии в трудах американских и европейских неогумбольдтианцев Э. Сепира, Б. Уорфа, Л. Вейсгербера и др. Противоречивость и идеализм концепции В. Гумбольдта, утверждавшего, что духовные особенности народов обуславливают своеобразие их языков, и в то же время считавшего, что именно язык определяет духовную природу и мировоззрение его носителей, в полной мере присущи работам названных выше лингвистов, особенно Л. Вейсгербера.

Критическому разбору постулатов концепций перечисленных авторов посвящены многие труды советских лингвистов. Целью данной работы является анализ более новых точек зрения зарубежных языковедов по проблеме соотношения языка и культуры.

Современной социологии свойственно стремление к наиболее адекватному определению самого понятия «культура», так как от этого во многом зависит решение рассматриваемой проблемы. Оно определяется неоднозначно как советскими, так и зарубежными лингвистами.

Понимая культуру как социально-историческое явление, советские ученые по-разному определяют широту этого понятия, то рассматривая культуру только как составную часть общественного сознания [Азархин, Горский 1979:24], то как «феномен... который закрепляет, объективизирует общественное сознание эпохи» [Мильников 1979:23], т. е. равный ему.

Неправомерным сужением понятия «культура» и фактическим приравнением его к термину «искусство» является сведение его к трем следующим элементам:

1) Элементы, создаваемые великими творцами в музыке, изобразительном искусстве, театре, киноискусстве, характерные для культурного творчества данного периода.

2) Элементы культуры и народного искусства, создаваемые народом для самого себя, для удовлетворения собственных потребностей — одежда, мебель, украшения, жилища и т. д. Эти элементы, по традиции составляющие основу этнических различий между культурами, в современных условиях научно-технической цивилизации претерпевают глубокие изменения.

3) Элементы культуры, широко продуцируемой во многих странах и распространяемой с помощью кинофильмов, грампластинок, радио, телевидения, иллюстрированных журналов, массового туризма и т. д.» [Щепанский 1979:13].

Дефиниция термина «культура», согласно которой ее содержание «составляют общественно-политические, философские, научные взгляды и идеи, художественные вкусы, нормы морали и нравственности, характерные для общества на данном этапе его развития» [Аврорин 1964:115], страдает неполнотой вследствие отсутствия упоминания о материальных фактах культуры.

Оставляя в стороне частности в определении понятия культуры, по которому нет единого мнения как у советских, так и зарубежных лингвистов, рассмотрим те расхождения между ними, которые

предопределены разпой методологической ориентацией советских и зарубежных лингвистов.

Марксистская социология, методологической платформой которой является исторический материализм, определяя понятие культуры как созидательную небологическую активность человека, рассматривает ее как явление общественного порядка и считает, что культуре свойственны материальный и духовный аспекты [Панфилов 1975:3; Федосеев 1964:34; Ключев 1978:219].

Материальная культура представляет собой совокупность «вещественных, зримых, наблюдаемых произведений труда человека, как созданных предшествующими поколениями, так и создаваемых в настоящее время» [Верещагин, Костомаров 1976:37].

Духовная культура «охватывает сферу сознания, процессы и результаты духовной деятельности (познание, нравственность, воспитание, право, философию, науку, этику, эстетику, искусство, литературу, мифологию, религию)» [Культура 1973:596].

Буржуазные социологи наряду с понятием культуры выдвигают понятие цивилизации, то отождествляя их (Э. Тэйлор), то делая попытки установить «аналитическое» различие между ними, закреплению за культурой область духовной жизни общества, а за цивилизацией — материальные продукты человеческой деятельности (Р. Макивер, А. Кребер и др.).

Выдвигая в качестве эволюционных критериев цивилизации урбанизацию и высокий уровень развития пауки и техники, буржуазные социологи пытаются представить капитализм как «высший тип» цивилизации, выполняя реакционную идеологическую функцию апологетизации капитализма. Формирование понятия «цивилизация», покоящееся только на двух упомянутых выше критериях, носит абстрактный и антиисторический характер, так как не учитывает форм распределения общественного продукта, наличие определенных классов в структуре общества и т. д. [Антонович 1981].

Противопоставление понятий культуры и цивилизации присуще и некоторым работам зарубежных социоллингвистов.

В лингвистических исследованиях, базирующихся на марксистско-ленинской философии, при изучении соотношения языка и культуры выдвигаются на передний план общественные основы языка и развитие языковой коммуникации анализируется в ее социальной и идеологической детерминированности [Eichhorn 1973:9]. В работах подобной методологической ориентации ставится требование последовательного и проникающего материализма и учета взаимосвязей и взаимопереходов явлений в подходе к решению отдельных научных проблем.

Философская основа современной зарубежной социоллингвистики — позитивизм, идеализм и релятивизм, проявляющиеся в отходе от изучения материальной субстанции объекта, сведении его к сетке отношений составляющих его элементов, индетерминистском подходе к изучению явлений, не может способствовать плодотворности решения проблем, стоящих перед нею.

Методологическая ориентация на лингвоцентрические идеи современного семантического позитивизма четко проявляется, например, в двух недавно вышедших в свет работах английского лингвиста М. Холлидея [Halliday 1978, 1976].

Термины «культура», «социальная система», «социальная реальность», постоянно встречающиеся в социологически ориентированной теории М. Холлидея, используются в смысле, несообразном с марксистским подходом к вопросам определения понятия «культура» и соотношения языка и культуры. Поставив перед собой задачу описания языка в «социокультурном контексте», лингвист само понятие «культура» объясняет в семиотических терминах — как «информационную систему» [Halliday 1978:2].

Явный философский идеализм лежит в основе его концепции, согласно которой «реальность состоит из значений» [Halliday 1978:139], «действительность культуры составляет система значений» [Halliday 1978:123], и в его «интерпретации социальной системы как социальной семиотики».

Ошибкой теоретико-познавательного плана М. Холлидея является идентификация им аспекта познавательной деятельности, расчленяющей объект и по необходимости концентрирующей внимание на одном из его свойств, отнюдь не исчерпывающем его сущности, с самим объектом познания. Из этого проистекает абсолютизация одного из аспектов языка, а именно принадлежности к классу знаковых систем, наряду с неправомерной элиминацией других не менее существенных его свойств.

Проникновение семиотических моделей и понятийных схем в теорию языка и социологию, чему в немалой степени способствуют названные выше работы ученого, приводит к крайнему упрощению понимания таких сложных явлений, как язык и культура, не способствует вскрытию многоаспектных связей между ними.

Структуралистской «дематериализацией культуры», определением ее как «структурированной сетки символов» характеризуются не только работы М. Холлидея. Такое определение термина «культура» содержится и в более ранних исследованиях зарубежных ученых, в частности Г. Гудинафа [Goodenough 1964], считающего, что культура не может быть интерпретирована как материальный феномен, а только как определенная концептуальная модель языковой и социальной деятельности людей, и в работах лингвистов последних лет [Friedrich 1978:752].

В каждом из этих толкований ощущается несомненное влияние идей социальной психологии, особенно ярко характеризующейся двумя тенденциями — стремлением к созданию и обоснованию общей знаковой теории, восходящей к «универсальной алгебре отношений» Ч. Пирса и к трактовке знака через его включенность в деятельные и поведенческие структуры [Дридзе 1980].

В зарубежной социолингвистике утвердился взгляд на язык как составной элемент культуры, которая в трактовке ведущих ученых этого направления лингвистики включает и структуру социальных отношений. При этом как язык, так и социальная структура

(культура) понимаются как совокупность норм социального поведения [Швейцер 1976б:12] и считаются изоморфными друг другу.

Начиная с 70-х годов в ФРГ, например, появляется большое количество работ, посвященных «коммуникации» и «коммуникативному» поведению. Особого внимания заслуживает в этом отношении «теория коммуникативной компетенции», предложенная Й. Хабермасом, в которой постулируются наличие особых прагматических универсалий, конституирующих диалог, и возможность построения идеальной речевой ситуации, характеризуемой структурными признаками возможных ситуаций. Противопоставляя коммуникативное поведение, с одной стороны, речи, а с другой — действиям с использованием орудий труда, Хабермас разрывает детерминирующую взаимосвязь с взаимообусловленностью всех видов человеческой деятельности [см.: Хартунг 1979:41]. Языковая деятельность как форма социального поведения необходимо связана с предметно-практической и умственно-творческой деятельностью [Langner 1974].

Критический анализ вышедших в свет в 70-е годы исследований зарубежных лингвистов — К. Пайка [Pike 1967], Дж. Фишера [Фишер 1975], А. Гримшо [Grimshaw 1971], Б. Бернштейна [Bernstein 1966], предлагающих различные варианты теории изоморфизма языка и культуры, содержится в работах советских и зарубежных ученых.

Однако и в 70-е годы зарубежная и особенно американская социолингвистика характеризуется трудами, в которых исследование проводится с позиций все той же теории изоморфизма языка и культуры. Так, если в работе 60-х годов У. Брайта выступает с программным заявлением, согласно которому задачей социолингвистики является изучение «совместного варьирования» [1975:34] языка и социальных структур, то в работе «Вариации и изменения в языке», появившейся в 1976 г., он стремится эмпирически доказать изоморфизм языковых и социокультурных систем. Так же, как и английский ученый Б. Бернштейн, пытавшийся установить однозначные связи между классовой структурой общества Англии, сводимой в его концепции к противопоставлению «средний класс — рабочий класс», и дихотомией речевых кодов — разработанного (elaborated) и ограниченного (restricted) [Bernstein 1966], У. Брайт делает попытку доказать изоморфность различных классовых структур и типов (видов) изменений, происходящих в обслуживающих эти классовые структуры национальных языках.

В статье «Социальный диалект и история языка», входящей в указанную работу У. Брайта, например, рассматривается сложная классовая структура социокультурной системы Индии, которая упрощается лингвистом до дихотомии «низшие касты — брахманы», и устанавливаются корреляции между социальной структурой и типом инноваций, которые вносит в язык каждый из ее членов. Брахманы, по его теории, вносят новые элементы в лексику, а «низшие классы» — в фонологию и морфологию. В другой своей статье — «Лингвистические изменения в некоторых кастовых диалектах Индии», развивая ту же тему, Брайт утверждает, что «низшие клас-

сы» вносят инновации на уровне структуры, и они имеют относительно бессознательный характер, в то время как брахманы делают это достаточно осознанно. Осознанность, утверждает Брайт, есть, скорее, функция грамотности, чем кастовой принадлежности, доказывая это утверждение тем, что неграмотные брахманы некоторых районов Индии вносили инновации в язык тем самым способом, что и люди из низших каст. Эта наивная оговорка может вызвать только недоумение: вряд ли на современном этапе развития языкознания найдется лингвист, способный считать определенный «речевой код» или определенное речевое поведение таким же фактом наследственности, как и определенная кастовая принадлежность.

Те же идеи Брайт пытается доказать и на другом лингвистическом материале — архаических литературной и разговорной формах языка каннада — в статье «Фонологические правила в литературном и разговорном каннада».

При анализе концепции Брайта о соотношении языка и культуры обращает на себя в первую очередь внимание тот факт, что при попытке установить изоморфизм системы языка и социокультурных систем исследователь неправомерно упрощает оба этих многоаспектных и сложных понятия. Ничем не может быть оправдано сведение многочленной и многоступенчатой классовой иерархии Индии, упорно цепляющейся за жизнь, несмотря на прогрессивные законодательные реформы правительства Индии, начиная еще со времен Джавахарлала Неру, к дихотомии «низшие касты — брахманы» так же, как не может быть принято приравнение языка только к фонологии и морфологии, наблюдающееся в анализируемых статьях ученого. Такая чрезвычайная схематизация описания социокультурных систем и системы языка является неосознанным признанием слабости теории изоморфизма языка и культуры, невозможности дать с ее помощью адекватное действительному положению вещей описание соотношения языка и социокультурных систем. Концепция Брайта, лежащая в основе анализируемой работы, получила критическую оценку и некоторых американских социолингвистов [Friedrich 1978:752].

Не может быть оценен в качестве положительного с точки зрения методологии марксистской социологии также тот факт, что концепция изоморфизма языка и культуры решается в индетерминистском плане и представляет собой чисто корреляционный подход к изучению языковых и социальных явлений без каких-либо попыток изучения каузальных связей между ними.

Исследования подобного плана являются попытками эмпирической верификации концепций как самого У. Брайта, так и других американских социолингвистов [Fishman 1971c], отрицающих важность каузального приоритета в отношении между языком и культурой, что является характерным признаком философии позитивизма.

На этом фоне выгодно выделяются другие две статьи рассматриваемой работы У. Брайта, посвященные проблемам языковых контактов и лингвистической культурной ассимиляции (аккультурации)

языков Северной Америки. В них утверждается, например, что лингвистические заимствования в большой степени детерминированы опытом контактов и последующими отношениями между носителями этих языков.

В статьях Брайта культура рассматривается как совокупность определенных норм нелингвистического поведения. Стремление свести понятие культуры к поведенческим структурам явно обнаруживает влияние на его теорию идей социальной психологии.

Эти же идеи ясно ощущаются в работах других зарубежных авторов, посвященных социолингвистической проблематике соотношения языка и культуры. Делается попытка верификации концепции изоморфизма системы языка и социокультурных систем на эмпирическом материале самых различных языков мира и самых различных аспектов культуры.

Особый интерес в этом плане представляет работа А. Миллера «Японский язык в современной Японии» [Miller 1977]. Автор оценивает японский язык не просто как язык, а как непередаваемый социополлингвальный опыт. Его непередаваемость заключается, как утверждает исследователь, в том, что опыт этот невозможно объяснить постороннему, не носителю японского языка, он навсегда останется для него бессмыслицей, хотя чрезвычайно значителен для членов этого социополлингвального опыта. В чем же заключается специфика японского языка? По мнению Миллера, она состоит в том, что японцы приближают язык к структуре и процедурах к мистическому каркасу своей веры [Miller 1977:91].

Поэтому, считает автор, японский язык может быть описан совершенно точно в терминах характеристик мистицизма. Возможность овладения спецификой японского языка гарантируется только случаем рождения в этой языковой среде. Заключает свою работу Миллер рекомендацией иностранцам-переводчикам, а также лицам, пользующимся переводом, быть в высшей степени осведомленными о полном социолингвистическом контексте, а также быть внимательными и осторожными к лингвистическому поведению японцев. В последнем постулате, который в качестве единственного в его теоретических положениях может быть принят за положительный, Миллер переключается с Найдой, неудовлетворительно оценивающим современные словари. Существенным недостатком словарей, по мнению Найды, является то, что они ничего не говорят о коннотативном значении слов. Недостаток этот, как полагает ученый, можно устранить изданием этнолингвистических словарей, которые «показывают отношение лингвистических единиц с семантической отнесенностью к совокупности контекстов норм культуры» [1962: 47].

Действительно, трудно отрицать существенность связи языковых элементов с культурой так же, как и необходимость знания культурной коннотации языка. Однако со всей категоричностью следует квалифицировать в качестве неправомерных попыток сведения Миллером культурной коннотации только к области религии и преувеличение им значения коннотативных элементов для языкового

знака. Недоказателен и вызывает серьезные сомнения постулат его теории, согласно которому мистицизм японской религии влияет на структуру и процедуры японского языка. И наконец, полным агностицизмом проникнуто утверждение автора о невозможности овладеть социалингвальной спецификой японского языка не в его языковой среде. Исследование носит коррелятивный, индетерминистский характер. Все социалингвистическое построение Миллера продемонстрировало несостоятельность попыток доказать теорию изоморфизма концептуальных моделей языка и культуры также в случае, когда культура приравнивается не к социальной структуре общества, как у Б. Бернштейна, У. Брайта, К. Пайка, а к структуре религии.

Гипостазирование поведенческого аспекта социальных связей и установление отношений изоморфизма между языком и социокультурными системами, характерное для теории ограниченного и разработанного кодов Б. Бернштейна, поставившего перед собой задачу микроуровневого анализа социально моделированной вариативности языка и социальной моделированности языкового поведения в 1958 г., свойственны в такой же степени и многочисленным работам по социалингвистике, увидевшим свет в сравнительно недавнее время в ФРГ [Jäger 1971; Löffler 1972; Lawton 1968].

Различное языковое поведение, по мнению авторов этих работ, приводит к языковому барьеру, под которым понимается «случай ограниченного владения языковым кодом, когда носитель языка не использует все возможности языковой системы, потребителем которой он является; слишком малая умственно-вербальная нагрузка, которую он получает в своем окружении... обуславливает его малую языковую компетенцию» [Löffler 1972:24]. Отмечается, что в некоторых случаях языковые барьеры способны сделать общение невозможным, а в качестве причины этого явления выдвигается социокультурная детерминация.

Постулаты рассмотренной теории обнаруживают свою близость к основным положениям теории ролей символично-интеракционистского направления американской социалингвистики, в котором поведенческий аспект социокультурной системы рассматривается в качестве самодовлеющей сущности. Термин «ролевые отношения» заимствован из социологии и на социалингвистической почве интерпретирован в работах Дж. Фишмана [Fishman 1975], Д. Хаймса [Hymes 1972], Дж. Гамперца [Gumperz 1962] и др. Согласно этой теории, социокультурная система детерминирует характер и диапазон ролевых отношений и набор социалингвистически релевантных обстановок (обстановок, влияющих на речевую деятельность).

Кардинальными ошибками как теории Б. Бернштейна и его последователей, так и теории ролей являются устранение фактора системы производственных отношений из характеристики понятия социокультурной системы и определение личности как психологического, а не социологического понятия.

Кроме рассмотренной теории изоморфизма языка и культуры, получающей различные интерпретации у различных авторов, в

современном зарубежном языкознании существуют другие точки зрения на проблему соотношения языка и культуры. Американский лингвист Д. Хаймс приводит следующую классификацию кардинальных концепций по этому вопросу: 1) язык является ведущим, определяющим по отношению к другим элементам культуры; 2) элементы культуры являются определяющими по отношению к языку; 3) язык и культура взаимно детерминируют друг друга; 4) язык и культура в равной степени детерминируются народным духом, национальным характером и т. д. [1975].

Представляет интерес точка зрения, согласно которой язык и культура находятся в отношении взаимной детерминации, или взаимной включенности. Такой подход к решению проблемы соотношения языка и культуры — вариант теории изоморфизма языка и культуры. Теория «взаимной детерминации» получила последовательную разработку в работе А. Гримшо [Grimshaw 1971]. Советские социолингвисты квалифицируют концепцию Гримшо как «попытку компромиссного решения проблемы язык и общество, язык и культура с учетом как гипотезы Б. Уорфа, так и теории социальной дифференциации языка под влиянием социальных факторов» [Швейцер 1977:220; ср. Швейцер 19766]. Основным в его теоретическом построении является постулат, согласно которому не только социальная структура может детерминировать язык, но и язык может детерминировать социальную структуру. Таким образом рассматриваются каузальные связи между языком и культурой, приравняваемой в концепции Гримшо к социальной структуре, и эти каузальные связи, по его мнению, носят двусторонний характер.

Идеи Гримшо, высказанные им в 1971 г., находят живой отклик в работах зарубежных социолингвистов последних лет. Так, в книге М. Холлидея «Язык как социальная семиотика» почти слово в слово подтверждается вывод Гримшо о том, что, так как язык — неотъемлемая часть процесса социального взаимодействия, необходимо описывать язык и культуру как единое структурное целое, анализируемое в единых терминах. М. Холлидей формулирует эту мысль следующим образом: «Поскольку язык и общество объединяются в единое понятие, то их необходимо понимать и изучать как единое целое» [Halliday 1978:12].

В советском языкознании, методологической основой которого является диалектический материализм, постоянно уделяется особое внимание проблеме взаимоотношения языка и общества, всесторонне исследуется проблема отражения общественного развития в языке [Дешериев 1977:67—68; Будагов 1980]. Установлены две наиболее универсальные линии языкового развития: функциональная и внутрискруктурная. Как убедительно свидетельствуют данные исследований, прогнозирование и планирование функционального развития необходимо осуществлять на основе развития общества, исходя при этом из важнейших сфер дифференциации производства, общественной жизни, техники и культуры. Такое общее теоретическое положение получает обоснование и эмпирическую верификацию в сравнительном изучении различных этапов развития

общества и соответствующих им ступеней развития общественных функций языка. Развитие общественных функций языка в родовом обществе было ограничено уровнем его социального, экономического и культурного развития. В последующие эпохи в связи с социальным, культурным и общественным прогрессом функциональное развитие языка приобрело широкий размах.

Изменение социальных условий проявляется не только в количественном росте функций языка, но и в характере использования языка в каждой из этих функций. От такого дифференцированного употребления языка зависят формы его существования, а отсюда, в свою очередь, происходят изменения в некоторых областях структуры языка [Аврорин 1975:84].

Наконец, само возникновение языка, в соответствии с теорией марксизма, в большей степени связано с началом общественного развития человека.

Анализ влияния социальных факторов общественного развития на язык и особенностей этого влияния позволяют с позиций методологии марксистской социологии определить существеннейшие просчеты теоретиков «взаимной детерминации» языка и социокультурных систем — А. Гримшо, М. Холлидея и др. В свете этого становится очевидным, что, хотя «после того, как язык сформировался, он превратился в могучий стимулятор развития человека, его созидательной деятельности, а тем самым и общества» [Хартунг 1979: 36], но влияние социальных факторов на язык и влияние языка на социальные структуры неравнозначно и несопоставимо. Решающая роль в отношении между языком и культурой принадлежит социальным факторам, тогда как влияние норм употребления языка на социальные нормы коллектива не носит определяющего характера.

Анализ концепций зарубежных ученых о соотношении языка и культуры позволяет сделать вывод о том, что в зарубежной социалингвистике с предельной четкостью проявляется основной постулат неогумбольдтианства, согласно которому язык определяет тип и нормы культуры, а также структуру и развитие человеческого общества. Идеи зарубежной социальной психологии, методологическая база, философская основа которых — семантический позитивизм, являющийся фундаментом современной зарубежной социалингвистики, не способствуют адекватному отображению соотношения языка и культуры. Релятивизм и идеализм, проявляющиеся в сведении понятий культуры и языка к их концептуальным моделям и сетке отношений между элементами, ведут к дематериализации этих понятий. Индетерминистский подход к описанию соотношений языка и социокультурных систем или приравнивание каузального влияния языка на социокультурные системы к каузальному влиянию социокультурных систем на язык не адекватно реальному соотношению этих явлений. Попытка установления изоморфизма между языком и социальной структурой общества приводит к грубой схематизации, а порой и извращению фактов.

Марксистская социолингвистика, теоретической платформой которой является диалектический материализм, рассматривает культуру как явление общественного характера, более широкое, чем понятия базиса и надстройки, и включающее понятия духовной и материальной культуры. В марксистском языкознании утвердилось положение, согласно которому язык не может оказывать решающего влияния не только на материальную культуру общества, но и на его духовную культуру. Будучи материализованным, практически существующим сознанием, выполняя функцию средств общения, познавательную функцию в качестве орудия накопления знаний и национально окрашенного кода, язык придает некоторые специфические национальные черты тем явлениям духовной культуры общества, которые выражаются посредством него. Однако национальная специфика этих компонентов духовной культуры не исчерпывается теми чертами, которые обусловлены языковым своеобразием. Язык не может коренным образом определять характер материальной и духовной культуры. При закономерной связи и взаимопроникновении язык и культура остаются самостоятельными явлениями, развивающимися по собственным законам [Пауфилов 1975; Аврорин 1964]. Так, если содержание культуры определяется классовыми интересами и в классовом обществе носит классовый характер, то отличия одного языка от другого посят не классовый, а национальный характер, разный характер имеют процессы развития языка и культур и т. д.

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ЯЗЫКА

Период господства структурализма в зарубежном языкознании ознаменовался резким сокращением историко-лингвистической тематики — как в плане эмпирических исследований, так и в плане теоретических разработок. Это было обусловлено принципиальной установкой структурализма на синхронический подход к языковой системе, его категорическим отказом от принципа историзма. В одной из программных статей структуралистского направления по поводу исторического языкознания XIX в. говорилось: «Лингвистика, как и естествознание того времени, имела своих преобразователей. Для них всякий язык постоянно изменяется, эволюционирует. Эволюция... осуществляется, по их мнению, в одном единственном направлении; так, в морфологии и семантике часто допускали постоянный переход от конкретного к абстрактному. Эти переходы, которые считали непрерывными, объясняются, как у Дарвина, накоплением отклонений, приобретением новых особенностей. Между тем нет ничего более произвольного, чем это в течение долгого времени распространенное представление; поэтому Лалланд с полным правом отказался от эволюционистских иллюзий. В действительности же более важным для любой науки является постоянное, устойчивое, тождественное; сущность этимологии так же, как и лингвистической генеалогии, состоит в том, чтобы найти общую от-

правную точку, т. е. обнаружить тождество» [Брендаль 1960:41]. И далее: «Прежде всего становится очевидной необходимость изолировать, выделить в потоке времени предмет науки, т. е. показать, с одной стороны, состояния, которые нужно рассматривать как постоянные, а с другой — резкие скачки из одного состояния в другое» [Брендаль 1960:42]. Эта точка зрения коренным образом противоречит практическому общепринятому в настоящее время научному пониманию языка как явления, пребывающего в постоянном и в целом постепенном изменении, в процессе которого происходят только минимальные скачки в виде появления новых слов.

Поскольку действительные процессы исторического развития языка никоим образом не входили в круг теоретических интересов структурализма, историко-лингвистическая проблематика в работах структуралистов ограничивалась в основном попытками своеобразной методологической обработки известных понятий и приемов сравнительно-исторического метода в языкознании. Наиболее общее методологическое значение в этой связи приобрел вопрос о реальном значении восстанавливаемых при помощи сравнительно-исторического метода праформ и их систем. Колебания отдельных исследователей в этом коренном для сравнительно-исторического языкознания вопросе проявились уже в конце XIX в. под влиянием распространившейся к тому времени философии позитивизма, одно из положений которого заключается в том, будто единственными объектами человеческого познания являются данные непосредственных наблюдений. Вопреки обоснованному мнению большинства исследователей, считавших, что реконструированные формы отражают с той или иной степенью точности реально существовавшие в прошлом единицы праязыка, отдельные языковеды, начиная с Б. Дельбрюка, стали утверждать, будто реконструируемые праформы представляют собой только обобщение свойств соответствующих друг другу элементов, непосредственно наблюдаемых в родственных языках, но не дают никаких оснований для предположения о реальном существовании таких единиц в праязыке [Delbrück 1919:158—159].

Довольно противоречивые мнения по вопросу о реальности реконструкций высказывал в разное время А. Мейе. С одной стороны, выражая интуитивную убежденность исследователя, постоянно имеющего дело с конкретными фактами языков, он не только признавал, что реконструкции обозначают реальные факты праязыка, но и считал возможной и даже необходимой реконструкцию праязыка в виде системы, хотя и неполной, в той или иной степени приближенной к действительному состоянию реконструируемого объекта [1954:19, 31]. С другой стороны, инспирируемый лженаучными идеями позитивизма, Мейе временами допускал в своих теоретических взглядах отклонение от стихийноматериалистической позиции исследователя и высказывал абсолютно отрицательное мнение относительно возможности реконструкции праязыка. «Сравнительная грамматика индоевропейских языков, — писал он в другой работе, — находится в том положении, в каком была бы сравнительная грамматика романских языков, если бы не был известен латинский язык: единственная

реальность, с которой она имеет дело, это соответствия между засвидетельствованными языками. Соответствия предполагают общую основу, но об этой общей основе можно составить себе представление только путем гипотез, которые проверить нельзя; поэтому только одни соответствия и составляют объект науки... положительными фактами являются только соответствия, а «восстановления» сводятся лишь к знакам, с помощью которых сокращенно выражаются соответствия» [1938:73—74]. Высказанные Мейе разные точки зрения полностью исключают друг друга.

Структурализм (в частности, копенгагенский) последовательно встал на позитивистскую точку зрения, отрицающую реальное значение реконструируемых элементов праязыка. В работе «Изык», написанной в 1941 г., Л. Ельмслев пытался обосновать понимание реконструируемых звуков индоевропейского праязыка лишь как формул, заменяющих ряды звуковых соответствий отдельных индоевропейских языков [Hjelmslev 1971:14—23]². Скептическое отношение к реконструкциям элементов праязыка обнаруживается и в работах других авторов того же периода, непосредственно не связанных с (копенгагенским) структурализмом. Так, американский лингвист Э. Пулгрэм считает, что совокупность реконструкций, получаемых путем сравнения родственных языков, именуемая праязыком, не имеет ничего общего с реальным праязыком, действительная структура которого остается неизвестной якобы в такой же степени, как и время его существования, место распространения и народ, который на нем говорил [Pulgram 1959:422, 423, 426].

Отрицание возможности проникновения при помощи сравнительно-исторического метода в структуру праязыка ведет исследователей к искусственному отмежеванию от вопросов происхождения и древнейшего развития родственных языков. Занимающие такую позицию компаративисты считают особым достоинством своих работ то, что они не выходят за пределы исторически засвидетельствованных фактов рассматриваемых языков. Автор основополагающего исследования об индоевропейской инфиксации Г. Карстин в предисловии к своей работе писал: «Если даже я вместо целых форм довольно часто работаю с простыми «этимонами» и обозначаю их индоевропейскими «символами», то это делается исключительно по известным соображениям сокращенного и унифицированного способа выражения,— мыслятся все эти «праформы» (Ansätze «предположения») всегда только как представители засвидетельствованных форм (Formprägungen)» [Karstien 1971:7]. Отвергая действительно неприемлемую «суффиксальную» теорию происхождения инфикса -n-, Карстин вместе с тем категорически, однако без достаточных оснований, возражал против поисков истока индоевропейской инфиксации в отдаленном доисторическом прошлом, за пределами морфологической организации индоевропейских языков, сложившейся к периоду их обо-

² Работа Л. Ельмслева опубликована в 1963 г. (L. Hjelmslev. Sproget. En introduction. København, 1963), вышла также в английском переводе (L. Hjelmslev. Language. An Introduction. Madison (Milw.). London, 1970) и чешском (L. Hjelmslev. Jazyk. Praha, 1971).

собления. Главный недостаток «суффиксальной» теории Карстин усматривал именно в том, что она делает, по его словам, «скачок от высокоформантного языка к самому примитивному уровню какого-то рода лепета» [Karstien 1971:36].

Восходящий к позитивистской методологии отказ от использования сравнительно-исторического метода для проникновения в раннеиндоевропейское или доиндоевропейское языковое состояние лишает сравнительно-исторические исследования открывающейся в них глубокой диахронической перспективы и замыкает их в плоском синхроническом кругу засвидетельствованных фактов. Тем самым устраняется главный источник исторического освещения рассматриваемых фактов и возможность получения на почве индоевропеистики данных, необходимых для решения более общих вопросов развития языка, а сравнительно-исторический метод теряет основной смысл.

Концепция последовательного структурализма, исходившая из понимания языка как устойчивой системы чистых отношений, не располагала теоретическими возможностями научного объяснения процессов исторического изменения и развития языка. В этой концепции удерживалось упрощенное представление де Соссюра о том, что изменения возникают не в системе языка, а в искусственно отделенных от языка процессах речи, откуда проникают в систему языка, время от времени нарушая ее устойчивость. Отличие структурализма от теории де Соссюра заключалось в том, что структуралисты вынуждены были признать определенную связь языковых изменений с языковой системой; они отвели системе роль регулирующего устройства по отношению к изменениям. Но и при этом изменения представлялись чем-то органически не связанным с системой языка, по своей сущности отличным от нее.

Несостоятельность структуралистской позиции в решении вопросов исторического развития языка обусловила выход отдельных его представителей, занимавшихся этими вопросами, за пределы концепции структурализма. В период становления структурализма (30-е годы) такие позиции отдельных его сторонников (ср. [Тезисы 1960]) свидетельствовали, скорее всего, о том, что собственно структуральная методология к тому времени еще не успела окончательно сформироваться. Аналогичные позиции, занятые в 40—60-е годы А. Мартине, вызваны уже принципиальной неудовлетворенностью лингвиста-теоретика прокрустовым ложем структуралистской концепции. А. Мартине принимает структуральный подход к языку лишь как один из аспектов общей теории, включающей также учение о социальных функциях языка как реально существующего общественного организма и о внешних факторах его развития, взаимодействующих с внутренними [Мартине 1963] (ср. также [Мартине 1960б:248—249]). Что касается внутренних факторов развития языка как целостной системы, то Мартине сводит их к действию так называемого принципа языковой экономии, под которым понимаются такие общие тенденции, характеризующие языковую деятельность, как закон наименьшего усилия и постоянные потребности общения, заключающиеся в стремлении говорящих к наиболее четко-

му выражению своих мыслей. Такое видоизменение структуралистского понимания внутренних факторов развития языка в концепции Мартине в значительной степени приближает ее к диалектико-материалистическому представлению о сущности языковых изменений.

Отказ А. Мартине от наиболее крайних проявлений структурализма в освещении процессов развития языка связан с общей умеренностью его методологических позиций в рамках структурализма, проявившейся уже в 40-е годы. Рассматривая в одной из статей глоссематическую теорию Л. Ельмслева, Мартине писал: «Одно из наиболее решительных утверждений Ельмслева гласит, что если мы хотим, чтобы лингвистика стала наукой, мы должны признать «реальное» существование объектов метафизической гипотезой и как можно скорее от нее отказаться, поскольку объекты — это якобы не что иное, как точки пересечения пучков отношений. Отсюда вытекает и учение о форме и субстанции. Именно в этом вопросе Ельмслев расходится со структуралистами предшествующих периодов. Хотя последние стремились оперировать исключительно понятиями, установленными путем противопоставлений, они не считали возможным, по крайней мере в плане выражения (в фонологии), обходиться без помощи субстанции при определении выделяемых ими единиц³. Полное устранение субстанции, разумеется, придает лингвистике, выражаясь словами Ельмслева, гораздо более «научный», «алгебраический» вид. Но с полным правом мы можем спросить себя — подобает ли в действительности лингвистике такая абстрактность, учитывая, что она должна соответствовать объекту? Мы убеждены не только в правомерности синхронической точки зрения в нашей науке, но даже в необходимости вести все диахронические исследования лишь на основе исчерпывающего изучения различных состояний языка. Однако, придавая большое значение синхронии, мы тем не менее не думаем, что эволюция языка — проблема, недостойная внимания настоящего лингвиста. Нельзя, чтобы на смену ограниченности диахронистов пришла ограниченность синхронистов. Итак, если обнаружится, что именно в субстанции, а не в форме кроются зародыши развития языка, то установленные глоссематиками «алгебраические» структуры очень плохо подготовят нас к необходимому анализу диахронической реальности» [Мартине 1960а:455—456]⁴. Обстоятельное заявление Мартине показывает, какие глубокие методологические различия по вопросам исторического развития языка возникли между языковедами, первоначально объединившимися под общей вывеской структурализма. В последнее время Мартине вместе с Ж. Муненом, Э. Бюйсансом и др. организовал Международное об-

³ А. Мартине здесь не совсем точен. Аналогичные идеи обнаруживаются, правда, не очень четко, уже в фонологической концепции Н. С. Трубецкого, который писал, что «любой язык предполагает наличие смысловых различительных (фонологических) оппозиций и что фонема является членом такой оппозиции», между тем как «конкретные звуки существуют лишь постольку, поскольку они являются реализациями фонем» [Трубецкой 1960:49].

⁴ Аналогичное отношение к крайностям копенгагенского структурализма высказывали некоторые представители Пражского лингвистического кружка (ср.: [Скаличка 1960; Трнка 1967]).

щество функциональной лингвистики, став его ведущим теоретиком [Веденина 1978].

Ряд конкретных вопросов сравнительно-исторической фонетики и грамматики индоевропейских, а также семитских языков рассматривался со структуралистской точки зрения в многочисленных работах Е. Куриловича. При этом возникновение определенных особенностей фонетики или грамматики индоевропейских и семитских языков, обычно не имеющее общепринятого объяснения, трактовалось чаще всего как результат фонологизации и аналогического обобщения позиционных изменений звуков, вызванных другими фонетическими явлениями или функционально-семантическими превращениями. Так, возникновение общиндоевропейского чередования гласных (аблаута) *e/o* объяснялось как результат обратного усиления редуцированного позиционного варианта гласных *e, o* в позиции перед сонантами *g, l, m, n*, утратившего в соответствующей части случаев былую связь с *e* и получившего статус фонетического варианта одного только *o*. Получив определенную морфологическую функцию (в корнях форм, производных от форм с гласным *e*), такой редуцированный гласный в соответствующих акцентуационных условиях замещался гласным полного образования *o* или вызывал аналогическое изменение *e* в *o*, который начинал противостоять гласному *e* того же корня как показатель специальной морфологической функции [Kuryłowicz 1956:36—41]. Нередко такие объяснения, подкрепляемые только общими соображениями структуралистского характера, представляли собой недоказуемые гипотезы, не встречавшие признания других специалистов. В частности, изложенное объяснение аблаута *e/o* вызвало справедливую критику В. Маньчака, указавшего на фонетическую невозможность такого объяснения [Mańczak 1960]. Сам Курилович в отдельных случаях проявлял достаточно глубокое понимание ограниченности и неэффективности структуралистского подхода к освещению языковых изменений. В статье о природе процессов, называемых «аналогическими», опубликованной еще в 1949 г., он писал: «Распространение морфологических изменений имеет в одно и то же время характер внешний (внутри языкового коллектива) и внутренний (внутри грамматической системы)... От конкретной грамматической системы зависит, какие «аналогические» превращения возможны... Но именно социальный фактор решает, реализуются ли эти возможности и в какой степени... Будучи обязана считаться с этими двумя различными факторами, лингвистика никогда не может предвидеть, какие изменения произойдут. Наряду с взаимозависимостью и иерархией языковых элементов внутри данной системы она имеет дело с исторической реальностью общественной структуры. И хотя общая лингвистика склоняется скорее к анализу системы как таковой, конкретные исторические проблемы найдут удовлетворительное решение только в том случае, если будут учитываться оба фактора одновременно» [Kuryłowicz 1949:37, 1960:85—86]. Еще более определенно высказывает Курилович отношение к структурализму по данному вопросу в предисловии к своей монографии «Акцентуация в индо-

европейских языках»: «Вероятно, впрочем, что первые восторженные порывы структурализма будут содержать методические недостатки или преувеличения, которые легко предвидеть. Прежде всего, никогда невозможно объяснить все, потому что наряду с внутренними тенденциями, доступными лингвистическому анализу, имеются факторы внешние, знание которых зависит от исторической случайности... Преисполненный доверия к точности своего метода, структурализм способен потерять из виду естественные границы своего применения» [Kuryłowicz 1958:6]. Однако, как видно из этих цитат, Курилович не исключал изучение внешних факторов развития языка в круг задач языкознания и ограничивал науку о языке, как практически, так и теоретически, тесными рамками структурализма как подхода, ориентированного исключительно на внутреннюю структуру языка. В докладе о методах внутренней реконструкции на VIII Международном конгрессе лингвистов он говорил: «Как только мы покинем язык *sensu stricto* и обратимся к экстралингвистическим факторам, будут потеряны четкие границы области лингвистики» [Kuryłowicz 1964:11].

Несоответствие структуралистической методологии задачам изучения исторических процессов развития языка с особой наглядностью проявилось в попытках распространения структурализма на исследование языковых контактов. Важная роль языкового взаимодействия как одного из факторов исторических изменений в языке признавалась в той или иной степени на всех этапах развития исторического языкознания. Поэтому а priori даже трудно себе представить исследование языковых контактов в отрыве от вызываемых ими исторических процессов развития языков. Но именно так обстоит дело в тех немногочисленных работах структуралистического направления, в которых затрагивались проблемы языковых контактов. Наиболее известной работой такого характера является книга У. Вейнрейха о языковых контактах [Weinreich 1953, русский перевод Вейнрейх 1979]. Здесь результаты языковых контактов рассматриваются лишь в качестве явлений интерференции в синхроническом состоянии контактирующих языков. Автор сам видит неполноту такого анализа контактов. «Синхронический уклон,— пишет он,— настолько преобладает в дескриптивной лингвистике, что исследователи интерференции обычно упускают возможность изучения развивающихся языковых изменений, вызываемых контактом, в соотношении с фактором времени» [Вейнрейх 1979:171]. Но признав, что такие исследования «обещают интересные результаты», Вейнрейх тут же отмечает отсутствие соответствующих работ. В этой связи В. Н. Ярцева указывает: «Хотя У. Вейнрейх старается исследовать материал на синхронном срезе языка, силой вещей он неоднократно подходит к проблеме историзма (например, при вопросе о смене языков) и каждый раз уходит от ее решения» [1979:8].

По мере ослабления позиций лингвистического структурализма в зарубежных странах происходила постепенная интенсификация работ в области исторического и особенно сравнительно-исторического

языкознания. В США опубликован ряд монографий и статей по этой тематике У. Лемана, в том числе популярное пособие по основам сравнительно-исторического метода [Lehmann 1962, 1972] и фундаментальное исследование по фонологии индоевропейского языка [Lehmann 1952]. Попытка строго логического анализа некоторых формальных свойств исторических изменений языка и эксплицитного рассмотрения процедур, ведущих к реконструкции изменений, содержится в монографическом исследовании Г. Хёнигсвальда «Языковое изменение и лингвистическая реконструкция» [Hoenigswald 1960], которое, впрочем, производит впечатление несколько излишнего уклона в сторону формализации⁵. Лежащие в основе методики сравнительно-исторического языкознания понятия об основных типах генетических связей между языками, в частности понятия происхождения и родства языков, анализируются в содержательной статье Хёнигсвальда [Hoenigswald 1977].

Хорошим обобщением основных результатов исследований в области сравнительно-исторического языкознания за прошедший период явилась опубликованная в 1970 г. книга одного из ведущих индоевропеистов современности О. Семереньи [Szemerényi 1970]⁶. Занимаемые автором методологические позиции, в частности его отношение к вопросу о реальности реконструкций в сравнительно-историческом языкознании, в принципе не противоречат диалектико-материалистическому пониманию задач сравнительно-исторического исследования языков⁷. «Тот факт, — пишет Семереньи, — что в грамматическом строе и в словарном составе столь большого числа языков Европы и Юго-Западной Азии наблюдаются многочисленные соответствия, можно, как мы видели, объяснить только предположением, что все эти языки происходят от одного общего языка-основы — индоевропейского языка... Отсюда следует, что первая задача индоевропеиста состоит в том, чтобы, углубляясь в прошлое, реконструировать, насколько это возможно, индоевропейский язык... Такая реконструкция индоевропейской языковой системы может и должна служить исходным пунктом для интерпретации самой системы и ее предьстории. В отношении индоевропейского языка дело обстоит исключительно благоприятно, и о предьстории реконструированного индоевропейского языка можно сказать многое. Другая важная задача индоевропеиста заключается в том, чтобы, двигаясь к современности, с помощью реконструированного языка-основы объяснить предьсторию и раннюю историю отдельных языков... В трактовке обеих задач существуют две четко разграниченные позиции. Одни считают, что путем сопоставлений можно выявить только соответствия... Другие же, напротив, полагают, что наши методы позволяют нам реконструировать исчезнувшее состояние языка... Вместе

⁵ Ср. выполненную в аналогичном плане другую работу того же автора [Hoenigswald 1973a] (ср. [Hoenigswald 1973b]).

⁶ Книга вышла и в русском переводе — [Семереньи 1980].

⁷ Сказанное не следует распространять на все стороны научного мировоззрения О. Семереньи, по-видимому, близкого к философии логического позитивиста К. Поппера.

с тем нельзя не признать, что каждая реконструкция отражает соответствующий уровень в развитии лингвистики. Следовательно, реконструированную форму, как и естественнонаучную теорию, надлежит модифицировать и улучшать по мере новых открытий... Только в случае признания реальности различных реконструированных форм имеет смысл ставить вопрос о том, как они соотносятся друг с другом, то есть как выглядела система. Реализм играет в этом плане решающую роль, поскольку реконструированные фонетически невозможных звуков или их последовательностей (= слов) явилось бы не более как пустым занятием. В данной книге отстаивается, как можно заключить из только что сказанного, реалистическое направление» [1980:44—45]. Позиция О. Семереньи является еще одним свидетельством того, что объективная логика фактов и их научных обобщений неминуемо, рано или поздно, приводит к утверждению в науке диалектико-материалистической методологии. Именно такое реалистическое понимание реконструкций в сравнительно-историческом языкознании делает возможной увязку результатов этих реконструкций с важными вопросами экстралингвистического характера. «Реконструировав достаточную часть индоевропейского словарного состава,— пишет Семереньи,— мы можем дать ответ на различные вопросы, которые представляют значительный интерес и для специалиста по древней истории. Какова была структура «семьи» общества вообще? Какими были вера и знания индоевропейцев? Почитали ли они богов? Какие металлы, животные, растения были им известны? Насколько ответ на последние вопросы может помочь в локализации прародины и ее датировке?» [1980:46]. Одной из лучших итоговых работ, в которой результаты сравнительно-исторического изучения лексики индоевропейских языков используются для определения территории индоевропейской прародины и древнейшего диалектного членения индоевропейского праязыка, является вышедшая несколько ранее книга В. Порцига [Porzig 1954]. Без признания реальности лексических и морфологических реконструкций работы такого характера потеряли бы под собой всякую основу.

Мысль о реальности реконструируемого праязыка поддерживается и в некоторых более поздних работах зарубежных авторов. «Даже если мы не можем реконструировать полные грамматики,— писал П. Кишарский,— и не пытаемся делать это, мы должны признать, что все реконструируемое нами является частью полной грамматики реального языка. Праязык и все промежуточные стадии, через которые он развился в дочерние языки, были живыми языками и должны были подлежать всем ограничениям, относящимся к универсальной грамматике» [Kiparsky 1973:118].

В 60—70-е годы появился ряд новых конкретных исследований, в которых реконструируются различные морфемы, а также фонетические и грамматические процессы индоевропейского праязыка. Таковы, в частности, монографические работы У. Лемана о синтаксисе индоевропейского праязыка [Lehmann 1974, 1975] и другие его публикации, обстоятельное, хотя и не во всем убедительное исследование о развитии индоевропейской системы гласных Р. Шмитта-Бранд-

та [Schmitt-Brandt 1967], упоминавшаяся работа Г. Карстина об индоевропейской инфлексии, посвященные различным вопросам индоевропейского языкознания публикации В. Георгиева, В. Пизани, Э. Полеме, Й. Кноблоха, Ф. Адрадоса и др.

Наряду с работами по теории и конкретной проблематике сравнительно-исторического языкознания появились новые исследования, посвященные обобщению и теоретическому осмыслению конкретных процессов исторического развития языка. Одной из лучших работ такого характера является монографическое исследование французских лингвистов К. Ажежа и А. Одрикура «Панхроническая фонология» [Hagège, Haudricourt 1978]. Это первая в мировом языкознании попытка обобщения и систематического изложения закономерностей развития фонологических систем в языках мира. Исследование выполнено на материале большого количества языков Европы, Дальнего и Ближнего Востока, Америки и Африки. На этом материале прослеживаются основные типы фонологических изменений, выделенные в основном уже в работе А. Мартине «Принципы экономии в фонетических изменениях»: изменения, обусловленные тенденцией к сохранению фонологических противопоставлений (увеличение или уменьшение), общая эволюция серий и рядов фонем (увеличение или уменьшение их количества, переход одних серий, например глухих, или рядов, например заднеязычных согласных, в другие) и т. д. «Лингвистические исследования, — пишут авторы в предисловии, — в последнее время понесли некоторый ущерб из-за пренебрежения двумя аспектами: исторической перспективой языков и их разнообразием» [Hagège, Haudricourt 1978:9]. В работе последовательно подчеркивается общественная сущность как языка в целом, так и его звуковой системы в частности, включая артикуляционную базу каждого отдельного языка. Надлежащее внимание уделяется в работе внеязыковым факторам развития фонологических систем. «Можно считать, — пишут авторы, — что в эволюции господствует сложная игра взаимодействующих внутренних (свойственных фонологическим системам) и внешних (общественных в самом широком смысле) факторов, вступающих на различных этапах в соответствие или конфликт друг с другом» [Hagège, Haudricourt 1978:52]. Авторы выделяют две наиболее характерные черты звуковых изменений в языках мира: их регулярность и длительность [Hagège, Haudricourt 1978:207]. Возвращаясь в заключении к вопросу о причинах звуковых изменений, авторы указывают на методологическую необходимость учета полярно противоположных факторов. «Эта полярность, которую необходимо учитывать при любом подходе, — пишут они, — может быть резюмирована в общем виде как диалектическая противоположность, члены которой с целью упрощения будут названы «внутренним» и «внешним» [Hagège, Haudricourt 1978:206]. «В противоположность карикатурному монизму, можно рекомендовать метод, который учитывает подчеркнутую нами фундаментальную полярность... Структурный подход объясняет взаимоотношения изменений внутри языка, но первый толчок является по необходимости

внешним» [Hagège, Haudricourt 1978:207]. Хотя последнее заявление авторов, исключающее возможность спонтанных изменений в речевой деятельности, представляется несколько прямолинейным, их принципиальное утверждение о необходимости всестороннего учета как внутренних, так и внешних факторов при исследовании звуковых изменений в языке по существу представляет собой методологическое требование, давно обоснованное в марксистском языкознании.

Марксистские или близкие к марксистским позиции обнаруживаются и в некоторых других современных работах, посвященных теоретическим вопросам исторического и общего языкознания [Simon, Ammon 1974; Cherubim 1974] и др. Вместе с тем появляются отдельные работы, в которых наряду с преобладающими в них прогрессивными методологическими установками наблюдаются существенные отклонения в сторону идеализма или позитивизма. Одной из наиболее обстоятельных и глубоких теоретических разработок историко-лингвистической проблематики, опубликованных в последние десятилетия, является книга Э. Косериу «Синхрония, диахрония и история» [Coseriu 1958]⁸. Автор всесторонне рассматривает конкретную сущность языка как непрерывно изменяющегося общественного явления, подвергает обоснованной критике сосюррианское противопоставление синхронии и диахронии в языке как ошибочное перенесение проблематики метода исследования на сам исследуемый объект, еще раз вскрывает несостоятельность проведенного де Соссюром резкого противопоставления языка и речи, правильно указывает на недопустимость подмены общей теории исторического развития языка специальными концепциями, пригодными для освещения только определенных аспектов структуры или функционирования языка. «Вспомним,— пишет Косериу в этой связи,— что сосюрровское «состояние языка» — это «сознательное упрощение» и что Соссюр открыто признал трудности, связанные с выделением состояния языка как во времени, так и в пространстве (CLG стр. 177). Однако вопреки общепринятым представлениям о них сознательные упрощения оправданы и безопасны на практике в процессе эмпирического исследования и описания системы; но они недопустимы в теории, которая должна учитывать все стороны изучаемой реальности. По крайней мере в теории не следует забывать о принятых операционных сокращениях и смешивать принятые условности с действительностью» [Косериу 1963:325]. С этими проявлениями реалистического подхода к языку трудно согласуется восходящее к идеалистической философии Кроче последовательно проводимое через всю работу Косериу понимание языка как свободной и целенаправленной деятельности, аналогичной искусству. С этим пониманием в работе Косериу связаны отрицание понятия причинности в объяснении исторических изменений языка и игнорирование факта постепенности и длительности языковых изменений, не контролируемых сознанием говорящих. Настойчиво повторяемое Косериу на протяжении всей этой работы, как и в более поздних его публи-

⁸ Опубликовано русский перевод этой работы — [Косериу 1963].

кациях [Coseriu 1976:332—335], утверждение о неприменимости понятия причинности к объяснению языковых изменений фактически нигде не получает четкого и убедительного обоснования. В объяснении исторических изменений языка Косериу выделяет три проблемы: «а) логическую проблему изменения (почему изменяются языки, то есть почему они не являются неизменными); б) общую проблему изменения, которая... является не «причинной», а «условной» проблемой (в каких условиях обычно происходят изменения в языках?); в) историческую проблему определенных изменений» [Косериу 1963:182]. К точке зрения Косериу присоединяется Р. Анттила [Anttila 1976a:218]. Выступая против применения понятия причинности к объяснению языковых изменений, Косериу делает главный акцент на ошибочности причинного объяснения первой проблемы. Попытка причинного объяснения изменчивости как общего свойства языков, действительно, ошибочна, и именно так следует расценивать ее с точки зрения диалектического материализма, в свете которого изменчивость является общим свойством всех исторических явлений и конкретных предметов природы, представляющим собой форму всеобщего движения материи как ее первичного и вечного свойства. Но признание изменчивости всеобщим свойством исторических явлений, в том числе языка, не требующим причинного объяснения, не исключает, а, наоборот, предполагает обязательные причинные связи между различными конкретными изменениями всех меняющихся явлений действительности, включая язык. Именно в конкретных исторических изменениях языка, выделенных у Косериу под пунктом в), находит непосредственное проявление причинная зависимость от различных внешних и внутренних факторов, о которых уже так много писалось в литературе и от которых невозможно отговориться никакими искусственными формулировками. Закон причинности в одинаковой степени распространяется на все явления действительности, и язык в этом отношении не может составить никакого исключения.

Положение о свободе говорящих как единственном факторе исторических изменений языка привело Косериу к отрицанию практически общепринятого положения о длительном и постепенном характере языковых, особенно фонетических, изменений, не поддающихся сознательному контролю носителей языка. Каждый процесс языкового изменения Косериу представляет в виде индивидуальной инновации и многократных актов сознательного принятия ее другими членами языкового коллектива. Но в действительности подобные процессы имеют место только в некоторых случаях появления новых слов и заимствования иноязычных и инодиалектных звуков, между тем как часть новых слов, создаваемых по обычным словообразовательным моделям из имеющихся в языке словообразовательных элементов, появляется в языке, не производя впечатления новых, а элементарные процессы изменения звуков языка, унаследованных от прошлых языковых состояний, могут длиться в течение столетий, не будучи замечаемы или контролируемы говорящими ни на одном из этапов [Hagège, Haudricourt 1978:52]. При этом не учитывается,

что изменения языка состоят не только в появлении новых элементов его структуры или преобразовании старых, но и в непосредственно не возмещаемом выпадении различных элементов (слов, грамматических форм, отдельных фонем или их вариантов) из структуры языка, а процесс выпадения никак не может контролироваться сознанием говорящих. Таким образом, идеалистическая направленность отдельных сторон лингвистической концепции Э. Косериу привела ее в непримиримое противоречие с общеизвестными фактами развития языка.

В условиях сосуществования в зарубежной лингвистике различных методологических направлений представители отдельных из этих направлений выдвигают свои разновидности теории исторического развития языка. Показательно, однако, что зарубежная, в частности американская, социалингвистика, которой, казалось бы, историко-лингвистическая проблематика должна быть особенно близка, на самом деле этой проблематикой совершенно не интересуется. Наиболее заметное исключение в этом плане составляют работы У. Лабова, подошедшего с позиций социалингвистики к рассмотрению процессов исторических изменений языка [Labov 1973, 1963; Weinreich, Labov, Herzog 1968]. Основное внимание Лабова занимает вопрос о социальной обусловленности изменений в структуре языка, главным образом в фонетике. Но при этом исключается из рассмотрения процесс непрерывного социального функционирования языка как специфического вида деятельности общества, подверженного постепенным спонтанным изменениям подобно всем другим общественным явлениям. Именно поэтому У. Лабов причисляет А. Мартине, признающего важную роль общественного функционирования языка в процессах его исторических изменений, к категории языковедов, якобы не учитывающих социальных факторов развития языка [Labov 1973: 198]. Решающие факторы языковых изменений Лабов вслед за Леманом усматривает в таких чисто внешних по отношению к данному языку и случайных по отношению к его внутренним закономерностям исторических явлениях, как завоевания, вторжения, массовые иммиграции и т. п. [Labov 1973: 199]. Вместе с тем непосредственным объектом исследования Лабова является языковое поведение тех же социальных групп и подгрупп, которые выделяются в работах других сторонников зарубежной социалингвистики — начиная от нечетко определяемых социальных классов и кончая такими противопоставлениями, как локальные, расовые, половые, возрастные, семейные и т. д. Цель исследования усматривается в том, чтобы определить роль отдельных из всех этих общественных групп в распространении и закреплении в языке фиксируемых исследователями структурных изменений. Таким образом, основной вопрос о сущности языка как закономерно развивающегося общественного явления подменяется в данном случае частными, хотя и довольно существенными для лингвистической теории, вопросами о конкретных путях и условиях осуществления отдельных изменений языка в среде его носителей.

Касаясь серьезного теоретического вопроса о наличии или отсут-

ствии прогресса в исторических изменениях языка, У. Лабов не обнаруживает самостоятельного четкого мнения. С одной стороны, ссылаясь на Дж. Гринберга, он утверждает, что в эволюции языка никакого прогресса не наблюдается [Labov 1973:205]. С другой стороны, он упоминает также точку зрения Д. Хаймса, согласно которой в сферах лексики, научной терминологии, метаязыков и т. п. находит проявление прогрессивное направление эволюции языка, хотя при этом Лабов отдает предпочтение точке зрения Гринберга [Labov 1973:246]. Тем самым постулируется неприменимость понятия прогресса к исторической эволюции такого важного общественного явления, как язык. Но при этом не учитывается, что такая точка зрения позволяет говорить об извечном существовании языков с практически одинаково высоко развитой структурой.

Отклонения отдельных исследователей от теоретических позиций представляемых ими направлений зарубежного языкознания по вопросам исторического развития языка наблюдаются и в других случаях. Представители так называемой стратификационной лингвистики (рассматривающей язык как совокупность относительно независимых структурных уровней — strata) А. Маккаи и В. Беккер Маккаи в одной из своих статей после критического рассмотрения концепций языкового развития младограмматиков, структуралистов, генеративистов и самих стратификационистов высказывают мысль, в значительной степени созвучную с диалектико-материалистическим пониманием сущности языка: «Общим недостатком этих школ является то, что у них отсутствует достаточно реалистический взгляд на язык — в языке следует усматривать лишь частично код и лишь частично квазиматематическую систему, но в первую очередь постоянно эволюционирующую человеческую деятельность» [Makkai, Becker Makkai 1976:240]. Однако в своем подходе к процессам исторических изменений языка авторы подменяют вопрос о факторах этих изменений вопросом о способах и путях их осуществления, сводя все процессы языковых изменений к межъязыковым, междиалектным и межиндивидуальным заимствованиям. Между тем, не отрицая важности этого аспекта языкового развития, до сих пор недостаточно исследованного, необходимо в первую очередь решать вопросы о причинах развития и распространения в языке соответствующих структурных особенностей.

Отдельные попытки решения вопросов исторического развития языка предприняты в различных аспектах семиотической теории языка. Сюда относится теоретическая разработка в плане прагматики З. Каннгиссера «Языковые универсалии и диахронические процессы», которую автор представляет читателю следующим образом: «...неудивительно, если излагаемые здесь предположения окажутся в высшей степени предварительными; они представляют собой в известной степени фрагменты теории, о которой даже трудно сказать, стоит ли ее разрабатывать дальше» [Kanggießer 1976:276]. Автор исходит из положения так называемой теории речевых актов о том, что «говорить на языке L» означает не только «уметь производить любое количество предложений на языке L», как считается

в порождающей грамматике Хомского, но также «уметь осуществлять посредством этого языка коммуникативные действия, т. е. ставить вопросы, формулировать требования и утверждения и т. д.» [Kanngießer 1976:273]. Перечислив различные задачи разработки прагматических аспектов лингвистики, Э. Каннгиссер продолжает: «Далее следует учитывать, что коммуникативная практика индивидов так же, по крайней мере, как и подкласс лежащих в ее основе условий, изменчива и на самом деле изменяется; в связи с этим в рамках соответствующей теории должна быть возможна ответа на вопрос, как, почему и с какими последствиями изменяется коммуникативная практика индивидов. Иначе говоря: в рамках теории должны быть описаны и объяснены различные и в действительности довольно разнообразные диахронические процессы, которые осуществляются в прагматической сфере так же, как и на грамматическом уровне. Таким образом, перед лингвистической теорией, исходящей из анализа языковых действий, стоит множество вопросов; особого внимания заслуживает вопрос об универсалиях языковой коммуникации и о диахронических процессах, которые в ней происходят. Именно возможность осуществления диахронических процессов позволяет говорить о неуниверсальных, о случайных (kontingenten) структурах коммуникации и структурах языка; изменения, которые могут испытывать языки и формы языковой коммуникации, прежде всего обосновывают случайность (неуниверсальность, Kontingenz) языковых и коммуникативных феноменов» [Kanngießer 1976:275—276]. Сопоставляя синхронические универсалии языков (с-универсалии) с универсалиями диахроническими (d-универсалиями), т. е. общими закономерностями последовательности изменений, Э. Каннгиссер отмечает: «...действенность законов сосуществования (черт языковой структуры.— А. М.) зависима от действенности законов последовательности (языковых изменений.— А. М.); с-универсалии выводимы из d-универсалий. Это утверждение представляет собой, естественно, прямую противоположность классическому сосюрровскому положению; на место положения о методологическом примате синхронии ставится положение о методологическом примате диахронии» [Kanngießer 1976:369—370]. Таким образом, к проблематике языковых изменений автор подходит не с традиционных позиций исторического языкознания, а с позиций семиотической прагматики, которая независимо от ее исходных философских позиций вынуждена в данном случае считаться с реальными процессами развития языка и с обуславливающими их общественными факторами. В работе действительно подчеркивается необходимость изучения зависимости изменений в структуре и употреблении языка от различных типов изменений в жизни общества. «Следовательно,— указывает автор,— задача диахронической лингвистики состоит в объяснении и описании изменений взаимодействия между образованием определенных форм языковой коммуникации и образованием определенных состояний потребности в коммуникации» [Kanngießer 1976:288]. Работа Э. Каннгиссера представляет собой яркое проявление отрицательной реакции исследователей, интересующихся функциониро-

ванием и развитием языка в обществе, на структуралистские и генеративистские концепции языка как отвлеченной от общественной жизни замкнутой в себе синхронной системы. В данном случае нет возможности анализировать связь предложенной Каннгиссером теории с философскими основами поддерживаемого им направления в семиотике. Во всяком случае следует иметь в виду, что теория Каннгиссера содержит заметные черты специально-семиотической, а не традиционно-лингвистической направленности и что именно этим объясняется несколько необычное для языкознания выдвижение в ней на передний план внешних факторов развития языка и диахронической перспективы за счет внутренних факторов и синхронической перспективы.

С позиций семиотики, восходящих непосредственно к Ч. Пирсу, рассматривает языковые изменения Р. Анттила [Anttila 1974; ср. Anttila 1972]. Подвергая острой и убедительной критике формализаторский характер генеративной грамматики в области исторического языкознания, Анттила основывает свое понимание задач историко-лингвистического исследования на предложенной Пирсом логико-психологической, в конечном счете объективно-идеалистической трактовке знаковой деятельности, в которой определяющая роль отводится таким «космологическим критериям», как сходство, привычка, тройственность, двойственность, единственность и т. д. В своем увлечении пирсовщиной Анттила, не имеющий, по-видимому, никакого представления о сущности марксистской философии и методологии, договаривается до безответственного утверждения, будто марксизм подобно генеративной грамматике занимается историей без истории [Anttila 1974:3]. Можно не сомневаться, что внимательное ознакомление Анттилы с марксистской философией и методологией принесло бы и самому Анттиле, и зарубежной исторической лингвистике значительно больше пользы, чем безрезультатное жонглирование пирсовскими «категориями»⁹.

С конца 60-х годов предпринимаются попытки распространить на историческую лингвистику формальные приемы и терминологию трансформационно-генеративной грамматики. Пионерами в этом явились П. Кипарский [Kiparsky 1968] и Р. Кинг [King 1969]. Сущность этого распространения заключалась в том, что различные исторические изменения в структуре языка были подведены под определенные виды изменений выделяемых в генеративной грамматике трансформаций — введение новых, упрощение существующих правил, утрата правил или изменение порядка правил. При этом считается, что все эти изменения происходят в сфере языковой компетенции говорящих и лишь затем отражаются в конкретных речевых актах [Bechert 1973:45—46]. С первых же лет историко-лингвистическая проблематика генеративной грамматики приобрела большую популярность. Тема «Историческая лингвистика и генеративная

⁹ Философские позиции Р. Анттилы окончательно не определились. В докладе на II Международной конференции по исторической лингвистике (1976) он уже выступает с позиции гештальт-психологии, упоминая Пирса и семиотику мимоходом [Anttila 1976a:221—223].

грамматика» стала повторяться в повестках дня многочисленных лингвистических и филологических форумов, в содержании различных лингвистических сборников и монографий. Однако все это представляло только внешнюю видимость успеха генеративной грамматики в области исторической лингвистики, как, впрочем, и в других областях языкознания. Оказалось, прежде всего, что формальные способы описания исторических изменений языка методом генеративной грамматики отличаются крайней громоздкостью и непрозрачностью, которые делают совершенно неэффективным применение их не только в практике преподавания, но и в эмпирических исследованиях, рассчитанных на широкие круги языковедов. В отчете о работе секции «Звуковая структура и история» на съезде германистов в 1972 г. (г. Штуттгарт) руководитель секции О. Вернер писал: «Как раз из-за требования исчерпывающей эксплицитности и максимальной «простоты» возникли конденсированные, сложные аппараты правил с собственной терминологией, многими сокращениями и новыми условностями, касающимися обозначений; необходима длительная тренировка, чтобы научиться такие формализации читать и самому конструировать. В этих условиях может случиться, что введение в историю языка по этой методике подействует на студентов еще более отпугивающе, чем это уже случилось с нашими чопорными традиционными историческими грамматиками» [Historizität 1974:93]. Касаясь далее заслушанных на секции отдельных докладов, О. Вернер сообщал: «Господин Файт продемонстрировал генеративный подход на одном особенно сложном примере из исторической фонетики немецкого языка; из-за разложения на признаки и необычного обозначения слушатели едва ли могли уследить за ним в частности и поэтому едва ли могли его критиковать» [Historizität 1974:95]. Впоследствии выяснилось, что за громоздким аппаратом формализованных обозначений и новой генеративной терминологией не кроются никакие новые идеи, которые могли бы углубить или расширить достигнутое уже в историческом языкознании понимание процессов развития языка. Содержание отдельных работ, посвященных увязке историко-лингвистической проблематики с генеративной грамматикой, начало сводиться к тому, что их авторы подвели под генеративистские заголовки и термины конкретное содержание традиционного исторического языкознания¹⁰. Многие известные зарубежные языковеды заняли по отношению к генеративному подходу в области исторической лингвистики категорически отрицательную позицию. Примером крайнего проявления этой позиции может служить данная М. Регулой лаконичная характеристика этого направления как «праздной, ничего не стоящей забавы» [Regula 1973:92]. Подвергнув трансформационно-генеративное направление в историческом языкознании подробному критическому анализу, Э. Косериу в одном из докладов пришел к выводу о том, что все выдвигаемые в этом направлении правильные идеи для генеративизма не специфичны (заимствованы им у предшествовавших направлений), а все

¹⁰ Например, [Corbett 1976:299—315]. Целый ряд подобных примеров приводится в упоминавшейся статье Р. Анттилы [Anttila 1974].

специфические для него идеи неправильны, кроме того, в нем есть идеи для него неспецифические и вместе с тем неправильные [Coseriu 1976:331].

Основные причины несостоятельности генеративистского направления как в общем, так и в историческом языкознании — те же, что и других немарксистских подходов к изучению языка: отсутствие правильного и последовательно проводимого понимания сущности и природы языка как общественного явления, подмена понятия о реальном конкретном языке идеалистическими фикциями вроде языковой компетенции, свободной деятельности духа, абстрактной системы отношений и позитивистское стремление к ненужной формализации объекта изучения. Только диалектико-материалистический подход к языку как специфической, объективно осуществляющейся и непрерывно развивающейся деятельности общества по обмену и закреплению информации, подлежащей вестороннему изучению различными целесообразными методами, может обеспечить подлинно научное решение проблем структуры, функционирования и исторического развития языка.

ОСВЕЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯЗЫКОВ

Вопросы языковых контактов в настоящее время привлекают внимание широкого круга лингвистов. Возрастание интереса к проблематике взаимодействия языков, все более осязаемое по мере приближения к нашему времени, — не только не ослабевающее, а, напротив, имеющее тенденцию усиливаться, — объясняется двумя тесно связанными причинами — особенностями истории изучения языков (в частности, европейских) и внешнелингвистическими обстоятельствами их развития.

Отправным пунктом в развитии европейского языкознания было изучение классических языков — латинского и греческого, в меньшей степени — восточного древнееврейского (иврита) — в средние века, прежде всего в качестве языков, важных для богословия, по отношению к которому наука, в том числе лингвистическая, рассматривалась как его служанка. Впрочем, фактически из этих трех языков даже греческий, — не говоря уже о древнееврейском, предмете изучения немногочисленных арудитов, — занимал значительно более скромное место, чем латынь, обучение которой в Западной Европе со времен античности вплоть до XVII в. диктовалось помимо прочего практической потребностью, поскольку язык этот был не только языком могущественной тогда католической церкви, но и языком дипломатии, науки, европейской межнациональной литературы, административной и судебной практики и международной европейской торговли. Ввиду того что до появления и развития живых национальных литературных языков в Западной Европе как литературный господствовал почти безраздельно латинский, — у восточных и южных славян эту роль выполнял церковнославянский, в Византии —

греческий,— практическое письменное и устное владение латынью было необходимой чертой всякого образованного человека ¹¹.

Необходимость правильного усвоения этого языка, которому примерно с V в. н. э., а возможно, и раньше нельзя было нигде научиться путем живого обиходного общения [Тронский 1960:44—45], требовала особого внимания к преподаванию латинской грамматики. В связи с этим возникла настоятельная необходимость в наиболее логичном (т. е. самом простом для усвоения) изложении ее правил, что дало основание возникнуть мнению о якобы особой логичности латыни по сравнению с другими европейскими (живыми) языками. Другим источником представления о кажущейся логичности латыни, грамматика которой в отличие от других европейских языков, длительное время усваиваемых их носителями исключительно эмпирически, с давних пор разрабатывалась, было то, что она как язык мертвый, остановившийся в своем развитии, не требовала в отличие от живых языков периодического пересмотра правил и норм, выделяясь на фоне других языков Европы незыблемостью и завершенностью.

Инерция длительного изучения латинской грамматики, сквозь призму которой известное время продолжали смотреть и на новые языки Европы, тем более, что часть из них, романские как потомки латыни, давала непосредственный для этого повод, мешала сразу заметить их своеобразие, в том числе вызванное языковой интерференцией. Вниманию к вопросам интерференции не способствовало вначале и индоевропейское сравнительно-историческое языкознание, так как основой его развития служили данные либо древних мертвых языков (санскрит, латынь, готский), либо древнейших стадий истории языков, имевших непосредственное продолжение в виде своих лингвистических потомков (англосаксонский для современного английского, древневерхненемецкий для современного немецкого и т. п.). В обоих случаях в поле зрения оказывались языки, история которых, в том числе взаимодействие с другими языками, была мало или совсем неизвестна, а внимание сосредоточивалось не на моментах расхождения родственных языков, часто вызываемых разными для разных языков лингвистическими контактами, а на моментах их сходства, причем в исконных незаимствованных чертах, что определялось стремлением к реконструкции их общего предка-языка — то ли индоевропейского, то ли праславянского, прагерманского и т. п. Все это тормозило изучение взаимосвязей между языками, невольно приводило к приуменьшению их роли в историческом развитии языков, ослабляло интерес к их исследованию. Лишь по мере того, как объектом изучения становились современные диалекты и языки, часть из которых обнаруживала явные следы языковых контактов

¹¹ То же, в сущности, относилось тогда к другим частям света, где в связи с ограниченным и элитарным характером образования, бывшего уделом немногих, а также религией как основой средневекового мировоззрения были распространены единичные, общие для целого региона литературные языки (арабский, санскрит, пали, китайский), получавшие часто особое распространение как языки определенного религиозного культа.

(английский среди германских с многочисленными романскими элементами в лексике, румынский среди романских с сильными следами славянских влияний, среди иранских персидский с многочисленными арабизмами и т. п.) или входила в языковые союзы с неблизкородственными языками (румынский, болгарский, македонский, греческий, албанский как представители балканского языкового союза), вопросы языковых контактов, необходимость их изучения для лучшего понимания природы изучаемых языков, их взаимосвязей стали обращать на себя все большее внимание. Языковые контакты стали все чаще искать и находить и в древних индоевропейских языках или наиболее ранних периодах развития живых европейских языков, а вслед за тем и в других, менее изученных, языках мира.

Возрастание интереса к процессам языковой интерференции, кроме причин, коренящихся в развитии лингвистики, в немалой степени стимулировалось социолингвистическим развитием самих языков, в частности европейских, приобретением все большим их числом статуса официальных, вместе с чем росло количество практически актуальных объектов специального лингвистического изучения, требовавших уточнения их границ, связей и взаимодействия ¹².

Процесс возникновения новых литературных языков и получения ими статуса языков официальных или государственных, как показывают приведенные данные, не только не идет на убыль, — тем более не «сворачивается», — а, напротив, приобретает все больший размах, что вполне естественно ввиду завоевания независимости все большим числом колоний и полузависимых стран. Получение статуса литературных и официальных языками, в прошлом бесписьменными или, хотя и имевшими богатые традиции, но искусственно ограничиваемыми в своих функциях (каталанский в Испании), наблюдаемое не только в Европе, но и во всем мире, свидетельствует о процессе демократизации, прокладывающем себе путь наряду с борьбой народов за социальное и национальное освобождение и равноправие, за мир, демократию и социализм. Превращение все большего количества языков в литературные является неотъемлемой частью этого процесса демократизации, прежде всего демократизации образования, так как это делает образование доступным для широких

¹² С этой точки зрения интересны данные о количестве официальных языков Европы, — имеются в виду как языки отдельных государств, так и наибольших составных частей государств союзного или федеративного типа, — фиксируемые в период после трех дипломатических соглашений общевропейской значимости — Венского конгресса 1815 г. (I), Версальского мирного договора 1919 г. (II) и Потсдамской конференции 1945 г. (III): I — 12 (1) французский, 2) немецкий, 3) русский, 4) турецкий, 5) шведский, 6) датский, 7) нидерландский, 8) английский, 9) испанский, 10) португальский, 11) итальянский, 12) латинский); II — 27 (те же и 13) норвежский, 14) финский, 15) польский, 16) литовский, 17) латышский, 18) эстонский, 19) белорусский, 20) украинский, 21) чешский, 22) румынский, 23) венгерский, 24) сербско-хорватский, 25) болгарский, 26) албанский, 27) греческий); III — 36 (те же и 28) молдавский, 29) исландский, 30) фарерский, 31) ирландский, 32) словацкий, 33) словенский, 34) македонский, 35) ретороманский, 36) мальтийский). Судя по данным последнего времени, этот процесс возрастания числа официально признанных языков (как в Европе, так и вне ее) продолжается.

трудовых масс, в прошлом часто лишенных его и оттого, что путь к нему (например, для многих народов Африки) шел только через овладение чужим, трудным для усвоения, языком, усложняющим овладение даже основами знаний. Если в прошлом при функционировании немногих письменно-литературных, нередко мертвых языков образование было уделом немногих, то теперь с увеличением количества литературных языков все больше народов получает возможность обучаться на родном языке, что значительно облегчает процесс обучения, получение образования, как начального, среднего, так и высшего.

Наряду с ростом числа официальных, государственных и просто литературных языков с более ограниченными функциями неуклонно расширяется круг мировых языков, получивших особенное распространение в силу ряда причин, среди которых в качестве перво-степенных можно рассматривать такие, как большое число говорящих на них людей (50—100 млн. и более), считающих их родными языками или пользующихся ими в качестве литературных в повседневной практической деятельности, их большая территориальная распространенность (в нескольких странах, иногда на нескольких континентах или преимущественно в одном, но крупном государстве), великие культуры, созданные на данных языках, пользующиеся авторитетом других народов мира, как результат хотя бы одного из перечисленных, а чаще всех указанных факторов, более или менее международный характер данных языков, тот факт, что их активно или пассивно знают или изучают во многих странах мира. Если к концу XIX в. к подобным мировым языкам можно было отнести только три европейских языка — французский, английский, немецкий, то в настоящее время к их числу присоединился русский. На роль мировых все активнее и со все большим основанием претендуют, кроме того, такие языки, как — из европейских — испанский, португальский и в известной степени итальянский. Из языков Азии — китайский, хинди (с урду), арабский, японский, индонезийский, бенгальский. Из языков Африки к роли мирового ближе всего суахили, распространенный не только в Африке, но частично также в прилегающих районах Азии. Таким образом, количество языков, фактически ставших мировыми или недалекими от того, чтобы ими стать, в настоящее время приближается к 14. По-видимому, в недалеком будущем, — хотя и эта цифра достаточно велика для разноразличных языков, — она будет превышена. В основном новые официальные языки, в том числе мировые, возникают за счет создания литературных норм для языков, в прошлом бесписьменных, разговорных. Однако официально признанные языки (их варианты) в потенции, нередко переходящей в действительность, способны, с одной стороны, появляться в силу дробления наиболее крупных мировых языков, многие из которых известны рядом резко различающихся диалектов (проблема диалектов китайского или арабского языка) или национальных вариантов (английский язык), с другой же, давать своеобразные самостоятельные ответвления в виде креольских языков (французский креольский язык Гаити, пиджин Папуа, ста-

новящийся государственным языком этой страны, и т. д.). Хотя в мире наблюдается и противоположный процесс исчезновения отдельных, как правило, небольших языков (с переходом их носителей на более крупные соседние языки)¹³, этот процесс явно не доминирует. Господствующей, определяющей является тенденция, выражающаяся в приобретении ранга литературных, официально признанных все более многочисленными языками.

Между объективно оправданным и целесообразным стремлением народов земного шара к превращению своих национальных языков в литературные, ведущим к увеличению количества официальных и государственных языков, а тем самым ко все большему и узаконенному многоязычию, и тенденцией к сближению самых отдаленных народов нашей планеты возникает с течением времени всевозрастающее противоречие. Однако не следует думать, что возникающая парадоксальная ситуация, на которую обращали внимание еще языковеды начала и середины нашего века [Meillet 1918; Dauzat 1953] и которая, если и изменилась, то только в сторону возрастания своей парадоксальности, приводит к неразрешимому конфликту, все более отдаляя решение вопроса о едином, прежде всего вспомогательном, языке человечества, функционирующем параллельно с существующими национальными (в том числе мировыми) языками. Диалектика языкового развития противоречит подобному метафизическому подходу: именно увеличение количества литературных, официальных и государственных языков, в том числе расширение круга языков мировых, ставит со всей остротой вопрос об одном языке, который в отличие от национальных и мировых, объединяющих одну или несколько наций (в случае его полинациональности) либо только часть человечества, мог бы служить средством общения всех людей Земли независимо от их национальности. Как бы ни был решен этот вопрос, — то ли путем превращения во всемирный одного из наиболее совершенных межнациональных мировых языков [Ханазаров 1963: 225], то ли путем создания наиболее совершенного вспомогательного искусственного языка, впитавшего опыт лучшего из естественных, спонтанно возникших национальных [Свадост 1968:212—235] языков, — ясно, что возникшая ситуация объективно приближает момент возникновения единого (первоначально вспомогательного) всемирного языка человечества, так как делает потребность в нем все

¹³ Характерным, однако, для последнего времени (второй половины XX в.) является то, что с одной стороны, ни одному из исчезающих языков наука старается не дать исчезнуть бесследно, что особенно характерно для советской лингвистики (см. работу по фиксации самодийского камасинского языка, прибалтийско-финского водского и т. п.), а с другой — наблюдаются более или менее удачные попытки сделать употребляемыми или активизировать мертвые языки (корнский в Великобритании; подробнее см.: Bergesford 1974; вврит; послевоенное движение «живой латыни» и т. п.). Подобное восстановление отмерших в прошлом языков вряд ли может стать массовым явлением, однако при всей уникальности подобных фактов не учитывать их как специфику последнего времени нельзя. В какой-то степени отмеченная тенденция способствует также возникновению новых литературных языков.

более насыщенной и безотлагательной¹⁴, а тем самым создает предпосылки для интенсификации усилий в данном направлении и приближения положительного решения данного вопроса.

Как бы то ни было, социолингвистическое развитие человечества тяготеет в настоящее время к двуязычию и даже многоязычию. Если в прошлом билингвизм, а тем более мультилингвизм были типичны только для отдельных языковых и этнических «перекрестков» мира, где на сравнительно ограниченной территории проживали многочисленные народы — носители преимущественно генетически далеких языков (Балканы, Закарпатье, Кавказ, Индия, Юго-Восточная Азия, Папуа и т. п.), или являлись уделом небольших этнических групп с отдельным языком, проживающих на территории больших народов, говорящих на наиболее распространенных языках, то в настоящее время эти явления характерны для всех без исключения народов земного шара. В Советском Союзе, с одной стороны, все нерусские народы в своем большинстве владеют (стремятся овладеть) русским языком, с другой — русские стремятся овладеть по меньшей мере одним иностранным языком, а вне пределов России в той или иной мере прибегают к национальным языкам других советских республик. Тяготение к иностранным языкам характерно и для других носителей мировых языков. Тем более значительно оно у наций, языки которых мало распространены вне их этнической территории. С развитием образования, науки и культуры у разных народов и на все более многочисленных языках знание других языков, кроме родного, становится все более и повсеместно необходимым. Однако не следует думать, что двуязычие, — а часто и трехязычие, — станет менее характерным с появлением всеобщего мирового языка, факта, который отнюдь не может означать немедленную «отмену» всех национальных и, видимо, зональных языков. В случае «искусственного», т. е. сознательно, планомерно, а не стихийно возникшего, мирового языка все человечество должно стать как минимум двуязычным и оставаться таковым до тех пор, пока первоначально вспомогательный всеобщий язык не станет единственным для всех народов Земли, что должно занять целую историческую эпоху. В случае «естественного» национального характера языка двуязычным должно стать все население земного шара, кроме носителей данного языка, т. е. большинство населения Земли. Переход от двуязычия

¹⁴ Нельзя при этом не отметить, что при всей кажущейся неразрешимости дилеммы «естественный» или «искусственный» язык как основа будущего всеобщего языка в последнее время в наиболее серьезных работах на эту тему наблюдается тенденция к сближению данных точек зрения: с одной стороны, авторы не отрицают возможности непредвиденной ситуации, «когда введение искусственного языка окажется все же целесообразным», находят необходимым постепенное планомерное усовершенствование функционирующего естественного языка, предназначенного быть всеобщим, и во всяком случае считают важными «серьезные научные эксперименты по созданию искусственного языка с максимально совершенной структурой» [Мельничук 1971:60], с другой — считают необходимым «привлечь в качестве сырья для общечеловеческого (искусственно созданного.— О. Т.) языка как можно больше языков всего земного шара (в пределах практически возможного)» [Свадост 1968:234].

к одноязычию и в этом случае не может не совершаться медленно, возможно, даже более медленными темпами, чем в первом случае, так как его будут тормозить два дополнительных фактора — **технико-лингвистический**, заключающийся в большей сложности овладения стихийно сложившимся национальным языком, чем языком **плановым** с его упорядоченной и логической грамматикой; 2) **психологический**, заключающийся в необходимости отказа от своего языка при сохранении всеобщего языка, не нейтрального для всего человечества, а свойственного по происхождению определенной нации и не упорядоченного, усовершенствованного, — т. е. превращенного, в сущности, в искусственный, — а такого же стихийно сложившегося, следовательно возведенного в ранг всеобщего в значительной степени в силу случайности¹⁵.

Таким образом, в будущем проблема двуязычия (многоязычия), а следовательно, и языковых контактов, взаимодействия языков, как и в настоящем, не только не утратит, а по причинам, непосредственно связанным с предстоящими судьбами языков мира, приобретет еще большую актуальность. Именно эти обстоятельства обуславливают возрастающий интерес к проблеме языковых взаимосвязей, способствующий возникновению обширной и разносторонней литературы вопроса, как советской, так и зарубежной.

Здесь выделяется вопрос об освещении в зарубежной лингвистике результатов языкового взаимодействия, конкретно выражающегося в явлении языкового субстрата и близкого к нему по природе понятию суперстрата¹⁶.

Проблема языкового субстрата (суперстрата) представляет интерес с разных точек зрения. Исследование остатков языка коренного местного населения, вытесненного языком пришельцев и в реликтных элементах растворяющегося в нем (случай субстрата), или пережитков языка пришельцев, вытесненного языком местного населения и в остаточных элементах растворившегося в нем (случай суперстрата), важно в том отношении, что позволяет получить хотя бы фрагментарное представление о языках, сохранившихся часто только в виде соответствующего субстрата или суперстрата. Это дает возможность судить об исчезнувших языках и вместе с тем расширить представление о языках той же семьи (группы), к которой вымершие языки принадлежат. В то же время исследование субстратных (суперстратных) языков, элементы которых выделяются

¹⁵ Именно эти соображения (1) отсутствие нейтральности у любого национального языка; 2) несовершенство и сложность их грамматик) заставляют сторонников «искусственного» вспомогательного международного языка высказывать сомнение в целесообразности и перспективности превращения одного из национальных языков в международный язык науки, где потребность в едином языке, своеобразной «современной латыни», особенно велика [Арманд 1976:58—59].

¹⁶ Литературу по языковым контактам в целом см.: [Вайнрайх 1979: 219—245 (643 позиции)] с дополнением Ю. А. Жлуктенко по работам, опубликованным в СССР [там же: 246—261—309 позиций]; [Новое в лингвистике, вып. 6, 1972: 118—119, 152, 253, 273—274; Жлуктенко 1974:165—175; Schönfelder 1956:74—79].

из структуры языков-преемников, включивших их в себя, позволяет более глубоко, чем это было бы допустимо без него, проникнуть в историю соответствующих языков, установить ряд их специфических черт на фоне других родственных языков. Оно освещает наиболее сложные моменты истории субстратных языков и языков-преемников, что помогает лучше представить многие тенденции, продолжающие действовать в обеих языковых семьях (группах) — связанной генетически с языком-преемником и с субстратным (суперстратным) языком. Однако при этом имеется и третья сторона. В явлении субстрата (суперстрата) отражены результаты завершившегося процесса взаимодействия языков, которые при достаточно глубоком и убедительном истолковании могли бы не только осветить их прошлое и настоящее, но и в известной степени помочь в раскрытии перспектив языковых контактов в будущем, которые ведут к образованию единого языка человечества — сначала вспомогательного, затем основного и, наконец, единственного. Учет особенностей образования субстратов может оказаться полезным вследствие того, что по отношению к единому языку человечества отдельные национальные языки в тех своих элементах, которые будут в него включаться, выступают в качестве его субстратов. Использовать эти элементы наиболее рационально, сохраняя единство всеобщего языка и в то же время оптимально учитывая интересы народов мира и их национальных культур, можно только опираясь на богатый лингвистический опыт человечества, в том числе на историю великих мировых языков (латинского, русского, английского, французского, испанского, немецкого, китайского и т. д.) и их субстратов, нередко дававших начало новым родственным языкам (ср. латинский + (<галльский) \geq французский; латинский + (<иберийский) \geq испанский и т. п.). Ввиду этого проблема субстрата, попытки практического и теоретического ее решения имеют большое значение для дальнейшего развития лингвистики. В связи с тем, что вопрос о языковом субстрате среди широкой проблематики языковых контактов привлекает внимание сравнительно немногочисленной группы лингвистов, — в значительной степени это объясняется ее сложностью и неразработанностью, — целесообразно остановиться здесь не только на работах последних лет, но и на исследованиях, в которых отражены типичные для зарубежных ученых точки зрения, хотя и высказанные ранее.

Интерес к субстратным исследованиям, их методологическим и теоретическим основам, методике тем более закономерен, что в последние 20—30 лет как в Советском Союзе, так и за рубежом наблюдается усиление внимания к проблемам субстратных языков и субстратных влияний на те или иные языки. Наряду с небольшими исследованиями и статьями появились обширные монографии.

17—19 февраля 1955 г. Институтом языкознания АН СССР была проведена дискуссия о теории субстрата, в которой принял участие ряд ведущих советских лингвистов (в частности, В. И. Борковский, В. Н. Ярцева, Б. А. Серебренников, В. И. Абаев, А. В. Десницкая, В. Г. Орлова, Е. И. Убрятова, Б. В. Горнунг) [Доклады 1956].

Подобное широкое обсуждение проблемы субстрата не отмечается среди зарубежных лингвистов. Зарубежное субстратоведение имеет, однако, и свои достижения. В частности, можно назвать работы монографического характера, посвященные вопросу исследования языковых субстратов.

Из них наибольшего внимания заслуживает уже самой темой работа В. Феенкера «Вопрос финно-угорского субстрата в русском языке» [Veenker 1967]. Монография Феенкера интересна уже тем, что, несмотря на наличие большого количества работ, посвященных вопросу финно-угорского субстрата в русском языке, в дореволюционной и советской лингвистике подобной работы обобщающего характера, к сожалению, нет. Во многом это объясняется сложностью темы финно-угорского субстрата в русском языке, тем более что речь идет не об одном, а о нескольких финно-угорских субстратах русских диалектов, а через их посредство — русского литературного языка, прежде всего мерянского, мордовского и прибалтийско-финского типов. Монография Феенкера отличается фундаментальностью и добросовестностью в истолковании явлений русского языка, связываемых с финно-угорским субстратом. Она не является исследованием, посвященным изучению каких-либо новых явлений предполагаемого финно-угорского субстрата в русском языке. В основном в ней рассматриваются вопросы возможных субстратных финно-угорских влияний в русском языке, которые широко освещены в науке. Это фонетические и грамматические (в широком смысле) явления русского языка, по поводу которых высказывались мнения как о вызванных в русском языке финно-угорским субстратом. Явлений лексики (прежде всего лексической семантики) и фразеологии, обусловленных в русском языке финно-угорским субстратом, Феенкер касается значительно меньше, что объясняется меньшим вниманием, которое уделялось до сих пор соответствующим языковым фактам. Таким образом, в своей работе Феенкер не столько намечает новые пути исследования финно-угорского субстрата в русском языке, сколько подводит итоги сделанного в этом направлении в мировой науке. Желанием в максимальной, исчерпывающей степени охватить все, что может быть прямо или косвенно связано с рассматриваемым вопросом, объясняется и то, что собственно субстратное влияние на русский язык не совсем четко разграничивается с явлениями, которые скорее следует рассматривать в качестве адстратных, заимствованных из живых финно-угорских языков и диалектов, и что наряду с исследованиями, специально посвященными вопросу финно-угорского субстрата в русском языке, привлекаются работы, в которых этот вопрос затронут частично, косвенно. Эти особенности исследования, которые нельзя однозначно причислить к недостаткам, делают его на данном этапе ценным вкладом в развитие субстратоведческих разысканий. Работа В. Феенкера еще долго останется настольной книгой всех, кто занимается вопросом финно-угорских субстратов в русском языке, даже несмотря на то, что в оценке тех или иных конкретных фактов с автором не всегда и не во всем можно согласиться. Благодаря широкому привлечению литературы Феенкер

в каждом случае дает читателю возможность достаточно четко выяснить степень достоверности предложенной им интерпретации приведенных фактов. Имея большую научную и познавательную ценность, — в основном убедительно и исчерпывающе подводя итоги сделанного в данной области к середине 60-х годов XX в., — книга Феенкера интересна также с методической точки зрения. Прежде всего, она представляет собой образец той основательности в собирании и осмыслении лингвистических фактов и данных литературы, которая всегда была характерна для лучших немецких лингвистических трудов прошлого. Однако наряду с этой традиционной чертой в ней имеются интересные с методической точки зрения нововведения. В книге помещена таблица, лаконично и наглядно отражающая итоги рассмотренных автором черт русского языка, которым приписывается связь с финно-угорским субстратом. В таблице Феенкера отражены 52 явления русского литературного и диалектного языка предполагаемого финно-угорского субстратного происхождения. Она содержит 7 граф: 1) номер; 2) явление; 3) глава; 4) распространенность (литературный язык/диалект); 5) соответствия в финно-угорских языках (распространенность в финно-угорских языках, например: финно-угорские языки; во многих финно-угорских языках; прибалтийско-финские языки; марийский, удмуртский; карельский, вепсский и т. п.); 6) форма и вид возможного влияния (субстрат/адстрат, — иногда под вопросом, — с уточнением — вызывающий, поддерживающий); 7) степень оценки влияния (не решено; возможно; вероятно/маловероятно; надежно (sicher); безусловно нет (sicher nicht) с еще более уточняющими эту градацию знаками — +, —, 0 (нуль), ?).

Научные и чисто технические достоинства работы В. Феенкера делают ее книгой, представляющей большой интерес не только для финно-угристов, русистов и славистов, но и для всех занимающихся вопросами языковых контактов, особенно вопросами языкового субстрата¹⁷.

Книга Г. Рейхенкрона «Дакийский язык (реконструированный из румынского)» [Reichenkron 1966] представляет собой попытку реконструкции исчезнувшего почти бесследно дакийского языка с помощью его субстратных элементов, сохранившихся в румынском. Она интересна в связи с тем, что в работе по реконструкции дакийского (дако-мизийского) языка, одного из исчезнувших палеобалканских языков, объединены усилия лингвистов ряда стран.

В отличие от книги В. Феенкера, представляющей собой в основном подведение итогов сделанного его предшественниками с его критической оценкой, книга Г. Рейхенкрона — в значительно большей степени оригинальное исследование, основу которого составляют самостоятельные разыскания автора, использующего работу предшественников лишь как вспомогательный материал. Это различие объясняется не столько индивидуальностью каждого из авторов, сколько особенностью самого предмета исследования и вытекающими отсюда задачами. Если целью Феенкера была критическая оценка научных

¹⁷ Ср. рецензию П. Аристе [Ariste 1968].

взглядов относительно финно-угорского субстрата в русском языке, то перед Г. Рейхенкроном стояла вполне конкретная цель: исходя из довольно хорошо вычленяемых в румынском субстратных слов реконструировать (в возможных пределах) дакийский язык. Книга Рейхенкрона меньше по объему, чем книга Феенкера, но компактнее и четче по структуре. В ней речь идет фактически не о целой семье родственных языков с недостаточно вычлененными сугубо субстратными явлениями, как у Феенкера, а всего об одном субстратном языке.

Не имея возможности подробно остановиться на этой книге, в том числе на оценке предложенных в ней этимологий, следует ограничиться тем, что может представлять наибольший интерес, т. е. частью, посвященной вопросам методики. Собственно лингвистическому анализу слов предполагаемого дакийского происхождения, составляющему исследовательскую часть работы, Г. Рейхенкрон предпосылает теоретически и методически оправданное рассмотрение исторических обстоятельств образования румынского языка, особенностей распространения латыни в Римской империи, своеобразия романизации в Юго-Восточной Европе, вопроса о славянском адстрате румынского. Для того чтобы рельефно представить особенности формирования румынского как романского языка, Рейхенкрон сопоставляет «галло-ромакский» (> французский) и «дако-ромакский» (> румынский). За этой вполне оправданной исторической частью следует раздел, посвященный формальной стороне, позволяющей идентифицировать лексику дакийского субстратного происхождения в румынском языке (вопросы корня — конца, начала, середины и инфиксов, ударения и чередования гласных в корне, формантов, суффиксов, префиксов, значения и т. п.). Здесь же устанавливаются правила отнесения слов к дакийскому языку, что подтверждается данными наиболее близких к дакийскому, по мнению Рейхенкрона, албанского и армянского языков. Книга Рейхенкрона, в которой автор обосновывает свои выводы в основном аргументированными данными истории взаимодействующих языков — дакийского и латинского (с учетом фактов славянского адстрата), убедительно показывает возможность и перспективность реконструкции субстратных языков, полную реальность самого понятия языкового субстрата. Несмотря на то что в ней автор не ставит целью теоретически обосновать целесообразность и возможность субстратных исследований, тем более не претендует на создание теории субстрата, самой логикой приведенных в ней фактов, — дана этимология 130 румынских слов дакийского происхождения, — его книга приводит к серьезным теоретическим выводам. Кроме того, что она вносит весомый вклад в историю румынского языка и его дакийского субстрата (о важности этого компонента говорит отнесение румынского к дако-ромакским языкам), работа Г. Рейхенкрона неопровержимо доказывает, что реконструкция субстратных языков (в первую очередь исходя из фактов их языков-преемников) при условии всестороннего учета лингвистических и исторических фактов не является чем-то фантастическим и бесплодным, а, напротив, вполне реальным и осуществимым.

Однако наряду с несомненными удачами зарубежные работы, посвященные вопросу субстрата (суперстрата), содержат некоторые сомнительные, а иногда и совершенно неприемлемые положения.

В зарубежном языкознании отмечаются попытки, если не совсем отказаться от понятия субстрата, то во всяком случае подвергнуть сомнению необходимость его применения. На основании субъективных соображений, в лучшем случае подтверждаемых отдельными неудачными работами, посвященными субстрату, по которым нельзя судить об этой обширной проблеме в целом, высказывается мнение, что понятие субстрата становится все менее популярным в современном языкознании, что оно устарело и т. п. Подобные утверждения имеют место, в частности в статье Р. Фаукеса «Английская, французская и немецкая фонетика и теория субстрата» [Фаукес 1972]. Справедливо критикуя недостаточно убедительное объяснение в статье П. Делаттра [Delattre 1964] черт английской фонетики, отличающихся от немецких, влиянием кельтского субстрата, Р. Фаукес, не подтверждая свои выводы какими-либо другими примерами, выражает несправедливый скепсис по поводу применения понятия субстрата в языкознании вообще. «Вряд ли кто-нибудь будет оспаривать, — пишет он, — взаимодействие соседей-современников или же почти очевидный факт, что поколение, изучающее новый язык, принесет в этот язык много собственных речевых навыков. Что же касается таинственной атавистической силы древних субстратов, то она представляется окутанной слишком густым туманом, чтобы можно было вести научное наблюдение: есть лишь возможность строить всякие, иногда довольно увлекательные, предположения... Конечно, надо быть благодарным за любую попытку приблизиться к «объясняющей лингвистике», однако теория субстрата до сих пор остается исключительно шатким основанием для какого-либо объяснительного построения» [Фаукес 1972:342—343]. Высказанное критическое замечание по поводу употребления понятия субстрата явно бьет мимо цели и может быть принято безоговорочно только как предостережение против его необоснованного употребления. Однако нельзя согласиться с тем обобщением в отношении субстратных исследований, которые делает Р. Фаукес и которые можно воспринять только как полное отрицание возможности применения этого понятия в том случае, когда речь идет о последствиях взаимодействия двух языков в древности. О том, что это далеко не так, говорят не только факты успешного применения понятия субстрата или изучения субстратных языков и субстратных влияний в работах последнего времени, в том числе зарубежных, но и то, что это понятие нашло успешное применение в целом ряде работ прошлого, в том числе в блестящей лингвистической работе «Франкский диалект» одного из основоположников диалектического и исторического материализма, классика марксизма Ф. Энгельса. Высокую оценку работе Энгельса дал известный немецкий языковед, историк языка и диалектолог Теодор Фрингс: «То, что мы (немецкие германисты. — О. Т.) обнаружили на Рейпе в процессе кропотливой и напряженной работы, на 40 лет раньше уже было открыто взору Энгельса. В своей работе Ф. Энгельс,

еще в период безоговорочного господства младограмматиков, отказывается от чисто физиологического, построенного на естественно-научных закономерностях рассмотрения языка. Вместо застывшего и неподвижного, вместо отдельного и разрозненного, вместо догматического правила Энгельс видит историческое движение и историческую жизнь. Он совершает, не оговаривая этого специально, переход к социально-историческому рассмотрению языка. Работы Брауне и Энгельса противостоят друг другу, как два мира. Надо полагать, что Брауне, по крайней мере в позднейшие годы, понял бы и оценил своего современника» [1955:223]. В этой работе, представляющей собой классический образец творческого применения марксистской теории к решению одного из сложнейших вопросов германского языкознания, опередившей современную автору лингвистику и до сих пор не устаревшую в своих конкретных исследовательских выводах, Ф. Энгельс успешно применяет понятие субстрата, в частности по отношению к голландскому варианту нидерландского языка, ряд отличий которого от фламандского объясняется воздействием на нидерландский язык Голландии со стороны фризского субстрата. Правда, в работе Ф. Энгельса не фигурирует термин «субстрат», потому что, хотя впервые этот термин и был употреблен еще в 1821 г. датским лингвистом Я. Бредсдорфом в работе «О причине языковых изменений» (Om Aarsagerne til Sprogens Forandringer, København, 1821), широкое распространение в науке он получил только после появления в 1886 г. работы Г. Асколи «Лингвистические письма» (Lettere glottologiche, Torino, 1886). Работа Ф. Энгельса написана в 80-е годы прошлого века, когда термин «субстрат» только начал распространяться. поэтому вполне объяснимо его отсутствие в ней. Однако то, что Энгельс, не употребляя термина «субстрат», имел в виду именно это понятие, видно уже из самого текста, особенно его немецкого оригинала. Так, говоря о пережиточных включениях фризских элементов в голландском диалекте нидерландского, а также саксонском (нижнегерманском) и датском языках, Энгельс пишет: «На западе он [фризский] был оттеснен или совсем вытеснен нидерландским (языком), на востоке и севере — саксонским и датским, но в обоих случаях оставляя сильные следы в языке, который вытеснял его (...in beiden Fällen starke Spuren in der eindringenden Sprache zurücklassend — букв.: ...в обоих случаях сильные следы в проникающем языке оставляя (после <себя>))» [Энгельс 1935:31 (русского) и 29 (немецкого) текста]. Следы, оставленные автохтонным языком в языке, проникшем в данную местность позже, характерны именно для субстрата, и хотя Энгельс прямо не называет этого явления принятым в настоящее время термином, ясно из самой характеристики явления, что он имеет в виду субстрат. Если в данном случае Энгельс определяет субстрат чисто описательно, то в другом месте, где речь идет уже о франкском субстрате в западносаксонском, возникшем в результате проникновения саксов на бывшую франкскую территорию, он ищет особое слово для определения того понятия, которое теперь передается термином «субстрат». И хотя слово, употребляемое в данном случае Энгельсом, по внутренней семантической форме

не вполне совпадает с термином «субстрат», понятийно оно к нему близко. Так, говоря об окончании -п (в 1 л. ед. ч. наст. вр.) глаголов как черте, первоначально чуждой саксонскому, а также англосаксонскому и фризскому и проникшей в западносаксонский (случай типа (ik)bidдон «(я) прошу» вместо древнесакс. (ik)biddo(-u)) из франкского, Энгельс замечает: «Мы можем поэтому предположить, что и это п представляет франкский пережиток <первоначально: пришелец> в древнезападносаксонском (диалекте)» [Энгельс 1935:25 (русского) и 24 (немецкого) текста]. Слово Eindringling, употребленное вначале, означает «пришелец, непрощенный гость». Оно, видимо, не удовлетворяло Энгельса, так как неточно характеризовало субстратный элемент как «непрощенного гостя», т. е. элемент нежелательный, навязанный. Именно поэтому он употребил слово Überrest — «остаток, пережиток (букв. «то, что остается сверху, наверху»)», дающее представление об элементе субстратного языка, оказавшегося внизу под напластовавшимся на него языком пришельцев (в данном случае — саксов) (ср. лат. substratum/p. субстрат — «субстрат; подстилка, подостланное» от substerno «подстилаю»), и поэтому более точно — и близко к термину «субстрат», — чем слово Eindringling, — обозначает социолингвистическую сущность процесса. После того как язык пришельцев напластовался на язык местного населения и вытеснил его из жизни, исчезнувшие его части погибли и сохранились только те остатки, которые оказались наверху (Überrest), войдя в состав наслоившегося на местный язык языка пришельцев, как правило, в его стилистически «низкие» слои. Употребленное Энгельсом слово позволяет представить происшедший процесс наглядно и тождественно с пониманием современной науки.

Как явствует отсюда, Ф. Энгельс очень тонко и точно представлял процессы исчезновения языков и появления субстратов, возникающих в вытеснивших их языках в виде сохранившихся элементов первого (исчезнувшего) языка местного населения. Таким образом, не употребляя еще в своих работах термина «субстрат», он прекрасно представлял себе обозначаемое им понятие.

Советский нидерландист С. А. Миронов в работе, посвященной Ф. Энгельсу, интерпретируя уже приводившуюся цитату о вытеснении фризского языка нидерландским, пишет: «В приведенном отрывке дана в чрезвычайно сжатой форме исчерпывающая и глубоко научная характеристика языковых отношений, сложившихся в Нидерландах в XVI—XVII вв. в связи с перенесением центра языкового развития на север и со смещением диалектной базы нидерландского литературного языка. Вместе с тем здесь очень ярко и убедительно показан гетерогенный, смешанный характер новонидерландского языка: необходимый выделения в нем основного франкского ядра и элементов ингвеонского (преимущественно) фризского субстрата. Интересно в этой связи, что зelandские и голландские земли Ф. Энгельс именует «древнефризскими», имея в виду их первоначальное заселение автохтонными фризскими племенами» [1972: 248].

Следовательно, понятие субстрата в его правильном историко-лингвистическом истолковании и применении — отнюдь не мистика. Об этом убедительно свидетельствует уже работа Ф. Энгельса, появившаяся за 80 лет до опубликования статьи Р. Фаукеса, пытающегося нигилистически это понятие отвергнуть, и доказавшая уже тогда важность и перспективность введения этого понятия в языковедение. О том же говорят появившиеся и появляющиеся после работы Ф. Энгельса исследования, в которых на материале многих языков успешно решается эта проблема. Наука не может отказаться от понятия «субстрат», как, впрочем, и от более позднего, появившегося только в 1932 г. понятия «суперстрат», — уже хотя бы потому, что заинтересована в максимально возможной реконструкции субстратных и суперстратных языков на основе их остатков в языках, которые их восприняли и сохраняют в своем составе, особенно в тех случаях, когда это единственный путь реконструкции исчезнувших языков. Важно исследование субстратов и для лучшего представления об истории языков, в состав которых они вошли. Поэтому отказываться от реконструкции субстратных языков, пренебрегая понятием субстрата, недооценивая его, значило бы становиться на путь агностицизма, неприемлемый для дальнейшего развития науки.

Противоположность рассмотренному взгляду, не менее вредную, однако, для развития теории субстрата и субстратоведческих исследований, представляют собой другие взгляды, переоценивающие силу субстрата, его стойкость, которые при этом отрываются от конкретно-исторических причин, социологических обстоятельств, способных не только вызывать и усиливать влияние субстрата, но и уменьшать возможность его появления, а иногда и сводить ее на нет. Если нигилистический подход к субстрату только тормозит развертывание субстратоведческих исследований, но остановить их не может, то работы, преувеличивающие его значение, доказывающие его присутствие там, где субстрата нет и не может быть, или неправильно объясняющие его появление, наносят едва ли не больший вред, так как дискредитируют идею подобных исследований, подрывают веру в их важность и успешность. Существует несколько разновидностей подобного взгляда.

Прежде всего сюда относится представление о наследственности звуковых субстратных законов, с особой четкостью отраженное в работе голландского лингвиста Я. ван Гиннекена «Наследственность звуковых законов» [Ginneken 1927]. В своем исследовании ученый связывает фонетические субстратные черты с биологически, расово обусловленной артикуляционной базой, оперируя при этом биологическим понятием генотипической артикуляционной базы, по отношению к которой языковая среда выступает в качестве определенного фенотипа.

В современной биологии генотип рассматривается как наследственная основа организма, представляя собой систему взаимодействующих генов, характерную для каждого индивида, а фенотип (от гр. φείνω — «показываю» и τύπος — «образ, форма») определяется в качестве совокупности признаков и свойств организма,

сложившихся в результате его индивидуального развития, обуславливаясь наследственной основой организма (генотипом) и условиями, в которых происходит его развитие. Исходя из этих биологических понятий и замалчивая действие социальных причин, Я. ван Гиннекен утверждает: «Общие задатки человека являются, однако, настолько многосторонними, а артикуляционные базы большинства европейских языков являются в своей основе настолько похожими, что здесь у нас практически любой ребенок без труда может усвоить артикуляционную базу своего окружения в качестве фенотипа, не теряя при этом полностью и своей собственной генотипической артикуляционной базы. Последняя, напр., проявится отчетливо, когда этот ребенок, временами после многих лет, или в своих предках, возможно, через столетия, снова придет в соприкосновение со звуками своей собственной артикуляционной базы. Тогда такой человек может вдруг сразу почувствовать себя как дома, тогда он сразу задвигается с величайшей легкостью, тогда он станет певучим языковым художником, тем временем как до того он был всего лишь подражателем-халтурщиком» [Ginneken 1927 : 13]. При всей эмоциональности приведенной цитаты сразу можно заметить, что за внешним лиризмом формы здесь, к сожалению, не имеется сколько-нибудь положительного, конструктивного содержания. Ван Гиннекен оперирует настолько общими, «космическими», бездоказательными категориями, что на его взгляд, который иначе как идеалистический и объективно расистский нельзя определить, казалось бы, можно не обращать внимания как на своеобразный курьез, тем более, что речь идет о работе 50-летней давности. Но речь идет о крупном ученом, пользующимся в зарубежном языковедении определенным авторитетом. Об этом, в частности, свидетельствует то, что Я. ван Гиннекену посвящена специальная статья в польском словаре лингвистической терминологии, где он рассматривается в числе 337 выдающихся языковедов мира [Gołąb, Heinz, Polański 1968:675]. Близкие мысли высказывались и за несколько лет до появления его работы, и много лет спустя. Так, немецкий ученый Э. Гамилльшег в статье «О звуковой субституции», опубликованной еще в 1911 г., т. е. за 16 лет до появления работы ван Гиннекена, высказывает мысль, в сущности, очень недалекую от взгляда последнего: «То, что население способно полностью отказаться от собственной артикуляционной базы в пользу чужой, является абсолютно недоказанной гипотезой» [Gamilsscheg 1911:185]. В подобной безапелляционной форме утверждение Э. Гамилльшега не менее спорно, чем взгляд ван Гиннекена, поскольку вопрос о стойкости артикуляционной базы в случае смены языка рассматривается абстрактно, вне времени и пространства, вне особенностей двух языковых коллективов, из которых один переходит на язык другого. Французский ученый А. Доза в 1953 г., т. е. через 26 лет после появления работы ван Гиннекена, объяснял отсутствие *v* в баскском языке явлением проинатизма (выдвинутой вперед нижней челюстью, касающейся не зубов, а верхней губы), которое привело к тому, что возникла тенденция к произношению *v* вместо *b*, точнее, звука *β*, занимающего промежуточное положение

между *v* и *b* [Dauzat 1953:34]. Здесь снова, как в работах вап Гиннекена и Гамилльшега, предпринята попытка объяснить стойкость тех или иных артикуляторно-фонетических субстратных явлений не общественными, не социальными, а биологическими факторами, поскольку данная черта проявляется и в испанском, где, по-видимому, может рассматриваться как черта баскского (или более древнего, иберийского) субстрата. По поводу последнего взгляда следует сразу же заметить, что он вызывает сомнение тем, что в нем совершенно снимается со счетов фактор социальный (в частности, в виде преемственности фонетических традиций определенного языкового коллектива), являющийся здесь определяющим, не говоря уже о том, что явление прогнатизма, — если стать на точку зрения Доза, — сомнительно как причина баскского фонетического факта. Действительно, звук *β* можно найти в целом ряде самых разнообразных языков — от испанского и баскского через греческий определенного периода до марийского, диалектного хантыйского и некоторых других финно-угорских языков, включая древнефинский. По-видимому, речь идет не столько о прогнатизме, сколько о действии универсальной тенденции тяготения взрывных к переходу во фрикативные, наблюдаемой во многих языках мира. Все упомянутые взгляды характеризуются тем, что в пих на первом месте стоит фактор биологический, расово-генетический, хотя речь идет о языке, явлении, свойственном человеку, существу прежде всего общественному, формирующемуся и развивающемуся вместе с языком в связи с особенностями развития общества, а не вне его, в отрыве от него. Как бы ни были сильны в человеке черты антропологические, биологические, обуславливающие и его фонетику, фонетические особенности его произношения могут быть признаны в качестве действующих норм, а не его индивидуальных особенностей, только в случае их принятия языковым коллективом, обществом. Что же касается передачи по наследству артикуляционных черт, то она маловероятна уже в связи с самим биологическим способом воспроизводства человека, — не говоря уже о социальных факторах, — который с неизбежностью предполагает для продолжения рода объединение генов одной линии наследственности с генами другой. Как в подобных условиях, уже биологически сложных, — безотносительно даже к языковым традициям общества, — может «проложить себе дорогу» линия определенной «генетически обусловленной» артикуляционной базы, «объясняет» разве что идеалистическая мистика расизма. Ничего общего с истинной наукой, базирующейся на принципах диалектического и исторического материализма, подобные взгляды не имеют. Нельзя не согласиться с мнением Е. Уотма (Whatmough), приводимым Б. Гавранеком (B. Havránek) в его работе «К проблематике смещения языков», который по поводу подобных субстратных теорий пишет: «С мистической или атавистической интерпретацией субстрата нужно покончить раз и навсегда; это химера или, вернее, собрание химер» [1972:109].

Расово-генетический (атавистический), идеалистический подход к явлению субстрата, превращающий его в нечто фаталистически неизблемое, независимое от общественных условий, в наибольшей

степени отразился прежде всего во взгляде на наследственность фонетических субстратных особенностей. Однако в зарубежном языкознании можно встретиться и с попыткой обосновать влияние субстратной генетической наследственности и на другие области языка, в частности на его грамматические (словообразовательные) особенности. Подобный взгляд содержится в двух работах известного немецкого лингвиста, финно-угроведа и специалиста по общему языкознанию Э. Леви (Ernst Lewy) — «К вопросу о языке старого Гете. Попытка рассмотрения языка индивидуума» и «Язык старого Гете и возможность его биологического обоснования» [Lewy 1961a, b]. Отмечая в произведениях старого Гете, в частности во второй части «Фауста», значительное количество парных именных или реже наречных образований типа Wechsel — Dauer «изменчивость — стойкость», herrlich — hehr «великолепный — величественный», dunkel — helle «темный — светлый», Rache — Segen «мечь — благословенье», Jungfer — Sohn «дева (дочь) — сын (т. е. ребенок, который должен родиться и пол которого неясен, — ср. как параллель коми *ныв-пи* «девушка (дочь) — сын (= дети)»), Thal — Gebirg «долина — гора» (собр.) и других и справедливо утверждая, что в творчестве молодого Гете подобные образования не встречались так же, как не характерны они для немецкого в целом, Леви объясняет появление этих образований тем, что в старости великий поэт стал все больше возвращаться к биологическому типу отцовской линии своих предков со свойственными им языковыми особенностями. Поскольку эти предки родом из Восточной Франконии, где в прошлом жили славяне, по-видимому, были славянами, славяне же, по мнению Леви, — «финно-угризованные индоевропейцы», — а, как известно, части славянских и всем финно-угорским языкам парные слова чрезвычайно свойственны [Ткаченко, 1979:90—91, 96—97, 116—117, 125—126, 145—146, 159—160, 169—170, 176—214], — то возвращение к этому исходному типу было связано у Гете, в частности, с перенесением в немецкий язык свойственной славянам (и их субстрату, финно-уграм) модели парных слов. С тем же тяготением к Востоку связано и увлечение старого Гете восточной поэзией, отразившееся в его известном поэтическом сборнике «Западно-восточный диван» («West-östlicher Divan»). Таков в общих чертах ход мысли Леви, сложный и вряд ли соответствующий реальным причинам возникновения особенностей языка старого Гете. Даже не касаясь положения о славянах в целом как «финно-угризованных индоевропейцах» и продуктивности парных слов у всех славян, в том числе самых западных, эти положения, особенно первое, нуждаются в обосновании: нельзя не отвергнуть фактически недоказуемого положения о биологической, генетической обусловленности парных слов в языке старого Гете. Очевидно, более естественно объяснить тяготение старого Гете к парным словам совсем иначе, исходя из реальных обстоятельств жизни Гете. Действительно, не исключено, что этот способ словообразования мог быть в какой-то степени свойственен языку его славянских предков [Ткаченко 1979:178]. Поскольку германизация славян Франконии была массовой, некоторые черты их славянского языка в период перехода к полной германиза-

пии, когда еще господствовало славяно-немецкое двуязычие, могли быть унаследованы немецким языком этих славян, сохранившись в нем и после полного отмирания их славянского языка, в том числе, очевидно, парные слова. Эта черта, видимо, сохранялась не только в немецком языке тех местностей, где когда-то жили славяне (> позднее немцы), но известное время и в языке выходцев из этих мест даже при переселении их на исконно немецкую территорию. Употребление парных слов в немецком языке — если предки его отца были действительно славянами, — могло быть свойственно языку семьи Гете, в которой он родился и вырос. Будучи молодым поэтом и подчиняясь как авторитету немецких писателей-предшественников, так и традициям немецкого литературного языка, он не вводил эту особенность в язык своих произведений. Позднее, когда он стал заслуженным и почитаемым мастером, все более уверенно и свободно пользующимся немецким языком, Гете, чувствуя удобство парных слов, особенно подходивших для передачи сложных понятий глубокого философского содержания второй части «Фауста», смело прибег к этому источнику обогащения языка своих произведений. Толчком к этому возможно послужило также знакомство с восточной поэзией. Как известно, для некоторых восточных языков (тюркских, санскрита, китайского) парные слова типичны. Так вполне реалистически объясняется тяготение Гете к рассмотренной языковой особенности.

Если в употреблении понятия «субстрат» обнаруживается сравнительно большое количество ошибок, то в употреблении понятия «суперстрат» их значительно меньше. Это объясняется главным образом тем, что понятие суперстрата не приобрело в языкознании такой популярности, так как оно на 100 лет «моложе» понятия «субстрат». Однако и здесь не обошлось без отдельных, иногда значительных, ошибок. Одной из них, па которой нельзя не остановиться, — тем более, что ее допустил сам создатель термина, швейцарский лингвист В. фон Вартбург, — является принятие положения об аристократии, «слое вождей» (Führerschicht) как главном источнике проникновения суперстратных черт в язык-преемник (например, франкских черт во французский язык). Мысль эта нашла наиболее отчетливое выражение в его работе «Вычленение романских языковых территорий» [Wartburg 1939:106]. Ясно, что сама стойкость франкского акцента в галло-романском языке припильцев-вождей объяснялась их связью с франкскими народными массами, переселившимися на территорию Франции. Без этой связи этот акцент исчез бы в течение одного-двух поколений. Его же влияние, как и воздействие на французский язык в области грамматики и лексики, стали возможными в силу того, что проникновение франков на галло-романскую территорию было связано не только с небольшой прослойкой франкской знати, но и с появлением здесь многочисленных франкских земледельческих поселений, впоследствии романизованных [Жирмунский 1955:19]. Именно массовостью появления франков на территории Франции и вызванным этим массовым характером их романизации следует объяснять значительность

влияния Франкского германского языка на французский. В связи с этим взгляд В. фон Вартбурга на то, что самые глубокие влияния со стороны суперстратного языка идут от количественно незначительной знати народа-завоевателя, следует решительно отвергнуть как маловероятный и антиисторический.

Таким образом, можно констатировать, что развитие исследования субстратов (суперстратов) тормозится не только сугубо материальным обстоятельством, сложностью соответствующих исследований, но и определенными ошибочными теоретическими установками, распространенными среди зарубежных лингвистов. В целом их можно свести к двум основным случаям — недооценке субстрата, попытке пренебречь им как целостным явлением, растворив его в других видах языковой интерференции, и переоценке субстрата, его стойкости, усилиям создать впечатление, будто субстрат является чем-то абсолютным, фатальным, неизбежным, существующим «вне времени и пространства», независимо от конкретных общественных условий. Первый случай можно рассматривать как проявление определенного агностицизма, второй — как попытку абсолютизации субстрата как явления не общественного (объясняемого социолингвистически), стремление представить его в виде расово-генетического факта. В сущности такой же антиисторической, а в конечном счете расистской является теория аристократических, обязанных происхождением германскому «слою вождей», истоков черт германского суперстрата в романских языках.

Для того чтобы избежать подобных идеалистических установок в теоретических попытках объяснить явление субстрата (суперстрата), небезопасных как для развития лингвистической теории в целом, так и для самой практики языковедческих исследований, необходимо, ведя с ними теоретическую борьбу, одновременно искать правильный путь для обоснования действительно научной теории субстрата (суперстрата), не только опираясь на приобретенный теоретический и практический опыт, но и на новые конкретные исследования субстратных языков. Только подобные исследования способны, непрерывно обогащая науку новыми фактами, путем их новых обобщений стать основой дальнейшего углубления лингвистической теории и в этой области языкознания.

ТЕОРИЯ «ЯЗЫКОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»

Отрасль лингвистики, получившая на Западе наименование теории «языкового планирования» (далее — ЯП), возникла сравнительно недавно. Ее основы были выработаны Э. Хаугеном, предложившим и само название — *language planning* [Haugen 1959]. В широком смысле термином ЯП обозначают различные способы сознательного воздействия человека на язык, а также предварительно рассчитанные изменения его средств и структуры. Основное содержание теории ЯП известно советскому читателю из статьи Э. Хаугена «Лингвистика и языковое планирование», опубликован-

ной в сборнике «Новое в лингвистике» [Хауген 1975]¹⁸. Важнейшие из его трудов, посвященных данной проблеме, появлялись в различных периодических изданиях и впоследствии были собраны в книге «Экология языка» [Хауген 1972].

Э. Хауген, конечно, создавал эту теорию не на пустом месте. Проблемы такого типа начали решаться практически и теоретически советскими учеными еще за тридцать лет до появления его публикаций в успешно осуществленных в нашей стране программах языкового строительства. Почти тогда же начали рассматривать в своих трудах пути и способы совершенствования литературных языков лингвисты Пражской школы [Thèses 1928].

В теоретической лингвистике Запада в 50-е годы шли бесконечные (и в значительной мере схоластические) споры относительно того, может ли вообще человек влиять на свой язык. Заслугой Хаугена было, без сомнения, то, что в этой обстановке он выступил смело и решительно за положительное решение вопроса. Хауген доказал, что вся лингвистика до XIX в. была исключительно нормативной, да и впоследствии многие языковеды принимали всегда активное участие в кодификации и нормализации конкретных языков. «Нормативную, или предписывающую, лингвистику,— указывал Хауген,— можно рассматривать как некий вид управления (или манипулирования) языком, предполагающий существование того, что я буду здесь называть «языковым планированием» (с. 443).

Пытаясь теоретически осмыслить человеческую деятельность, направленную на изменение языка, Хауген, с одной стороны, обратился к теории и практике социального и экономического планирования, а с другой — использовал ряд положений так называемой теории решений — популярного раздела современной социологии. Действительно, планирование обычно рассматривается современной наукой Запада как вид человеческой деятельности, возникающий в тех случаях, когда появляется необходимость в решении какой-либо проблемы. Осуществление планирования включает несколько обязательных типов: обстоятельный сбор материала, рассмотрение различных альтернативных планов действий, принятие определенных решений и, наконец, реализацию этих решений посредством ряда продуманных мероприятий. Такая модель, по мнению Хаугена, вполне подходит и для планомерного сознательного воздействия на язык. Аналогичную схему предлагает и «теория решений». По определению Р. Снайдера, «принятие решения состоит в выборе некоторого плана (то есть линии действия) из ограниченного числа общественно обусловленных альтернативных планов с целью вызвать некоторое специфическое будущее состояние, ясное тому, кто принимает решение» (с. 445). Такая же процедура используется в процессе ЯП, хотя здесь она представляет собой лишь один из этапов программы. Нельзя, однако, не заметить, что, проводя эту аналогию между сознательным воздействием человека на язык и

¹⁸ Далее при ссылке на эту работу страницы приводятся в тексте в скобках.

социальным или экономическим планированием, Хауген не учитывал общественных функций того и другого видов человеческой деятельности. Аналогия между ними усматривалась, собственно, лишь в способе организации.

Э. Хауген настоятельно подчеркивал, что ситуации, в которых осуществляется более или менее интенсивное ЯП, не являются исключением, а, наоборот, вполне обычны. «Всюду, где существуют языковые проблемы, требуется ЯП» (с. 444). Эти проблемы могут быть весьма разнообразными. «ЯП в принципе возникает повсюду, где есть разрыв (*failure*) коммуникации. Но разрыв не следует понимать как подразумевающий одинарное решение (или — или) — здесь имеется в виду целая шкала, отмечающая все случаи: от полного осуществления коммуникации, до ее полного отсутствия» (с. 449).

Вначале Хауген ограничивал область ЯП подготовкой для членов негомогенных языковых сообществ правописания, грамматики и словарей. Однако вскоре он начал трактовать ЯП значительно шире, относя сюда и культуру речи, и вообще «все предложения относительно языковых реформ или стандартизации языка» [Haugen 1972:287]. «Душой» ЯП Хауген признавал «вынесение суждения в форме выбора одной из нескольких имеющихся языковых форм» (с. 444). Еще короче сущность ЯП можно, по его мнению, определить как «оценку языкового изменения». Поскольку носители языка в своей речевой практике всегда вносят изменения в средство своего общения, то в их распоряжении должен быть какой-то набор средств, позволяющий делать выбор. Следовательно, приходит к заключению автор, «мы можем говорить о ЯП как о попытке повлиять на этот выбор» (с. 445). Как явствует из общей концепции, эти различные определения ЯП должны дополнять друг друга.

Соответственно упомянутой выше общей схеме любого планирования и ЯП должно состоять из ряда взаимосвязанных операций: «ЯП всегда возникает из чьей-либо *оценки* ряда социолингвистических данных, которые мы можем назвать *исходной ситуацией* (*background situation*). Деятель, осуществляющий ЯП, предлагает *программу действий*, которая предусматривает *цель*, языковую *политику* или ряд политик, способных, по его мнению, привести к этой цели, и специфические мероприятия (*procedures*), которые обеспечат осуществление данной политики» [Haugen 1972:287]. Наряду с определением языковой политики (*policy formulation*), Хауген считает весьма важными составными частями ЯП кодификацию, разработку путей совершенствования языка (*elaboration*) и реализацию программы (*implementation*). Особенно большое значение имеет для него этап выбора формы или структуры. В их оценке необходимо, по словам Хаугена, исходить из трех «объективных» критериев — эффективности, адекватности и приемлемости. «*Эффективна та форма, которую легко выучить и легко употреблять*» (с. 459). Адекватность констатируется лишь в тех случаях, когда данная форма передает информацию, «которую хотят передать употребляющие ее лица, с *желательной для них степенью точности*»

(с. 461). Нетрудно заметить, что оба указанных выше критерия основываются именно на субъективных впечатлениях и оценках, поэтому их объективность более чем сомнительна. Что же касается третьего критерия, то его субъективность подчеркивается самим определением: «Правило «приемлемости» гласит: данная форма должна быть принята лидерами или приемлема для лидеров соответствующего социума или субсоциума» (с. 464).

В одной и той же языковой ситуации ЯП может иметь различный характер: когда изменения должны касаться формы языка, мероприятия ЯП будут сводиться к нормированию и кодификации норм; в том случае, когда измениться должна функциональная сторона языка, ЯП принимает вид культурной речи. В обоих случаях важным элементом ЯП должна быть оценка достигнутых результатов программы (evaluation).

Хауген правильно отмечает, что учреждения или личности, осуществляющие ЯП (так называемые субъекты ЯП), могут быть весьма разнообразными: «Между крайними полюсами — частной инициативой и прямым диктатом сверху — существует целый спектр организаций, предпринимающих шаги в поддержку какой-либо языковой формы: это церковные общины, различные общества, школы в литературе и науке» (с. 455). Однако в определении потенциальных возможностей тех или иных субъектов ЯП ярко проявляется характерная черта всей концепции Хаугена — элитарность. Выше всех он оценивает роль в воздействии на язык выдающихся личностей — реформаторов и нормализаторов языка (по терминологии автора, кодификаторов). Хауген отмечает, что какими бы различными ни были представления общества о языке, такие личности неизменно сохраняли высокий престиж: «Для тех, кто считал язык божественным творением, кодификатор был жрецом (букв. — *rundit* «ученый муж»), возвещавшим людям полученную от бога истину. Впоследствии код стал рассматриваться как закон, а кодификатор — как законодатель, затем как этикет, а кодификатор — как законодатель мод и хорошего тона и, наконец, как национальный символ, а кодификатор — как национальный герой. Для эстетиков кодификатор был поборником красоты языка, для логиков — приверженцем строгой рациональности, для философов — истолкователем законов мышления. Теперь, когда теория информации дала нам новое значение термина «код», мы готовы считать кодификатора технологом языка (*linguistic technician*). Но мы, будучи социологами, должны признать, что все указанные выше значения кода и роли кодификатора продолжают существовать и входят в комплексную функцию языкового планирования в человеческом обществе» (с. 453). В приведенном здесь длинном перечне функций деятеля ЯП допущен весьма знаменательный пробел: Хауген забывает об одной из важнейших из них — выполнении социального заказа определенных общественных классов и групп. Исторический опыт различных языковых реформ убедительно свидетельствует о том, что успех или неудача каждой попытки воздействовать на язык неизменно были обусловлены тем, соответствовала ли она

общественным потребностям, интересам социального, экономического и культурного прогресса.

В западной социолингвистике принято считать, что Хаугену удалось создать стройную и обоснованную теорию «управления языком», разработать основные ее понятия и четко определить формы и этапы ЯП. Действительно, в его трудах можно найти немало ценных наблюдений и предложений в данной области, но в целом концепция Хаугена имеет ряд существенных недостатков, значительно снижающих ее научную ценность. Прежде всего, необходимо отметить в ней ошибочную трактовку языковой политики, которая рассматривается лишь как один из элементов программы действий, вырабатываемой отдельной личностью — кодификатором. До начала действия этой программы соответствующей языковой политики как будто даже не существует. На самом деле, как доказано В. И. Лениным, языковая политика представляет собой одну из важнейших составных частей национальной политики и всегда выражает интересы определенного общественного класса, партии, государства. При этом она «не только возможна, но и необходима» [Аврорин 1970:10], так как именно языковая политика регулирует функционирование конкретных языков в данном сообществе или государстве. Она же служит основой и для выработки системы мер сознательного регулирующего воздействия на язык, т. е. ЯП, по терминологии Хаугена.

В своем рассмотрении механизма ЯП Хауген не понимал различий между функциональной и структурной сторонами языка, которые, как справедливо указал В. А. Аврорин, находятся в неодинаковом отношении к возможности их сознательного регулирования: «Сознательная воля влияет на структуру языка только через посредство его функциональной стороны, и это явление, хотя и нарастает со временем, все же по сравнению со стихийным развитием имеет весьма ограниченные пределы, которые в естественном языке едва ли могут быть когда бы то ни было полностью преодолены» [Аврорин 1970:9]. В отличие от этого функциональное развитие языка «характеризуется тенденцией ко все большему подчинению регулирующей воле общества, составляющих его классов, политических партий и государственного аппарата. Удельный вес стихийных процессов в этой области постепенно сводится к минимуму» [там же]. Таким образом языковая политика оказывает сознательное регулирующее воздействие своими мерами «на функциональную сторону языка, а через ее посредство — в известной мере и на его структуру» [Аврорин 1970:10]. Ее успехи, как и успехи деятельности осуществляющих ее личностей и учреждений, полностью зависят от того, насколько последовательно они опираются на подлинно научное познание характера и перспектив общественного прогресса, социальной роли языка, особенностей и возможностей ее развития.

Не понимая подлинных социальных основ регулирующего воздействия общества на язык, Хауген наделял исключительным правом на выработку программы ЯП, приемлемость и оценку ее ре-

зультатов только «лидеров» языкового сообщества. Явно примыкая к сторонникам идеалистической «теории элиты», он цитирует высказывания А. Мейе о том, что европейские языки — это будто бы «языки, созданные элитой и для элиты». «Весьма полезной» он признает и точку зрения П. Рэя, который выделял в каждом языковом сообществе некоторое «подмножество лидеров», обладающих престижем и поэтому рассматриваемых как достойные подражания. В результате их языковой узус распространяется среди массы рядовых членов сообщества. Иногда Хауген признает, что языковая норма элиты может и не иметь успеха, но пытается это объяснить как результат соревнования двух элит — современной и будущей. Такое понимание не имеет ничего общего с признанием той большой роли в развитии языка, которую играют выдающиеся писатели — мастера слова, выполняющие социальный заказ широких общественных кругов.

Э. Хауген подчеркивает надклассовый характер элиты, объединяющей представителей различных слоев. «В большинстве европейских наций принято, — утверждает он, — что «лидеры» — это элита, отмеченная печатью богатства, или власти, или происхождения, или образования (или, возможно, всеми четырьмя преимуществами одновременно)» (с. 463). Языковые реформаторы ввиду их высокого престижа тоже входят в эту лидирующую группу. Остальным членам общества отводится в лучшем случае пассивная роль. Ситуации, при которых, как в Норвегии, в языковое движение вовлекаются большие народные массы, Э. Хаугена просто пугают. «Приведена в действие языковая лавина, — пишет он, — лавина, которая все еще движется, и никто не знает, как ее остановить, хотя многие были бы рады это сделать» [Хауген 1972:133].

При внешнем объективизме и мнимой нейтральности изложения Э. Хауген замалчивает классовое и партийное содержание языковых политик, недооценивает роль общественного воздействия на язык. Недостатки его теории отчасти объясняются сознательным игнорированием опыта языкового строительства в СССР, трудов советских лингвистов по вопросам языковой политики, типологии языковых ситуаций, культуры речи, языкового нормирования и т. д.

В 60—70-е годы развернулось осуществление многих программ культурно-языкового развития в странах Азии и Африки, в связи с чем проблемы сознательного регулирования языка приобрели особенно большое значение. Объем языкового планирования в указанных регионах настолько расширился, что американский социолог Дж. Фишман был вынужден признать: «Социология развития стала в наше время преимущественно социологией не-западных стран, а социология языкового планирования — в основном социологией организованных и направленных на изменения процессов, совершающихся в не-западных языках» [Fishman 1974a:83].

Ввиду определенного сходства языковых ситуаций многие деятели развивающихся стран заинтересовались советским опытом решения языковых проблем. Все больше лингвистов Азии и Африки стало обращаться к изучению ленинской языковой политики,

отстаивающей принципы равноправия языков и народов [Никольский 1972]. В этой обстановке языковые проблемы стран «третьего мира» приобретают популярность также в США и других капиталистических странах. Пользуясь тем, что в развивающихся странах ощущался недостаток средств и отсутствовало достаточное количество специалистов, осведомленных в теоретических вопросах языковой политики и регулирования развития языков, правительства США, Англии, Франции и фонды межнациональных компаний стали щедро финансировать исследования в области ЯП стран Азии и Африки. Этим вопросам регулярно посвящаются научные конференции и симпозиумы, в больших количествах издается научная литература. За государственный счет командируются на Восток языковеды и социологи, изучающие языковые ситуации на местах и принимающие деятельное участие в организации и осуществлении программ ЯП. Так, в 1980 г. американский Летний лингвистический институт командировал свыше 4-х тыс. сотрудников в 30 стран Латинской Америки, Африки, Азии и Океании [Свистунов 1981].

Выход за пределы традиционной европейской тематики, анализ десятков новых, иногда очень сложных языковых ситуаций, изучение ряда действующих программ планирования, координация исследований с социологами, антропологами, этнографами и т. д.— все это существенно углубило понимание закономерностей сознательного воздействия на язык и содействовало развитию теории ЯП.

Одновременно в практике и теории ЯП разгорелась ожесточенная идеологическая борьба, которая приняла здесь более обостренный характер, чем в любой другой социолингвистической дисциплине. Прежде всего обнаруживается упрямое стремление многих западных теоретиков доказать, что те программы и задачи культурно-языкового развития, которые в настоящее время возникают в развивающихся странах, в принципе ничем не отличаются от языковых реформ, происходивших в свое время в странах Запада. Ввиду этого западноевропейский опыт в этих вопросах якобы вполне можно переносить на страны Азии и Африки (так называемая теория экстраполяции опыта ЯП). Выходящая конкретное социально-классовое содержание из той или иной языковой политики, западные теоретики упорно доказывают, что единственное различие, которое следует принимать во внимание,— это то, что процессы, потребовавшие для своего осуществления в странах Западной Европы по нескольку столетий, в странах «третьего мира» должны занять значительно меньше времени. «Новым вадиям,— подчеркивает Ф. Карам,— было крайне необходимо сократить сроки своего становления, особенно в их языковом развитии, которое соотносится с национальным прогрессом» [Карам 1974:106]. Дж. Фишман дошел даже до того, что объявил стремление развивающихся стран к культурно-языковому развитию не вытекающим органически из их насущных потребностей, а искусственно переносимым из более развитых стран. «ЯП как аспект национальной модернизации,— утверждал он,— возникло в Южной и Юго-Восточной Азии под влиянием Запада» [Fishman 1971b:3]. (Это заявление даже самому

автору показалось натянутым, и он поспешил добавить: «В то же время оно представляет собой реакцию против влияний Запада», что больше соответствует истине.)

Для решения многих вопросов ЯП в развивающихся странах западные лингвисты использовали положения теории Э. Хаугена. Особенно привлекала ее элитарная направленность. Как известно, государственный аппарат молодых стран Азии и Африки в основном комплектовался из прежних чиновников колониальных учреждений, а также тех лиц местного происхождения, которые получили образование в США или Европе. На эти кадры, более или менее владеющие европейскими языками, и стали возлагать большие надежды империалистические круги, считая, что именно из них сформируется новая элита, которая возьмет в свои руки руководство всей государственной и общественной жизнью, в том числе культурно-языковым развитием.

Как и Хауген, позднейшие социолингвисты проповедуют надклассовость руководящей элиты, относя к ней, например, крупных бизнесменов, ведущих интеллектуалов, политических деятелей, высших государственных чиновников, высший командный состав армии, высшее духовенство, профсоюзных деятелей и представителей других влиятельных кругов. «Такая группа,— пишет, например, Р. Белл,— не обязательно выводится из какого-либо конкретного социального класса, и действительно, в демократическом обществе доступ к членству в элите свободен для тех, чьи достижения по части образования сочтены отвечающими требованиям» [Белл 1980:221]. Указание на образовательный ценз здесь не следует, конечно, рассматривать как слишком строгое. Главное — принадлежность к «влиятельным кругам». Эта группа влиятельных лиц и должна, по мнению западных теоретиков, организовывать и проводить языковые реформы: «Кто же имеет решающий голос в деле языкового планирования в развивающихся нациях (а циники заявляют, что и в других также)? Ответ будет гласить: *элита*» [там же].

Исходя из этого, видоизменяется и само понимание сущности ЯП, которое рассматривается теперь как прерогатива только администрации страны. «Языковое планирование,— пишут, например, Дж. Рубин и Б. Х. Йернудд,— это преднамеренное (*deliberate*) изменение языка, то есть это те изменения в системах языковых кодов или в речи, или же в тех и других, которые осуществляются учреждениями, специально для этого созданными либо к этому привлеченными» [Rubin, Jernudd 1980:xvi]. Так же и Дж. Фишман относит к ЯП лишь такие «организованные меры по решению языковых проблем, которые обычно осуществляются на уровне нации» (цит. по: Каган 1974:105). Другими словами, из сферы ЯП исключается деятельность общественных организаций, политических партий, деятелей культуры, науки и литературы.

В том же направлении действуют те авторы, которые пытаются разделить ЯП на два особых участка. Так, Дж. Неуступный предлагает различать два разных подхода к ЯП — «политический» (называемый также социологическим или макроскопическим) и

«культурологический» (иначе — антропологический или микроскопический). «Политический» подход касается выбора национального или официального языка, его стандартизации, распространения грамотности в стране, стабилизации правописания, стилистической стратификации языковых средств и т. д. «Культурологический» подход ограничивается вопросами культуры литературного языка — проблемами правильности высказывания, эффективности языковых средств, стилистической дифференциации и т. д. «Политический подход, — пишет Дж. Неуступный, — осуществляется правительственными учреждениями, а культурологический — широкой общественностью, в частности, интеллигенцией» [Neustupný, 1974:43]. Еще важнее то, что эти разные подходы якобы должны использоваться в различных географических ареалах: «политический» тип ЯП характерен будто бы для развивающихся стран Азии и Африки, тогда как «культурологический» присущ развитым странам Запада. Из этого следует, что демократические способы решения проблемы ЯП якобы для развивающихся стран непригодны. Для большей убедительности Дж. Неуступный позволил себе при этом столь неортодоксальный с точки зрения американской социолингвистики шаг, как ссылка на СССР. «Насколько мне известно, — заявляет он, — в советском подходе к языковым проблемам существует довольно четкое разделение: в отношении менее развитых языков практикуется политический подход, к русскому — культурологический» [Neustupný 1974:43]. В действительности это, конечно, явная фальсификация.

В программах ЯП развивающихся стран одним из важнейших этапов являются формулирование основных положений языковой политики и разработка способов ее осуществления. Большинство стран этих регионов многоязычны. Поэтому выбор какого-либо из местных языков для возведения его в ранг государственного или официального представляет собой очень сложную задачу. При этом возможны два решения: либо статус официального предостается одному из языков местного населения (эндогенная языковая ситуация), либо выбор падает на язык другой страны (экзогенная языковая ситуация).

Примером экзогенной может быть ситуация в Индонезии, где в качестве официального языка была принята разновидность малайского. Подобный выбор всегда связан с целым рядом трудностей, но особенно нелегким бывает случай, когда в роли официального начинает использоваться прежний колониальный язык — английский, французский, испанский или португальский. Прежде всего, с таким языком связаны устойчивые и прочные отрицательные ассоциации как с орудием порабощения. Европейский язык, выступающий в функции официального языка развивающейся страны, не может претендовать на роль символа соответствующей африканской или азиатской нации, во многих случаях он мало пригоден для создания национальной культуры. Но едва ли не самым важным является то, что, захватывая командные высоты, такой язык снижает статус местных языков, ограничивает возможности их развития. Не допуская к использованию в области управления, права, политиче-

ской жизни, среднего и высшего образования, науки, техники и производства, он обрекает эти языки на сужение функций и обеспечение. Правда, многие развивающиеся страны рассматривают официальный статус прежних колониальных языков лишь как временный, но так или иначе это отодвигает надолго решение важных проблем страны — развитие языков и культур собственного населения, повышение их до такого уровня, который соответствовал бы требованиям времени.

Несмотря на все это, большинство западных теоретиков ЯИ всячески поддерживают и поощряют экзогенное решение языковой проблемы, указывая на ряд его преимуществ: а) соответствующий европейский язык достаточно развит, чтобы сразу же обеспечить общение в административной, политической, производственно-технической и гуманитарной сферах, в то время как у любого из местных языков для этого вначале недостает средств; б) в условиях внутренних противоречий между разными этническими сообществами страны европейский язык лучше подходит для межнационального общения ввиду своей «нейтральности» и т. д. Именно вследствие этого, как указывает Р. Белл, «типичным для бывших колоний Великобритании и Франции в Африке является выбор экзогlossного решения языковых проблем» [1980:225]. В ряде стран (Гане, Нигерии, Уганде и т. д.) наряду с этим одному или нескольким местным языкам предоставляется статус регионального официального языка.

Стремясь еще более усилить аргументацию в пользу выдвижения европейского языка на статус официального, западные социолингвисты начинают выдвигать на первое место фактор связи данного языка с достаточными культурными ценностями. Так, Дж. Фишман выдвинул тезис о том, что при решении вопроса о статусе языка необходимо принимать во внимание наличие или отсутствие у соответствующего этноса так называемой «Великой Традиции» (Great Tradition), т. е. «набора культурных признаков — права, правительства, религии, истории, который является общим для всей нации и способствует интеграции граждан государства в сплоченную массу» [Fishman 1971a]. Основным средством выражения «Великой Традиции» является определенный язык, который таким образом имеет все основания для получения официального статуса. «В том случае, если элита приходит к выводу об отсутствии «Великой Традиции», на которую можно опереться с целью объединения нации,— пишет Р. Белл,— языковая политика скорее всего будет направлена на создание экзогlossного государства, путем принятия в качестве национально-официального языка бывших правителей» [1980:227]. Предлагаемый Дж. Фишманом критерий «Великой Традиции», однако, очень ненадежен: во-первых, о наличии этой традиции и ее подлинном значении должна судить та же элита, зачастую воспитанная на европейских образцах и вообще склонная больше ценить то, что ее от остальной массы сообщества отделяет, чем то, что ее с ней объединяет. Во-вторых, многие народы прежних колоний имели значительные культурные традиции в

прошлом, которые в колониальный период, как правило, были утрачены. С точки зрения общенародных интересов эти традиции целесообразно возродить, для элиты же предпочтительнее сохранение той языковой ситуации, которая обеспечивает ей привилегированное положение.

В каждом отдельном случае западные теоретики ЯП могли ожидать, что в населении развивающейся страны могут найтись силы, которые будут выступать против их рекомендаций. Поэтому они не ориентируют афро-азиатскую элиту на демократические методы решения языковых проблем, а напротив — отдают предпочтение волюнтаризму. «Решения по поводу языковой политики,— поучает Р. Белл,— должны быть приняты в любом случае независимо от того, принимает ли правящая элита всевозрастающие требования народа об участии в управлении или же старается их подавить» [1980:222].

Некоторые западные авторы не прочь использовать в качестве аргумента экономические соображения: если, мол, сохранить тот официальный язык, которым пользовались еще в колониальные времена, то это обойдется намного дешевле, чем развивать и обогащать какой-либо из местных языков. К тому же и богатые промышленные государства Запада будут относиться к развивающейся стране в этом случае более благосклонно. «Лишь немногие из африканских правительств располагают достаточными средствами для финансирования хотя бы небольшой промышленности,— напоминает Д. Лейтин,— поэтому большинство из них, чтобы обеспечить развитие городов страны, должно рассчитывать на западные капиталы и западную технику... Положительным активом государства, которое ищет заграничных капиталовложений, является наличие рабочих, владеющих европейским языком в письменной форме. Это дает возможность администрации предприятий более эффективно общаться с рабочими и облегчает, когда это в интересах фирмы, продвижение способных местных работников на административные должности. Таким образом, чтобы получить от Запада капиталовложения, будет выгодной тактикой введение в школах преподавания на европейских языках» [Laitin 1977:13—14]. В работах этого типа постоянно подчеркивается, что владение европейским языком означает для африканца или жителя азиатской страны более благоприятные возможности в получении работы, в частности лучше оплачиваемой.

И все же фактическое положение в Азии и Африке складывается так, что целый ряд стран избирает в качестве официального один из местных языков. Выполнение этих более сложных функций неизбежно требует значительных структурных изменений — пополнения лексики, особенно терминологической, уточнения и совершенствования грамматических средств, устранения излишней вариативности и т. д. В подавляющем большинстве случаев эта деятельность практически развивается вполне успешно. Западные социолингвисты тем не менее стремятся воздействовать на подобные эндогенные языковые ситуации таким образом, чтобы сориентировать развитие местного официального языка в сторону западноевропейского.

В литературе предложен целый ряд обозначений тех процессов, которые должен пройти этот язык, чтобы стать эффективным средством национального общения — «модернизация», «интеллектуализация», «рационализация» и т. д. В сущности, все они сводятся к одному и тому же: максимальному приспособлению данного афроазиатского языка к европейскому. Правда, последний не называется прямо, а маскируется обозначениями типа «язык более широкой коммуникации», «язык, модернизированный ранее», «престижный язык», «современный язык» и т. п. «Модернизация», — пишет, например, Дж. Фишман, — представляет собой обычно результат стремления к достижению тех технических и культурных признаков, которые свойственны коллективам, считающимся современными. В сфере языка это — стремление достичь того, чтобы собственный язык мог свободно и адекватно выражать своими средствами то, что может выразить легко и точно язык более широкой коммуникации» [Fishman 1974b:24]. Многие западные авторы считают основой «модернизации» взаимную переводимость, т. е. приведению структуры и словаря местного языка в самое близкое соответствие с европейским, нивелируя грамматические модели, заимствуя из данного европейского языка лексические единицы и калькируя их.

Задачи «интеллектуализации» и «рационализации» местных языков западные теоретики толкуют как приведение их структуры в ближайшее соответствие с логическими законами мышления. Критерием в этих случаях опять-таки должен служить европейский язык как самый «интеллектуальный» и «рациональный».

Наиболее откровенно тенденции этого, по выражению А. Мейе, «лингвистического империализма» проявляются в публикациях Дж. Фишмана, требующего «вестернизации» африканских и азиатских языков, т. е. перестройки их по западноевропейскому эталону. Изменения в них, по его мнению, должны идти дальше обычной «модернизации», касаясь, в частности, систем письма, глагольных и местоименных форм и т. п. «Взаимная переводимость с современными престижными языками, — заявляет Фишман, — часто будет представлять собой скорее тенденцию к вестернизации, чем только к модернизации» [Fishman 1974a:89].

Если Э. Хауген проводил только аналогии между языковым и экономическим планированием, то в более поздних трудах западной социолингвистики эти виды человеческой деятельности уже полностью отождествляются. Например, так как во всех видах планирования практикуется «сознательное и управляемое использование ресурсов», из этого делается вывод, что язык — также «ресурс». Подобно тому, как экономические ресурсы обладают стоимостью, язык рассматривается как «ресурс», имеющий «коммуникативную ценность» [Jernudd, Das Gupta 1971:195—196].

Механическое отождествление языка с материальными средствами и орудиями доведено до предела в работах В. Таули [Tauli 1968, 1974]. Сущность его концепции состоит в следующем. Поскольку язык — средство общения, то, по его мнению, главными характеристиками языка следует считать инструментальность и

социальный характер. Язык всегда представляет собой общественный код, он постоянно нормативен, норма свойственна ему по природе и является тем предварительным условием, на котором зиждутся эффективность и экономность языкового общения. Люди не просто хотят говорить «хорошим» языком, они стремятся совершенствовать его, как прочие орудия и социальные учреждения. «Раз язык является орудием или средством,— заявляет Таули,— то и его самого, и отдельные его компоненты можно оценивать, изменять, регулировать, улучшать, заменять другими. По желанию можно создавать другие языки и новые компоненты языков» [Tauli 1974:51]¹⁹. Языки и их компоненты — конструкции, слова и морфемы — не одинаково эффективны во всех отношениях. Их эффективность можно оценивать относительно экономии, ясности, избыточности и т. п., пользуясь при этом объективными научными (в том числе количественными) данными.

Ни один язык, по утверждению Таули, не может выражать адекватно все — физическую и психическую реальность, оттенки человеческих мыслей и чувств, различные абстрактные теории. Вообще в языках содержится много несовершенного и неудобного, так как создавались они не методически, по какому-либо заранее определенному плану, а путем бесконечных проб и ошибок отдельных индивидов на протяжении тысячелетий. Если языки рассматривать с точки зрения современного технического или социального прогресса, то «этнические языки будут казаться нам довольно примитивными и архаичными» (с. 52).

Но это совсем не означает, говорит Таули, что так и должно быть. Язык, как и другие орудия, необходимо изменять или заменять, используя индивидуальную инициативу, влияние ведущих деятелей, престиж, авторитет, инстинкт, имитации, власть, пропаганду и т. п. Наиболее очевидным доказательством того, что такие изменения возможны, является исторический опыт различных языковых реформ. Эстонский реформатор языка И. Аавик, например, создавал произвольно даже новые корни слов, новые форманты и т. п. «Если не принимать во внимание ограничения, зависящие от биологических факторов,— пишет Таули,— то преднамеренным изменениям в языке теоретически нет пределов» (с. 53). Задача лингвистов — распространение лучших языковых форм и создание новых.

В. Таули резко выступает против тех языковедов, которые стоят на позициях невмешательства в язык, а также против гипотезы «языкового равновесия», согласно которой положительное и отрицательное в каждом языке взаимно сбалансированы и поэтому языков, более трудных или более легких, не бывает. Чтобы улучшить и изменять язык, нужна специальная теория — «наука, которая методически исследует цели, принципы, методы и тактику языкового планирования» (с. 56). Сущность ЯП Таули определяет как «мето-

¹⁹ Далее при ссылке на эту работу страницы приводятся в тексте в скобках.

дическую деятельность регулирования и улучшения существующих языков или создание новых общих региональных, национальных или международных языков» (с. 51).

Задачи ЯП, в представлении Таули, очень разнообразны. В частности, оно должно устранить тот вред, который принесли языкам прежние некомпетентные или отсталые грамматисты, причем не только определить ошибочные или неудачные формы, но и предложить вместо них лучшие. Еще более важной задачей является «методическое улучшение языка, то есть устранение неточностей и неудобств в его структуре и словаре, приспособление к новым потребностям и придание большей эффективности» (с. 57). Следовательно, теория ЯП — это прикладная нормативная наука, которая должна не удовлетворяться констатацией того, что существует фактически, а оценивать факты и определять нормы с целью их улучшения в соответствии с идеалом.

«Идеальный язык,— заявляет Таули,— это язык, который с помощью минимума средств достигает максимума результатов» (с. 59). Он должен удовлетворять следующим требованиям: а) выполнить все, что необходимо для предназначения быть средством общения, т. е. передавать всю необходимую информацию и все оттенки значения; б) быть экономным, т. е. как можно более легким для говорящего и слушающего; в) иметь эстетическую форму; г) быть эластичным, т. е. легко приспособляемым к новым задачам.

В. Таули признает, что искусственно установленные нормы будут нелегко привить говорящему: «Инновации и реформы встречают сопротивление, обусловленное стремлением к стабильности, традициями, узусом, инерцией и консерватизмом» (с. 61). Но он призывает преодолевать как это сопротивление, так и «мистическое и чисто эмоциональное отношение к языку, распространяя понимание языка как орудия» (там же). Нужно добиваться того, чтобы люди осознали, что «существенной в языке является именно эффективность и человек имеет право изменять по своему усмотрению и улучшать свой язык. Преданность традициям и стремление к стабильности — это естественные человеческие черты, но столь же естественным является и желание иметь лучшее орудие» (там же).

В осуществлении мероприятий ЯП, по мнению Таули, играют большую роль авторитет и власть. Информацию и пропаганду он считает законными и необходимыми тактическими средствами языкового планирования. Стандартизация языка понимается им как «предписание языковых норм официальным или авторитетным частным учреждением, которое декретирует, что в языке является правильным и что неправильным» (с. 62). Однако, чтобы не омертвить язык и обеспечить ему возможность дальнейшего развития и совершенствования, Таули допускает и необходимость обеспечения индивидуальной свободы речи.

Концепция Таули вызвала ряд возражений со стороны самих западных социалингвистов. Острой критике подверг ее Хауген, указавший, что строить теорию на основе единственного принципа — лингвистического рационализма — слишком нереалистично. Отожде-

ставляя язык с орудием, Таули отрывает от него лишь один аспект, причем далеко не важнейший. Когда о языке говорят как о средстве общения, то понимают при этом, что язык не является чем-то внешним по отношению к человеку, а выражает его личность. Главными недостатками теории В. Таули Хауген считает механический и рационалистический подход к языку, игнорирование тех динамических факторов, которые определяют форму и функции языка в реальной жизни. Не принял Хауген и тезис о «языковом идеале», хотя идею оценки языковых явлений признал заслуживающей внимания [Haugen 1969].

Б. Х. Йернудд и Дж. Дас Гупта обвинили Таули в утопизме и пренебрежении к компромиссу [Jernudd, Das Gupta 1971:198]. Даже Дж. Фишман, сам весьма склонный к чрезмерной категоричности суждений, отметил, что «прескриптивный и директивный» подход В. Таули к ЯП не учитывает того, как относится к тем или иным проблемам общество. Безапелляционные утверждения и возражения Таули Дж. Фишман называет оторванными от действительности [Fishman 1974b:20].

Советские исследователи социолингвистических проблем признают теорию В. Таули волюнтаристской и абстрактно-идеалистической, исходящей из чрезмерно упрощенного представления о языке как орудии. А. Д. Швейцер отметил, что в трудах Таули игнорируются такие чрезвычайно важные аспекты языка, как сложный характер его систем и их стабильность, различная проникаемость его уровней для внешнего воздействия, избыточность и «нелогичность» естественного языка и т. д. Не учитывая действия различных социальных факторов, Таули не может понять, что в преобладающем большинстве случаев именно они определяют, насколько те или иные мероприятия по регулированию языка являются необходимыми и осуществимыми [Швейцер, Никольский 1978:118]. К этому следует добавить, что в теории Таули содержатся те же недостатки, которые были свойственны предыдущим концепциям ЯП: элитарность, антидемократизм, замалчивание классово-партийной обусловленности языковой политики, непонимание подлинных взаимоотношений языковой политики и мероприятий ЯП и т. д.

Итак, хотя современные западные теории ЯП содержат некоторые положительные аспекты и могут быть в определенной степени полезны при разработке и осуществлении программ языкового развития, социально-политические предубеждения многих теоретиков этого типа весьма снижают общую ценность их трудов. Особенно ощутимо отсутствие научной объективности в рекомендациях западных деятелей по поводу ЯП развивающихся стран. Здесь западным авторам не удается преодолеть ощущение своего превосходства над афро-азиатскими народами и пренебрежительное отношение к языкам и культурам этих стран. Фактически все, к чему призывают они страны «третьего мира», сводится к принятию в качестве непревзойденного и совершенного образца языков прежних колониальных властителей.

П. Гарвин — один из немногих западных ученых, выразивший сомнение по поводу того, что ориентирование языков Азии и Африки на западноевропейские и американские стандарты является оправданным. «Обсуждающиеся здесь вопросы,— пишет он,— во многих отношениях исходят из теории стандартизации языка, основанной на европейском опыте. Однако он не обязательно подходит для всех частей света и для всех времен. В литературе о языковом планировании часто утверждается, что языковые коллективы всего мира стремятся к «модернизации», которая на деле означает какую-то из форм аккультурации к европейским моделям. Это вовсе нельзя считать чем-то само собой разумеющимся» [Garvin 1974:77]. К сожалению, такие здравые высказывания встречаются крайне редко.

Западные социолингвисты типа Дж. Филмава слишком часто прибегают к антисоветской пропаганде, то намекая на какую-то «тоталитарность» советских программ языкового строительства и культуры речи, то ссылаясь на нашу страну как на пример «идеологического давления» на программы ЯП, то приписывая советской языковой политике стремление к... уничтожению всех национальных языков мира и замене их русским, то ставя внак равенства между национальной политикой СССР и политикой угнетения национальных меньшинств в капиталистических странах. Попытки грубой фальсификации процессов регулирования языка в социалистических государствах или, в крайнем случае, замалчивание советского опыта, стремление принизить значение ленинской языковой политики СССР, исказить сущность процессов взаимного обогащения языков советских народов сплошь и рядом встречаются на страницах трудов западных социолингвистов, кичащихся «научпой объективностью».

Однако нет сомнения в том, что прогрессивные деятели и теоретики ЯП различных стран сумеют правильно оценить эти наукообразные наслоения. Изучив опыт стран социализма и СССР в области языковой политики, а также отобрав рациональное в западной теоретической литературе по ЯП, они смогут создать научно обоснованные, демократические и перспективные программы языкового развития своих народов. Советские лингвисты, глубоко изучающие на основе марксистского понимания связи языка в общества, языковые ситуации и процессы в развивающихся странах, относятся критически к теориям «языкового планирования», отрицая их антидемократичность, элитарность, мнимый аполитизм, выдвигая в качестве эталона европейского и американского типов языкового развития и т. д., но учитывают в то же время такие авторские моменты этих теорий, как роль и методы оценок языкового изменения, разработка типологии субъектов воздействия на развитие языка, сотрудничество с социологией в разработке языковых программ и т. д.

ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ ЯЗЫКОВОЙ ВАРИАНТНОСТИ

Возрождение интереса к социалингвистической проблематике вообще и в частности к вопросам языкового варьирования, наступившее за рубежом в 50—60-е годы нашего века, связано в первую очередь с критикой постулатов дескриптивизма и структурализма о языке как монолитной гомогенной структуре, якобы не подверженной влиянию внешних факторов. Характерные для упомянутых течений недооценка теоретического значения исследований речевой деятельности, ориентация лингвистического анализа на «идеального говорящего — слушающего», игнорирование социальной дифференциации языка делали невозможным решение таких важных теоретических и практических задач лингвистики, как соотношение различных типов речи в пределах распространения одного национального языка, взаимодействие языков при дву- и многоязычии, сосуществование двух разновидностей языка в условиях диглоссии и связанные с ней особенности речевого поведения, национально-региональная вариативность диалектных языков, обслуживающих несколько разных сообществ, и т. д.

Признание вариативности в качестве органического свойства языковых систем позволило зарубежным социалингвистам (в частности, США) в отличие от дескриптивистов снять ограничения с лингвистических разысканий и приступить к изучению проблем территориальной и социально-функциональной дифференциации языка, естественно решаемых с разных и зачастую противоположных методологических позиций. В то же время необходимость осмысления новых явлений в языке диктовалась теми изменениями социально-исторических условий языкового развития, которые произошли во второй половине XX в.

Выход на мировую арену нескольких десятков молодых независимых государств, использующих в качестве средств общения как национальные, так и бывшие колониальные языки, сделал актуальными проблемы языкового и культурного строительства в этих странах. Распределение функций ряда западноевропейских языков (английского, французского, испанского, португальского и т. д.) по обслуживанию разных национальных сообществ в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, способность этих языков удовлетворять коммуникативные потребности в рамках гетерогенных культур, не смешивая их, обусловили необходимость тщательного изучения специфических форм выражения, соответствующих реально функционирующим вариантам конкретных языков. Именно поэтому современное языковедение характеризуется столь повышенным вниманием к проблеме внешней вариативности языка в территориальном и социальном пространстве, лежащей в основе формирования его отдельных территориальных (национальных) разновидностей (варпантов).

Разработка проблем языковой вариативности в марксистском языковедении, прежде всего в трудах советских ученых, позволила

всесторонне обосновать важнейшее теоретическое положение о том, «что в регулировании процесса создания вариантов, в закреплении или упразднении вариантных форм, в использовании или неиспользовании их в коммуникативных целях главную и решающую роль играет фактор социальный» [Степанов 1979:3—4]. По справедливому замечанию ученых из ГДР Р. Гроссе и А. Нойберга, социолингвистика занимается не индивидуальными отклонениями от нормы литературного языка, а вариантами, которые обладают общественной релевантностью. Их изучение строится не на выявлении однократных языковых ошибок, неправильной артикуляции, грамматически неверных формулировок или своеобразного словоупотребления на уровне идиолекта (хотя сам по себе и он представляет интерес для лингвиста), а на анализе отличного от кодифицированной нормы языкового обычая целого коллектива говорящих [Гроссе, Нойберт 1976]. Изучение идиолектов, являющихся исходным уровнем стратификационной модели языка, с точки зрения социолингвистики может быть полезным лишь в той мере, в какой они отражают существенные черты языковых образований более высокого порядка — говоров, территориальных и социальных диалектов и т. д.

Указывая на социальную детерминированность языковой вариативности, марксистская социолингвистика тем не менее далека от установления прямого параллелизма между структурой языковой ситуации и структурой общества, что характерно для некоторых представителей американской и других западных школ (например, работы У. Брайта, Б. Бернштейна и др.). Социальные факторы, порождая многообразие форм существования языка в пределах одного и того же исторического периода на одной и той же или разных территориях, лишь опосредованно влияют на характер эволюции и соотношение отдельных разновидностей языка, причем это влияние осуществляется главным образом через объем выполняемых им общественных функций [Гухман, Семенюк 1969; Дешериев 1977]. Именно в вопросе о социальной детерминированности явления проходит линия раздела между диалектико-историко-материалистическим пониманием вариативности языка и разного рода идеалистическими теориями, подменяющими проблему каузального приоритета в соотношении «язык — общество» тезисом о так называемом совместном варьировании языковых и социокультурных систем.

Несмотря на проведенные в различных странах исследования вариантов конкретных языков, эту работу нельзя считать завершенной. Достаточно напомнить о весьма отличных точках зрения на понятие «вариант языка» и его соотношение с идиомом более низкого ранга — диалектом. Целый ряд представителей немарксистской социолингвистики продолжают описывать вариантные явления в терминах традиционной диалектологии. Далеко не все типы варьирования оказались достаточно хорошо изученными, что, естественно, отразилось как на полученных обобщениях, так и на состоянии терминологии, обычно применяемой при описании процессов территориальной и социально-функциональной дифференциации языка.

Так, если к числу сравнительно разработанных можно отнести проблемы вариативности национального (родного) языка, функционирующего в нескольких странах и являющегося в них государственным (например, английского языка в США и Канаде, французского в Бельгии, Швейцарии и Канаде, немецкого в Австрии и Швейцарии), то этого нельзя сказать о проблемах дифференциации неродного языка, имеющего, однако, официальный статус в целом ряде независимых государств (ср., например, положение английского, французского и других западноевропейских языков в развивающихся странах Азии и Африки). Между тем вопросы, связанные с использованием импортированного неродного языка, его местом в социально-коммуникативной системе многоязычного государства, равно как и проблема изменений в нем, остаются областью острой идеологической полемики и взаимоисключающих теорий. Центральным в этой полемике является вопрос о формах существования диатопного литературного языка в развивающихся странах [Чередниченко 1981].

Буржуазная социолингвистика до сих пор не выработала четких принципов классификации местных разновидностей языка и их дифференциальных признаков. Среди французских лингвистов, например, нет единого мнения в вопросе о том, что представляет собой французский язык в странах Африки и что следует принимать за его дифференцирующие признаки. В спорах, ведущихся на сей счет, иногда проявляются и крайние точки зрения. Согласно одной из них, французский язык в Африке превращается в некий «креольский французский», обслуживающий нефранцузское население африканских стран [Manessy 1978].

С другой стороны, во многих описаниях языковых ситуаций освободившихся стран развивается концепция так называемой диглоссии западноевропейских языков в этих странах (официальный язык, близкий к центральной разновидности, — разговорный язык «пиджин»), которая своим появлением обязана работам американских лингвистов Ч. Фергюсона и Дж. Фишмана. Однако упомянутая концепция явно страдает необъективностью, ибо игнорирует тот факт, что западноевропейский язык, употребляемый преимущественно в двух сферах — управления и образования, не является разговорным языком коренного населения бывших колоний. Эту функцию в каждой стране выполняет один или несколько национальных языков.

Употребляя понятие пиджина применительно к существующим разновидностям западных языков, представители разных национальных школ вольно или невольно смешивают явление пиджинизации с принципиально отличным от него явлением интерференции двух языков в условиях более или менее развитого двуязычия. Ведь хорошо известно, что пиджины возникали в колониальную эпоху и даже в период, предшествовавший ей, в результате непродолжительного контакта носителей европейских языков с автохтонами при отсутствии двуязычия с той и другой стороны. Пиджинизация представляла собой не процесс длительного взаимовлияния языков,

а, скорее, столкновение разнотипных языковых структур, при котором из «обломков» структуры чужого языка-источника носители автохтонных языков (субстратов) неосознанно создавали новый упрощенный язык ограниченного употребления [Дьячков 1975:48—52]. Пиджины служили своеобразными языками-посредниками при общении местного населения с белым меньшинством и характеризовались не только узостью функций, но и, как правило, однозначными ролевыми отношениями «хозяин — слуга». Эти черты предопределили судьбу пиджинов в странах, освободившихся от колониального гнета, в которых они были чаще всего обречены на отмирание в связи с тем, что необходимость в них отпала.

Выживание пиджинов вследствие креолизации, т. е. превращения их в родные языки определенного коллектива, наблюдается крайне редко и обычно в условиях относительной изоляции островного ареала. Креольские языки на базе английского и французского продолжают существовать, например, в некоторых бывших и нынешних заморских владениях Англии и Франции на Антильских островах и в Океании. Рост коммуникативных функций пиджинов, подвергшихся креолизации, сопровождался их расширением на всех языковых уровнях.

Однако ничего подобного не наблюдается в освободившихся странах Африки, в которых официальным языком является французский. Африканские разновидности французского языка не могут быть отнесены к образованиям креольского типа, ибо этот язык не является родным для подавляющего большинства населения. Речь идет именно об особенностях одного из европейских языков, развивающегося на африканской почве, — особенностях, которые, по выражению ректора Дакарского университета С. М. Си, «нужно было открывать тем, кто не желал их видеть» [Sy 1980, 8].

Нерешенность вопроса о социолингвистическом статусе западноевропейских языков в развивающихся странах неизбежно приводит к противоречивым оценкам их роли и места в социально-коммуникативных системах многоязычных государств. В отношении французского языка, например, высказываются самые разные предположения. Для характеристики разновидностей этого языка в Африке предлагается употреблять, в частности, термины-понятия «сабир» (или *lingua franca*), «псевдосабир», «пиджин», «креольский язык», «диалект» в американском толковании термина, «региональный язык» подобно *français régional* во Франции, «локальная форма» или «локальная разновидность национального языка» и т. п. [Calvet 1978]. Справедливости ради следует признать, что ни одно из предположений не выдвигается в категоричной форме, все они носят гипотетический характер и часто сопровождаются знаком вопроса.

В этой связи возникает необходимость более детально рассмотреть соотношение различных типов языкового варьирования с позиций марксистской социолингвистики, что позволит прийти к заключению о статусе разновидностей западноевропейских языков в развивающихся странах.

Одним из бесспорных достижений советской социалингвистической школы за последние 20 лет явилось создание теории национальных вариантов языка. Введение в научный обиход понятия «национальный вариант языка» значительно расширило представления о современных формах существования языка и способствовало более четкому разграничению этих форм в соответствии с занимаемым ими иерархическим положением в макросистеме (суперсистеме) общего языка. Речь идет прежде всего о дилемме диалект — вариант языка, которая смогла быть разрешена только на основе материалистической концепции языка.

Как известно, буржуазная социалингвистика, признавая множественность реализаций одного и того же языка, смешивала и продолжает смешивать эти понятия, приписывая национальным вариантам литературного языка статус диалекта, а разного рода территориальным и социальным разновидностям в пределах национальной нормы литературного языка — статус вариантов. Это характерно, например, для американской школы, которая склонна интерпретировать английский язык в США как национальный диалект английского, подразделяющийся на «под-диалекты» [Wrook 1972; Жлуктенко 1981а]. Понятно, что такое смешение двух понятий вытекает из неопределенности критериев, которые кладутся в основу их выделения, пренебрежения совокупностью социальных, функциональных и внутривидовых признаков, дифференцирующих их. То же можно сказать о зарубежной испано-американистике, которая до сих пор не располагает четкими критериями разграничения форм существования испанского языка на Пиренейском полуострове и в Латинской Америке, что объясняет весьма вольное употребление ряда терминов для их характеристики [Степанов 1963, 1976].

Аналогичное положение создалось в среде французских лингвистов, а также лингвистов других франкоязычных стран, не пришедших к единому мнению в вопросе о том, что представляют собой разновидности французского языка за пределами Франции [Le français 1970; Duponchel 1974].

Между тем совершенно очевидно, что разновидности общего языка, обслуживающие самостоятельные национальные коллективы в нескольких ареалах и обладающие всеми признаками обычного литературного языка, не могут рассматриваться с точки зрения традиционной диалектологии и квалифицироваться как диалекты. Очевидно и другое: указанные аллосистемы в силу различий их социального и функционального статусов и, следовательно, разного объема выполняемых общественных функций занимают различное иерархическое положение в макросистеме конкретного языка.

Марксистскому языкознанию свойственно понимание диалектов как таких языковых систем, которые имеют территориально и социально ограниченное употребление в пределах распространения общего языка нации и, как правило, не обладают собственной литературной нормой. Как убедительно доказали советские лингвисты, исследуя историю формирования таких национальных языков, как

русский, английский, немецкий, французский и т. д., совокупность территориальных диалектов и говоров характеризует языковое состояние эпохи феодализма, т. е. донациональной [Жирмунский 1965; Сергиевский 1947; Филин 1972; Ярцева 1969б]. Однако уже в тот период отмечались неравномерность в развитии исторических диалектов, выдвижение на первый план одних, прежде всего диалектов крупных городов — экономических и культурных центров страны, и постепенная утрата престижа другими диалектами, не связанными с такими центрами.

Применительно к истории русского общенародного языка Ф. П. Филин пишет: «С XVII—XVIII вв. койне Москвы становится образцовым и общерусским и утверждается в крупных городах. Речь городского населения постепенно выключается из общей системы территориальных диалектов. С ростом культуры переходят на литературный язык различные слои населения не только в крупных городах, но и повсеместно. Социальная база территориальных диалектов все более суживается. Носителем территориальных диалектов в основном становится крестьянство. Строго говоря, термин «территориальный диалект» применим только к диалектам донациональной эпохи. В процессе становления нации территориальные диалекты превращаются в диалекты территориально-социальные» [1962:27].

Вывод, сделанный Филиным в отношении русского языка, может быть общим для многих европейских языков, в которых с течением времени все более укреплялась тенденция к превращению территориальных диалектов в диалекты социальные. В качестве примера сошлемся на случай с лондонским «кокни», описанный В. Н. Ярцевой [1969а], который, являясь нелитературным наречием современного Лондона, вобрал в себя многие черты раннего лондонского диалекта, не вошедшие в литературный язык по причине оттеснения их конкурирующими формами иного диалектного происхождения.

Ограниченность сферы употребления диалектов и их нелитературность, выступающие основными социолингвистическими признаками этих подсистем, не дают оснований для отнесения к их категории территориальных разновидностей (вариантов) литературного языка, которые выполняют функции обычных литературных языков в разных странах. Последние, как оказалось, могут иметь собственное диалектное членение, т. е. сосуществовать с территориальными и социальными диалектами, распространенными в их пределах (например, положение английского языка в США, испанского в Америке и т. п.).

В отличие от диалектов варианты языка функционируют и развиваются в специфических социально-исторических условиях и отличных от первоначальной языковых ситуациях, обслуживают сферы устного и письменного общения и, следовательно, выполняют широкие внутринациональные функции литературного языка в рамках разных государственных общностей. Это обстоятельство позволяет считать варианты языка подсистемами более высокого ранга

по сравнению с диалектами. Оно же привело к заключению, что национально негомогенный стандартный язык существует в принципе лишь как абстракция и практически и в письменной, и в устной форме реализуется в виде вариантов [Брозович 1967:19].

Употребление в сфере письменного общения предполагает для вариантов наличие собственной литературной нормы, присущей данной общности. Эту норму принято называть аксиологической, чем подчеркивается коллективно-субъективный или оценочный аспект в плане выбора тех или иных нормативных решений, закрепляющихся в определенном варианте литературного языка. Г. В. Степанов справедливо указывает, что в конкретном историческом языке любой лингвистический факт, понимаемый как осуществленный выбор, может рассматриваться в двух аспектах: 1) с точки зрения объективных возможностей различной реализации языковых средств (объективный аспект нормы = объективная норма); 2) в плане оценки произведенного выбора или оценки соревнующихся нормативных решений с точки зрения правильности/неправильности, образцовости/необразцовости (оценочный, субъективный аспект нормы = аксиологическая норма) [1979:58].

Недооценка аксиологической нормы приводит исследователя к игнорированию внешних условий возникновения вариативности (географических и национальных различий, социальной стратификации и т. д.) и в конечном итоге к построению схемы абстрактного языка с одной нормой. Подобная ограниченность характерна для работ такого видного представителя зарубежной лингвистики, как Э. Косериу, внесшего немалый вклад в разработку понятий языковой системы и нормы [1963].

Совокупность дифференциальных признаков разных уровней свойственна обоим видам языковых подсистем — диалектной и вариантной. Однако главное различие между ними в этом плане состоит в том, что вследствие регулирующего действия аксиологической нормы эти признаки постепенно приобретают в вариантах статус литературных форм, чему в большой мере способствуют некоторые экстралингвистические факторы, прежде всего осознание национальной общностью своей самостоятельности. Этого не происходит в диалектах.

Для обозначения территориальных разновидностей языка, характеризующихся четко осознаваемым престижем национального средства общения и обладающих всеми связанными с этой ролью общественными функциями, в советской социолингвистике принят термин «национальный вариант языка» [Степанов 1963; Домашнев 1967; Швейцер 1971; Жлуктенко 1981а].

Сложность функциональной системы языкового варианта определяется, в частности, наличием в его структуре двух локальных форм литературного языка — разговорно-литературной и письменнo-литературной. Процессы дифференциации, проходящие в устной общо-литературной речи, часто оказываются не менее, а более важными с точки зрения образования конкретного варианта, в то время как письменная речь может длительное время сохранять

ориентацию на устаревшие нормы, обусловленные историческим развитием языка.

Определенный разрыв между нормами устной и письменной речи, иными словами, между естественными и кодифицированными нормами, отставание вторых от первых наблюдаются в пределах любого национального языка. В этом смысле можно говорить об известном консерватизме кодифицированных литературных норм языка. Он может быть более или менее выражен в зависимости от различного проявления субъективных факторов.

Разрыв между естественными и кодифицированными нормами особенно заметен в условиях территориальной вариативности полинационального (диатопного) литературного языка, когда устная речь маргинального ареала, включая разговорно-литературную форму, все более отходит от центральноязыкового литературного стандарта, а письменная речь в силу сохраняющихся ценностных ориентаций продолжает поддерживать его престиж. Такое положение наблюдается, например, в странах испанской речи, где авторитет литературной нормы Испании и нормализующее влияние Испанской академии в области литературного употребления языка весьма велики.

В некоторых бывших английских и французских колониях Африки ориентация на языковые стандарты метрополии в письменном общении продолжает сохраняться под воздействием официальной языковой политики, провозгласившей эти языки единственными государственными языками своих стран. Поэтому количество дифференциальных признаков в письменной форме литературного языка здесь довольно незначительно, а обиходно-разговорная речь той части населения, которая употребляет европейские языки, напротив, существенно окрашена местными особенностями.

Незначительные отличия письменного языка бывшей колонии от метропольной литературной нормы побуждают зарубежных исследователей отказаться от признания за территориальными разновидностями бывшего колониального языка качества автономных вариантных подсистем (Viatte 1969; Wald, Chesny, Hily, Poutigat 1973). Эта точка зрения разделяется некоторыми советскими лингвистами. Она подкрепляется указаниями на весьма гетерогенный и неустойчивый характер отличительных черт бывших колониальных языков в развивающихся странах.

Разумеется, само количество дифференциальных признаков в литературном языке не может служить основанием для отнесения или неотнесения того или иного языкового образования к категории вариантов, тем более, что этот показатель в приведенном случае отражает искусственность положения, в большой степени вызванного причинами субъективного порядка. В связи с аналогичной ситуацией в испаноязычном ареале Г. В. Степанов вполне резонно замечает, что «в условиях складывающихся латиноамериканских наций и государств локальные различия, сколь бы малыми они ни были, приобретали национальный характер и только вследствие

субъективных причин могли низводиться до «диалектных» или «провинциальных» [1979:135].

Что касается неустойчивости вариантных форм, то, очевидно, она отражает необходимую стадию формирования литературной нормы вообще, ибо история образования национальных языков свидетельствует о том, что «на первых этапах сложения национального языка и его литературной формы последняя обнаруживает значительные колебания и может иметь на всех уровнях языковой структуры большое количество безразлично чередующихся вариантов, которые можно было бы назвать дублетами» [Ярцева 1969а:27]. В этой связи можно предвидеть возражение в том плане, что языковая ситуация в эпоху образования национальных языков существенно отличалась от той, в которой формируются современные территориальные варианты языка, обслуживающие несколько наций. Бесспорно, исторические отличия здесь налицо. Однако исследования вариантов конкретных языков показывают, что процесс их становления имеет много общих закономерностей с предшествовавшим ему процессом образования национального языка и что в своем развитии они повторяют (хотя и на ином качественном уровне) путь, пройденный национальным языком на его родине.

Эта общность проявляется, например, в характере взаимодействия форм устной и письменной речи, в демократизации литературного языка и его норм. Различие заключается в том, что формирование литературной нормы в эпоху образования национального языка происходило в условиях конкуренции различных диалектных форм, что вызывало ее неустойчивость, теперь же, в условиях территориальной вариативности одного общего языка, в большей степени конкурируют различные по происхождению маргинальные и центральные языковые формы, чем обуславливается неустойчивость вариантных норм в литературной речи маргинального ареала.

Коллективный характер изменений во французском, английском или любом другом западноевропейском языке, функционирующем в развивающихся странах, даже если эти изменения проявляются больше в устной, чем в письменной речи (что вполне естественно в силу действия субъективных факторов), и недостаточно кодифицированы на нынешней стадии развития языка в его местной литературной норме, является серьезным аргументом в пользу того, чтобы считать разновидности этих языков их вариантами. Думается, что предлагавшееся определение этих подсистем как локальных разновидностей языка, диалектных по природе (ср. англ. *local variety*, фр. *variété locale*), не точно и не отвечает сущности явления. В таком определении снимается основное различие между указанными подсистемами и обычными диалектами, ибо последние также являются локальными разновидностями языка, — различие, вытекающее прежде всего из полноты выполняемых ими общественных функций. В нем не учитывается сумма социальных, исторических, географических и культурных факторов, влияющих на функционирование двух типов образований.

Использование разновидностей бывших колониальных языков в независимых странах с разными культурой и социальным укладом жизни в качестве важных средств внутринационального и международного общения в устной и письменной сферах и обусловленные им сравнительно развитые общественные функции исключают возможность приравнивания этих подсистем к диалектам, как правило, не выполняющим такие функции и обслуживающим социально ограниченную общность людей только в определенной сфере устного общения. Объем выполняемых общественных функций как определяющий критерий в сочетании со структурным позволяет четко разграничить варианты и диалектные подсистемы языка и отнести к первому типу те формы полинациональных (диатопных) литературных языков, которые существуют в развивающихся странах Азии и Африки.

Иное дело, что общественные функции неродного языка, развивающегося в специфической ситуации дву- и многоязычия, не могут быть всеобъемлющими, однако они не могут быть таковыми и у родного языка, если он функционирует в условиях двуязычия (например, положение французского языка в Канаде, который определяется как национальный вариант языка).

Вследствие ряда функциональных различных варианты народного языка нельзя отождествлять с национальными вариантами родного, которые обслуживают отдельные государственные общности (например, статус английского языка в США, испанского в странах Латинской Америки, португальского в Бразилии и т. п.). Хотя оба типа подсистем имеют общие признаки, такое разграничение необходимо и в основе его, естественно, лежит противопоставление «родной — неродной язык». На важность учета этого момента указывает и В. Н. Ярцева, подчеркивая, что необходимо строго отличать английский язык как первый, родной язык населения от английского языка (даже как второго государственного языка) тех языковых групп, для которых он не является родным [1969б:250].

Положение неродного языка, свойственное официальным языкам бывших колоний, сказывается прежде всего на объеме выполняемых ими общественных функций, особенно в устном общении. Как уже отмечалось, эти языки не могут претендовать на роль народно-разговорных языков подавляющего большинства коренного населения, поскольку практически не употребляются в семейно-бытовой и религиозной сферах, за которыми закреплены соответствующие национальные языки.

Западноевропейский язык, точнее, его вариант, в конкретной развивающейся стране составляет лишь часть социально-коммуникативной системы, которая обеспечивает потребности общения внутри страны только благодаря включению в нее национальных языков. Ограниченность набора общественных функций, отличающая вариант неродного языка, выступает одним из основных критериев его выделения в ряду языковых вариантов. Если национальный вариант языка, как правило, обладает всей полнотой общественных функций, присущих национальному литературному языку (исключи-

Признаки и типы варьирования полинационального (диатопного) литературного языка

Тип варьирования	Признак												
	Структурные отличия	Членение			Функция								Наличие собственной лит. нормы
		Территориальное	Социальное	Функциональное	Народно-разговорн. язык	Устная форма лит. языка	Язык общ.-полит. жизни	Язык науки и техники	Язык культуры и искусства	Язык междунац. общения	Язык междунац. общения		
1. Диалект	+	+	-	-	+	-	-	-	±	-	-	-	
2. Национальный вариант языка	+	±	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3. Территориальный вариант неродного языка	+	-	+	+	-	+	±	±	±	±	±	±	
4. Региональный вариант	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	

чение составляют, пожалуй, случаи государственного двуязычия), и в силу этого обеспечивает всю сеть внутринациональных коммуникаций, то вариант неродного, пусть даже и официального, языка реализует лишь часть функций языка в обществе и не покрывает всего объема коммуникативных связей.

Таким образом, смысл, вкладываемый в понятие национального варианта языка, не позволяет распространить его на варианты подсистемы неродного языка. Последние нуждаются в более точном обозначении. На основе территориального и социально-функционального признаков предлагается именовать указанные подсистемы *территориальными вариантами неродного (вторичного) литературного языка с ограниченным набором общественных функций*. Такое определение зиждется на понятиях языков полных и неполных функций, успешно применяемых в марксистской социолингвистике для анализа ситуаций национального дву- и многоязычия. Так как вторая часть предложенного определения, в которой говорится об ограниченности общественных функций, важна лишь с точки зрения противопоставления двух типов вариантов, а внутри своего типа не имеет дифференцирующего значения, она может быть опущена в целях устранения громоздкости термина.

Следует отметить, что сам по себе термин «территориальный вариант языка» не является новым в советской социолингвистике и ранее применялся либо в качестве синонима при обозначении национальных вариантов языка, либо для определения подсистем языка, функционирующих в пределах неотдельной административной единицы [Бородина 1967; Гак 1976:32]. Однако в первом значении этот термин не получил распространения в связи с тем, что в теории вариативности прочно укоренилось понятие национального варианта языка. Что же касается характеристики вариантных подсистем неродного языка, то в этом контексте термин употреблен нами впервые.

Для более детального сопоставления типов варьирования языка и их признаков обратимся к таблице. В методических целях в нее включены только коллективные типы речи и не включен уровень идиолекта, являющийся исходным в шкале вариативности языка.

В таблице знаком + показано наличие признака, ± — альтернативность признака, — его отсутствие.

В качестве основы сопоставления отобрано 4 вида внутренних и внешних признаков, позволяющих судить о наличии внутривидовых особенностей (1), их закреплённости или незакреплённости в норме (4), а также о внешней структуре (2) и функциях (3) различных типов варьирования языковой системы. Наибольшим числом признаков обладают подсистемы второго и третьего типов, наименьшим — первого и четвертого. При этом первый признак сам по себе не является релевантным в дифференциации всех четырех типов, приведенных в таблице, поскольку им обладают все соответствующие подсистемы. Он приобретает свое значение лишь в сочетании с другими дифференцирующими признаками, среди которых решающую роль играет наличие или отсутствие развитой функциональной системы. Этот критерий сразу же выделяет диалект как форму языка, не имеющую такой системы вследствие узости общественных функций: кроме народно-разговорной речи, диалект иногда употребляется в сфере культуры, прежде всего как инструмент народного творчества (например, использование в этих целях диалектов арабского языка в различных странах).

Диалекту, как видно из таблицы, противопоставит национальный вариант языка, характеризующийся сложной структурой и развитой функциональной системой, что дает возможность удовлетворять коммуникативные потребности в различных сферах жизни общества. Результатом такого развития явилась выработка собственной литературной нормы (которой лишен диалект), зафиксировавшей как функциональные, так и внутривидовые различия варианта. Подвергаясь социальному и функциональному членению, национальный вариант литературного языка не всегда подвергается территориальному членению, т. е. присутствие в его внешней структуре территориальных диалектов и говоров необязательно. Об этом свидетельствуют, в частности, исследования вариантов английского языка в Австралии и Новой Зеландии.

Сравнимой величиной по отношению к национальному варианту литературного языка выступает территориальный вариант неродного

языка, хотя их и разделяет ряд признаков. Во-первых, подсистемы третьего типа, не будучи национальными народно-разговорными языками, распространены лишь на части территории, занимаемой социумом, преимущественно в крупных городах, и практически не подвергаются территориальному членению. Во-вторых, их функции внутри самостоятельного социума ограничены ввиду конкуренции со стороны национальных языков, причем по мере развития и стабилизации этих языков, пополнения их новой терминологией она постепенно усиливается. Так, если со времен колонизации стран Африки французский язык был единственным средством общения в сферах общественно-политической жизни, науки, техники, культуры и искусства, то теперь положение изменилось и наряду с неродным языком часто используются национальные (арабский в странах Северной Африки, малагасийский на Мадагаскаре, частично языки хауса, волоф, бамбара, малинке, эве в странах Западной Африки, лингала и киконго в Заире и Конго, санго в ЦАР, руанда в Руанде и т. п.). Многие из названных языков, являясь языками крупных этнических групп в нескольких соседних странах, могут дополнять официальный (неродной) язык в межнациональном и международном общении.

Количество дифференциальных признаков, отражающих коллективный укус, в разных формах варианта неродного языка обнаруживает значительные колебания подобно тому, как это имеет место и в национальном варианте. Однако отсутствие низшего диалектного уровня предполагает, что средоточием максимума дифференциальных признаков становится разговорная форма литературного языка, тогда как письменная форма может иметь минимум таких признаков. Правда, это соотношение в разных языковых ситуациях может меняться, что связано с влиянием социолингвистических факторов, в частности с языковой политикой.

Демократизация неродного языка, направленная на его приспособление к коммуникативным потребностям новых сообществ, и связанная с ней переориентация коммуникации с говорящего на слушающего [Никольский 1975:108] приводят к постепенной выработке местной литературной нормы этого языка, которая на первом этапе становления проявляет известную неустойчивость.

Линия развития неродного литературного языка в странах Азии и Африки имеет точки сопряжения с линией развития родных литературных языков в странах Востока (арабского, персидского, турецкого и т. д.), прошедших через существенные изменения в условиях независимого существования наций и общей демократизации общественной жизни после второй мировой войны. Выдвинутое в отношении последних предположение о том, что в них происходит не просто процесс изменения сложившихся в литературных языках по преимуществу письменных норм, а становление новой разговорной формы литературного языка, вызванной к жизни новыми социальными потребностями [Никольский 1975:108], можно отнести к западноевропейским языкам, в которых при функционировании в ненациональной среде развивающихся стран формируется особый

разговорный стиль литературного языка, весьма отличный от того, который входит в языковую норму бывшей метрополии.

Функциональная система варианта неродного языка значительно более развита, чем у диалекта, но менее развита, чем у национального варианта литературного языка. Его социальное членение, не совпадающее с аналогичным членением национального варианта, связано прежде всего с тем, что в пределах разговорной формы литературного языка речь различных социальных групп может иметь особенности, иногда выделяющие ее в своего рода социальный диалект (социолект).

По свидетельству африканских лингвистов С. Фаика и К. Фаик-Нзужи Мадии, пример существования такого социолекта дает состояние французского языка в Запре. Речь идет о французском говоре незначительной части запрского населения, а именно богатой городской буржуазии, отличающейся сравнительно высоким образовательным цензом (полное среднее и высшее образование). Исследователи обнаружили в нем целый ряд фонетических, морфологических и лексических особенностей, причем корпус последних составил около тысячи единиц. Характерно, что наибольшие отличия в словаре, вызванные неологией, переосмыслением исконных единиц, употреблением бельгийцизмов, а также прямыми заимствованиями из местных и английского языков, которые отграничивают этот социолект от других местных форм французского языка, например от речи интеллектуальной элиты и студенчества, группируются вокруг трех основных архтем: «деньги» (42,6% всех отличий), «половые отношения» (36,4%), «анархия» (18,3%) [Faïk, Faïk-Nzuji Madia 1979].

Сознательное распространение неродного языка по мере ликвидации неграмотности и приобщения к нему народных масс может привести к изменениям в его социальной, а значит, и функциональной стратификации. Рост крупных городов, являющихся основными центрами неродного языка, за счет миграции в них сельского населения создает предпосылки образования окказионально употребляемых городских полудиалектов (городского просторечия), специфической основой которых служит постоянное смешение кодов [ср.: Blondé 1979:78].

Особо следует остановиться на характеристике вариантных подсистем четвертого типа — региональных вариантов языка. Заметим, что наше толкование этого понятия расходится с тем, которое можно встретить в литературе. Обычно термином «региональный вариант языка» обозначают подсистемы, которые возникли в одном языке, распространенном на большой территории и в пределах одного коммуникативного сообщества (социума), под воздействием процессов языковой дифференциации, вызванных неизбежным районированием жизненного уклада [Жлуктенко 1981а:11]. Отсюда следует, что национальный язык или национальный вариант языка, обслуживающий крупный национально-языковой коллектив в границах одного государства, может на областном уровне подразделяться на региональные варианты языка. Однако, как отмечает

Ю. А. Жлуктенко, эти региональные варианты ни в лингвистическом, ни в социально-функциональном отношении не достигают той четкой выделенности, которая характерна для национальных вариантов языка. Очевидно, что при такой устоявшейся трактовке остается неясным, каковы различия между региональным вариантом языка и диалектом.

Наше толкование понятия «региональный вариант языка» сводится к тому, что под ним следует понимать некую вариантную подсистему, образовавшуюся на сравнительно большой территории нескольких социумов в результате сложения двух или нескольких национальных (территориальных) вариантов языка, обладающих определенной суммой общих дифференциальных признаков (регионализма). Следовательно, если в прежнем толковании речь шла о региональном варианте в пределах одного сообщества и одной страны, то в нашем определении региональный вариант языка предстает как более крупная языковая разновидность, охватывающая группу географически близких стран, в каждой из которых функционирует свой национальный или территориальный вариант языка.

Можно утверждать, например, что французский язык в странах Северной Африки (Алжир, Тунис, Марокко и Мавритания) представляет собой некое единство и имеет множество общих черт, обусловленных, в частности, сходством языковых ситуаций в этих странах, взаимодействием с одним и тем же национальным языком — арабским, а также общностью исторических судеб и природной среды. Все это позволяет говорить о существовании общего регионального варианта французского языка, объединяющего эти страны и получающего в каждой из них конкретное выражение в виде частных подсистем или территориальных вариантов. На основе тех же принципов следует отнести к числу региональных вариантов разновидности английского языка в США и Канаде, Австралии и Новой Зеландии, французского языка в Западной Африке и т. д.

Основным критерием выделения регионального варианта языка является лингвистический, или структурный, — наличие на разных уровнях языка ряда дифференциальных признаков регионального распространения. Возникает вопрос: что следует считать регионализмом, а что локализмом в пределах данной подсистемы? Сам факт употребления какой-либо вариантной формы в нескольких территориальных разновидностях языка еще не подтверждает наличия регионализма. Очень важно здесь знать, как и где эта форма употребляется, т. е. каково ее место в функциональной системе языка. Сопоставление различных контекстов должно привести не только к выявлению сходства и различий в области семантики и дистрибуции региональной формы, но и к определению уровней ее функционирования в каждой из подсистем. Только при совпадении всех трех параметров конкретная вариантная форма может рассматриваться как регионализм. При несовпадении хотя бы одного из них регионализм переходит в категорию локализов.

Являясь результатом взаимодействия нескольких национальных (территориальных) вариантов языка, региональный вариант отли-

чается от них гораздо меньшей конкретностью и в принципе отдельно существует как абстракция, ибо неотделим от входящих в него подсистем, каждая из которых есть основа для его материализации. Из всех признаков, которые характеризуют варианты языка, региональному варианту свойственны территориальное членение и совокупность различительных элементов регионального употребления, что позволяет ему служить весьма своеобразным средством межнационального и международного общения.

Региональный вариант языка не обладает и не может обладать собственной литературной нормой. В его пределах возможно доминирование той или иной национальной вариантной нормы, признаваемой носителями других подсистем более престижной под влиянием комплекса социолингвистических и экстралингвистических причин (большая численность социума, которому принадлежит эта норма, его превосходство в сфере экономики и культуры и т. д.). Так, в североамериканском регионе, по всей видимости, доминирует американская норма английского языка (иногда даже говорят об американской языковой экспансии), что подтверждается наличием значительного слоя единиц американского происхождения в канадском национальном варианте английского языка [Попова 1978; Жлуктенко, Быховец 1981]. То же можно сказать и о новозеландском варианте английского языка, который, являясь составной частью регионального варианта Австралии и Новой Зеландии, испытывает заметное влияние австралийской нормы в фонетике и лексике [Вовк 1981].

Выдвижение того или иного варианта в ряду территориальных разновидностей языка одного региона, большая степень его дифференциации по отношению к существующему центральноязыковому стандарту часто связаны с глубокими отличиями социальной среды, в которой этот вариант языка функционирует. Коренные преобразования в социально-экономической жизни конкретной страны региона, неизбежно отражаясь на состоянии языка, способствуют усилению процессов языковой дифференциации и все большему распространению дифференциальных признаков в местной форме литературного языка. Напротив, общность социально-экономического уклада препятствует слишком выраженной местной дифференциации языка.

Эта важная закономерность эволюции языковых вариантов прослеживается на примере нескольких регионов. В Европе она характеризует развитие современного немецкого языка в послевоенный период, когда в нем в результате образования двух германских государств с противоположным общественным строем сложилась немецкая литературная норма ГДР с присущими ей, прежде всего на лексико-семантическом уровне, резкими отличиями как в отношении западнонемецкой, так и в отношении австрийской и швейцарской норм [Домашнев 1981а, б; Домашнев, Помазан 1981; Бублик 1981].

В Африке примером подобной дифференциации может служить североафриканский ареал французского языка, в котором особо

выделяется алжирская литературная норма как норма страны, решительно вставшей на путь социально-экономических преобразований в интересах широких народных масс.

Подводя итоги рассмотрения различных типов коллективной речи, приведем шкалу вариативности полинационального (диатопного) литературного языка, которая выглядит следующим образом: идиолект — диалект — территориальный вариант языка — национальный вариант языка — региональный вариант языка. Эта шкала разнится с той, которая применяется для вычленения типов варьирования однонационального или национально-гомогенного (синтопного) языка: ср. идиолект — диалект — городской полудиалект — литературный язык (письменная и устная формы). Как следует из всего предшествующего анализа, шкала вариативности однонационального языка может быть использована для разложения внешней структуры вариантных подсистем полинационального языка.

В приведенной выше иерархической шкале форм существования диатопного языка отсутствует понятие «национальный язык», что вполне закономерно, если исходить из понимания этого функционального типа языка как некоего единства генетически первичных и вторичных вариантов, образующих в синхронном плане его макросистему, или «архисистему» (по терминологии Э. Косериу). Об этом же пишет Г. В. Степанов, подчеркивая, что в формуле «язык — вариант» термин «язык» обозначает некую совокупность частных вариантных подсистем, т. е. лингвистическую ситуацию, при которой единый литературный язык является скорее тенденцией или идеальным заданием, чем реальностью [Степанов 1979: 133].

В реальной картине функционирования диатопного языка его применение в качестве национального (официального) средства общения конкретной общностью (первичной или вторичной) должно связываться с существованием варианта данного языка. В этом смысле разновидности французского языка во Франции, английского в Великобритании, испанского в Испании, португальского в Португалии и т. д. следует считать первичными по происхождению национальными вариантами этих языков.

Используя традиционный лингвогеографический подход к определению пространства, в котором существует язык, можно условно выделить в пределах его макросистемы центральный и маргинальный (маргинальные) ареалы, где функционируют соответственно первичный по происхождению центральный вариант языка (центральноязыковая норма) и вторичные по происхождению маргинальные варианты. Обладая относительной самостоятельностью, языковые варианты постоянно взаимодействуют друг с другом, причем особенно ярко это проявляется в соотношении центральной и маргинальной языковых норм.

Межвариантное взаимодействие может стать и часто служит причиной распространения какого-либо локально-маркированного явления из маргинального ареала в центральный и далее во все остальные части языковой макросистемы. По мнению некоторых лингвистов

тов, заимствование маргинальной вариантной формы и ее закрепление в центральнойязыковой норме снимают проблему вариативности и превращают локализм в так называемый псевдолокализм. Между тем хорошо известно, что наличие признака еще не означает тождества его проявлений в различных подсистемах языка.

Инвентарный подход к сравнительному изучению вариантов языка, базирующийся на выдвинутой Ч. Хоккетом идее «общего ядра», под которым понимается «совокупность тождественных элементов двух микросистем» [см.: Швейцер 1971:21], отнюдь не разрушает противоречия между наличием «тождественных элементов» и их нетождественной реализацией в разных подсистемах. Подвергая критике планиметрическую модель накладывающихся кругов Хоккета, предложенную им для анализа ряда идиолектов, и оспаривая ее применимость к описанию вариантов литературного языка, Э. А. Макаев правильно указывает, что черты различия структурных элементов в двух сопоставляемых вариантах определенного литературного языка имеют не меньшее конструктивное значение, чем черты сходства или общности, на основе чего строится понятие общего ядра [1969:77].

Процедура описания вариантов языка при помощи общего ядра весьма далека от учета особенностей социально-функциональной стратификации частных подсистем структурно единого языка и исключает из рассмотрения все многообразие реализаций сопоставляемых единиц в двух или нескольких вариантах. Возвращаясь к упомянутому понятию псевдолокализма, заметим, что очень часто им оперируют тогда, когда не соблюдается правило функционального тождества сравниваемых конститутивных единиц, иными словами, правило одинаковых уровней (стратов) или анализе реализаций тех или иных общих элементов. В противном случае при соблюдении этого правила общие элементы обнаруживают весьма существенные различия, занимая разные места в функционально-стилевых системах отдельных вариантов языка, часто обладая иной валентностью и дистрибуцией, т. е. выступают как локально-маркированные элементы (локализмы).

Территориальное в арьюирование языковой системы, обусловленное конкретными социально-историческими условиями функционирования полинационального (диатопного) литературного языка, все же не является единственной тенденцией ее развития. В диалектическом единстве с ней проявляется и другая, не менее важная тенденция к интеграции всех форм существования языка, что связано со стремлением любого литературного языка к нормализации, выработке некоей идеальной нормы. Эта вторая тенденция, внешне поддерживаемая всем ходом НТР, в частности распространением средств массовой информации, препятствует возникновению бесконечного числа вариантов, способствует нивелированию различий между национальными и территориальными вариантами структурно единого языка, по в силу расхождений в материальной и духовной культуре социумов, использующих этот язык, никогда не приводит к их полному устранению. Вот почему утверждения некоторых социолингвистов Запада

(Г. Каню, А. Ланли и др.) о так называемом вырождении или деградации западноевропейских языков особенно в многоязычных ареалах развивающихся стран Азии и Африки лишены серьезных оснований. В единстве и борьбе двух противоположных тенденций, являющихся разными сторонами одного процесса, заключен источник развития и совершенствования постоянно изменяющейся системы полинационального (диатопного) языка.

Вариантность как показатель развития системы национально неомогенного языка тесно связана с двумя главными функциями, которые выполняет любой естественный язык в обществе, являясь прежде всего «непосредственной действительностью мысли» [Маркс, Энгельс, т. 3:448] и «важнейшим средством человеческого общения» [Ленин, т. 25:258]. Неодинаковые коммуникативные потребности социумов, вытекающие из объективных условий их бытия, вызывают неравномерность эволюции литературного языка в разных ареалах его распространения, способствуют изменению его содержательной стороны. Изменившееся содержание вступает в противоречие с ранее принятой языковой формой, что влечёт за собой смену формы. Диалектическое разрешение основного противоречия в развитии диатопного литературного языка — противоречия между формой и содержанием — становится возможным благодаря действию внутренних и внешних факторов.

Как отметил В. А. Аврорин, структурное развитие языка вызывается и регулируется двоякого рода стимулами: а) внутренними законами, порождаемыми потребностями упорядочения структуры языка, и б) различными внеязыковыми, точнее — внеструктурными факторами социального характера. Если первые из них действуют на структуру языка непосредственно и целиком в ней локализируются, то действие вторых осуществляется через посредство функциональной стороны языка, которая выступает в роли регулярного посредника между внешней средой и структурой языка. Нередко наблюдаются случаи взаимодействия внешних и внутренних факторов, когда импульсом изменения служит какое-то внеязыковое событие, а благоприятная почва для изменения оказывается подготовленной эволюцией внутри структуры языка [Аврорин 1975:18—19, 25—26].

В целом становление национальных и территориальных вариантов диатопного литературного языка представляется как противоречивый процесс перехода от исходной разновидности к отрицающим ее новым формам существования языка, сочетающим в своей структуре общее и особенное для удовлетворения потребностей общения разных коллективов.

ПРОБЛЕМАТИКА СТРУКТУРЫ ЯЗЫКА И МЕТОДОВ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ

ТРАКТОВКА СВЯЗИ МЕЖДУ ЗНАЧЕНИЕМ И ЗВУКОВЫМ ВЫРАЖЕНИЕМ

К началу 70-х годов американские лингвистические исследования, ориентированные на изучение плана выражения языка, в том числе ставшая уже достаточно известной генеративная лингвистика, не дали обещанных результатов. Исследователи данных направлений начали убеждаться в том, что избранный ими курс на изучение плана выражения языка в отрыве от плана содержания при решении кардинальных вопросов современного теоретического и прикладного языкознания «не только не адекватен, но и принципиально не верен» [Хомский 1972б:15]. По утверждению самих американских ученых, «недостатки теории, которая господствовала в этой области на протяжении 60-х годов, становятся все более очевидными, а существенно отличающихся альтернатив в сколько-нибудь значительном количестве нет» [Чейф 1975:23].

В это время наблюдается смещение акцента с системы и структуры языка на способы его использования. Представители генеративной лингвистики в поисках теоретического обоснования своих технических экспериментов над порождением предложения как речевой единицы обращаются к классическим лингвистическим проблемам, принадлежащим изучению взаимосвязи языка и мышления. Показательным в этом отношении является сопоставление теоретических положений, которые в современной генеративной лингвистике определяются как синтаксизм и семантизм. Синтаксизм представляет Н. Хомский; его исходное положение базируется на признании доминирующей роли звукового выражения над значением. В качестве основного представителя семантизма возьмем У. Чейфа, по мнению которого в основе любого высказывания лежит значение. Чейф считает, что «модель синтаксистов никак не отражает употребление языка» [1975:82].

Главным объектом научного анализа на новом этапе развития американского языкознания становится процесс, в котором человек ведет себя как некая машина, генерирующая речь, а язык выступает инструментом, превращающим конфигурации мыслительных образов в конфигурации звуков. Языкознание при этом рассматривается как отрасль психологии либо так называемой поведенческой науки [Хомский 1972б:13]. В генеративной лингвистике существует

мнение о том, что язык чрезвычайно сложным «образом осуществляет посредничество между миром значения и миром звука» [Чейф 1975:27]. Как видим, в сформулированном здесь контексте лингвистических проблем значение и его звуковое выражение находятся в отношении опосредствования. Расстояние между значением и звуковым выражением представляется в принципе большим, а связи часто удивительно усложненными.

Особое место отводится также значению и звуковому выражению в коммуникативном акте, где их взаимоотношение трактуется по широко используемому в кибернетике принципу входа и выхода информации в «черный ящик» [Клаус 1967:25]. Отсюда закономерными являются актуализация вопросов овладения родным языком и объяснение психофизиологических процессов речеобразования.

Американские лингвисты исходят из того, что «некая конфигурация понятий возникает внутри нервной системы некоего индивида, который в силу какой-то причины, часто, но не обязательно связанной с целенаправленной коммуникацией, вынужден трансформировать эти понятия в звук. Звук идет к другому лицу или лицам, находящимся в пределах слышимости, и, как правило, вновь превращается внутри их нервной системы в некое факсимиле первоначальных понятий» [Чейф 1975:29]. Из приведенной цитаты вытекает, что понятие (значение) принадлежит нервной системе индивида, а звуковое выражение — межиндивидное явление.

Отмеченная психофизиологическая трактовка соотношения звукового выражения и значения в истории науки не нова. Подобные рассуждения неоднократно встречались в работах Л. С. Выготского, Л. Блумфилда, Ф. де Соссюра и многих других. И. А. Бодуэн де Куртене считал, что циркуляция понятий в обществе осуществляется «через посредство человеческого организма» [1963:192]. По его мнению, в психическом мире индивида создаются языковые идеи, которые благодаря их физиологической реализации превращаются в акустические впечатления. Последние «возбуждают чувствительные нервы, которые передают эти впечатления мозговому центру» [там же].

Сосредоточение внимания на психофизиологической основе коммуникативного акта, очевидно, послужило причиной устранения из лингвистических исследований сформулированного де Соссюром процесса объединения значения и звукового выражения в единую языковую единицу. По модели У. Чейфа, в коммуникативном акте осуществляется преобразование значения в звук (при говорении) и звука в значение (при слушании). Идея преобразования значения в звуковое выражение заслуживает специального внимания, так как открывает новые горизонты для лингвистического объяснения внутренних законов развития языка. Благодаря этой идее фактор динамики во взаимосвязи значения и звукового выражения перестает восприниматься как исключительно диахроническое явление, а языковой знак как его результат. Проблемы, сопряженные с объяснением процесса преобразования значения в звуковое выражение, относятся в первую очередь к синхроническому аспекту су-

ществоваппя языка, поэтому создается возможность отнести преобразование к начальному этапу объединения, вернее, рассматривать его как первопричину объединения. Развитие идеи преобразования значения в звуковое выражение в современном американском языкознании приводит к предположению, согласно которому процессы, совершающиеся на синхроническом срезе, можно воспринимать как основные, а диахроническим процессам приписывать роль результирующих.

В такой интерпретации связи между значением и звуковым выражением дуалистическая трактовка природы языкового знака приобретает основу, принципиально отличную от сосюрковского понимания объединения в нем формы и содержания. Если признание объединения как одноактного процесса приводит к выводу о том, что языковой знак на синхроническом срезе существования языка состоит из двух различных по характеру и качеству частей и что эта связь между ними относительно стабильна, то преобразование значения в звуковое выражение состоит из многих этапов, которые в модели Чейфа описываются как основные процессы речеобразования.

Динамичность отношения между значением и звуковым выражением проявляется в любом коммуникативном акте, речеобразование в котором состоит из процессов, следующих друг за другом примерно в такой последовательности: семантическая структура — лиnearизация, охватывающая несколько постсемантических процессов и постсемантических структур, — глубинная и поверхностная структуры — символизация — несколько поэтапных разновидностей фонологических процессов, в результате которых образуется соответствующее количество вариантов фонологических структур, — фонетическая структура.

Следует отметить, что при определении характера отношений между компонентами схемы и количества этапов речеобразования в современном американском языкознании единого мнения нет. Чейф утверждает, что, «если семантическая структура составлена правильно, в соответствии с правилами семантического построения, продиктованными языком, тогда обычно обеспечен правильный фонетический выход. Процессы, которым подвергается семантическая структура, автоматически приводят к фонетическому представлению. Ясно, что обратное не имеет места» [1975:74]. Н. Хомский считает возможной двустороннюю направленность отношений между компонентами схемы речеобразования. Он пишет, что «на основании информации, которой мы сейчас располагаем, представляется правомерным предположить, что поверхностная структура полностью задает фонетическую интерпретацию и что глубинная структура выражает те грамматические функции, которые играют роль при задании семантической интерпретации, хотя некоторые аспекты поверхностной структуры могут также участвовать в задании значения предложения» [1972б:42]. Однако в работе, опубликованной позже, он, очевидно, под влиянием У. Чейфа, пишет о семантической ориентированности порождающей грамматики [Chomsky 1971:196], но при

этом считает, что семантическая часть речевой единицы является чисто интерпретирующей [Хомский 1972б:71]. Дж. Лакофф подчеркивает, что базисная теория порождающей грамматики не должна включать «требования направленности преобразований ни от фонетики к семантике, ни от семантики к фонетике» [1981:310], однако сам осуществляет преобразования в строго заданной последовательности следующих этапов речеобразования: исходная структура — все правила лексического наполнения — глубинная структура — циклические правила — промежуточная структура (пограничный пункт) — вынесение в тему — поверхностная структура [1981:329].

Расстояние между семантической структурой и фонетической репрезентацией в схеме преобразования значения в звуковое выражение, по утверждению У. Чейфа, зависит от особенностей линеаризации, от того, сколько постсемантических процессов она охватывает при образовании конкретной речевой единицы, и от характера фонологизации, т. е. количества поэтапных разновидностей речеобразования фонологических структур. Из последующего описания особенностей речеобразования можно сделать вывод, что количество постсемантических процессов У. Чейф связывает со степенью полисемичности слова на современном этапе развития конкретного языка, а количество фонологических процессов — с диахроническими изменениями фонетической репрезентации речевой единицы.

Центром в приведенной выше последовательности процессов речеобразования является символизация. Между символизацией и семантической структурой как начальным этапом образования речевой единицы размещаются постсемантические процессы с постсемантическими структурами, а между ней и фонетическим представлением как конечным этапом речеобразования — фонологические процессы со всеми вариантами фонологических структур. Можно сказать, что постсемантические и фонологические изменения «соответственно расталкивают семантическую структуру и фонетическое представление в разные стороны от процесса символизации, увеличивая таким образом конечное расстояние между семантической структурой и ее окончательным фонетическим выходом» [Чейф 1975:53—54]. Количество постсемантических процессов и количество этапов фонологизации в каждом конкретном языке обусловлены спецификой развития определенных типов речевых единиц.

Любой коммуникативный акт начинается с возникновения значения, которое говорящему нужно как-то сообщить. Это значение как начальный этап речеобразования в анализируемой схеме Чейфа, естественно, совпадает с семантической структурой речевой единицы. Семантическая структура в порождающей модели Дж. Катца состоит из «смыслов отдельных слов» [1981:34], представленных в виде специального словаря.

К постсемантическим процессам относят специфические этапы образования речевых единиц, играющие также существенную роль в развитии семантической структуры языка в целом. Во время этих процессов обычно возникают новые значения как ответвления или отщепления от существующих. Лексическая единица, сочетаясь па

этих этапах с другими лексическими единицами, включается в состав линейной синтаксической конструкции, внутри которой создаются условия для возникновения в значении лексической единицы нового контекстуального оттенка. Последний через некоторое время может войти в речевую практику и далее преобразоваться в новое значение, которое вначале в большинстве случаев существует несамостоятельно. В истории языка деконтекстуализация оттенка и развитие нового значения, как правило, относятся к длительным процессам. «Слово сначала смутно вырисовывается, — пишет в этой связи Д. Болинджер, — и лишь потом, медленно, по мере того, как оно приобретает все новые контексты, одно за другим исключает лишнее» [1981:231]. Наконец, новое значение слова приобретает относительно независимую лексикографическую самостоятельность.

Если контекстуальная связанность нового значения захватывается процессом, который Чейф называет *литераризацией*, образуется идиома. Идиомы рассматриваются как семантические единицы с более абстрактным значением, чем значения лексических единиц. По мнению американского ученого, «кажется уместным предположить, что это положение, существующее... во всех языках, указывает на то, что... рост объема человеческого понятийного инвентаря в значительной степени обязан возникновению дополнительных понятий» [Чейф 1975:61] через стадию литературизации.

Другие постсемантические процессы при образовании речевой единицы, а ею считаются высказывания либо предложения, выступают в виде повторения значений, каждое из которых в поверхностной структуре нередко можно встретить более одного раза. «Процессы, ответственные за такую редистрибуцию, обычно сводятся к тому, что называют согласованием» [Чейф 1975:65]. Например, категория числа как семантическая единица при согласовании подлежащего и сказуемого выражается в именной и глагольной словоформах.

Часто в предложении слово, которое опускается, может оставлять след [Чейф 1975:67]. Такое явление Дж. Росс называет *прономинализацией* [1967:1669—1682], а Л. Блумфильд *субституцией* [1968:269], которая в постсемантическом процессе сопровождается заменой опущенного слова местоимением или выражается морфологически — словоизменительными аффиксами.

Существенно, что глубинная структура у Чейфа возникает в результате последнего постсемантического процесса, т. е. порождается семантическим компонентом модели, тогда как у Н. Хомского и многих других представителей генеративной лингвистики она является результатом работы синтаксического компонента. Наиболее подробная схема порождения глубинной структуры описана У. Вейнрейхом, который подчеркивает, что предлагаемая им «семантическая теория ориентирована на грамматику, содержащую категориальный компонент, и лексикон... Категориальный компонент порождает претерминальные цепочки; затем соответствующие места претерминальной цепочки заполняются лексическими единицами из лексикона и получается обобщенная НС-структура. Обобщенная НС-структура, удовлетворяющая условиям обя-

зательных трансформаций, представляет собой глубинную структуру предложения» [1981:112].

Символизацией называется процесс, при котором поверхностная структура превращается в фонологическую конфигурацию. Из этого положения вытекает, во-первых, что поверхностная структура принадлежит семантике, а не плану выражения, а во-вторых, водораздел между семантикой и фонетической репрезентацией речевой единицы находится где-то в пределах процесса символизации. Однако поверхностная структура в представленной У. Чейфом схеме речеобразования только косвенно связана со значением. Между поверхностной и семантической структурами размещаются постсемантические процессы, постсемантические и глубинная структуры.

Идея о наличии в предложении как единице речи поверхностной и глубинной структур оказалась и оказывается не только заманчивой, но и популярной, однако сами значения этих терминосочетаний ни в американских, ни в европейских работах до сих пор не получили более или менее удовлетворительного определения. Формулировки, встречающиеся в исследованиях генеративной лингвистики, преимущественно многозначны, а при сопоставлении оказываются противоречивыми. Возьмем, например, одно из определений Н. Хомского, предлагающего «различать поверхностную структуру предложения» как «систему категорий и составляющих, которая прямо связана с физическим сигналом», а «лежащую в ее основе глубинную структуру» также как «систему категорий и составляющих, но более абстрактного характера» [1972б:39—40]. Таким образом, и в глубинной, и в поверхностной структуре выделяются составляющие и какая-то система категорий, которая нигде и никак не определяется. Не помогает раскрытию значения терминосочетания «система категорий» и обращение к другим работам Хомского, хотя, например, в его книге «Аспекты теории синтаксиса» этому вопросу посвящена глава «Категории и отношения в синтаксической теории». Из приведенного в ней замечания по поводу того, что функциональные понятия типа «Субъект», «Предикат» должны тщательно отграничиваться от категориальных понятий, таких как «Именная Составляющая», «Глагол», вытекает, что система категорий отождествляется здесь с составляющими. О том, что такое отождествление системы категорий и составляющих не случайно, свидетельствуют высказывания типа «Среди главных категорий, введенных при разложении Предложения, мы можем теперь обозначить как NP-катеорию, которая разлагается на ...N ... Главную категорию, которая непосредственно управляет ...NP ..., мы можем обозначить VP ...» [1972а:110]. В лекциях, прочитанных в Калифорнийском университете в Беркли в 1967 г. и опубликованных в русском переводе под заглавием «Язык и мышление», Н. Хомский утверждает, что составляющие в глубинной структуре должны быть более абстрактными, чем в поверхностной. Однако уровни абстракции и глубинной, и поверхностной структур также не определены, а из приведенного им примера [1972б:40—41] вытекает совсем противоположное: и в поверхностной, и в глубинной

структуре они одинаковые. Непонятно, почему в определении поверхностной структуры указывается на ее связь с фонетическим сигналом, тогда как в глубинной структуре ему ничего не противопоставляется, тем более, что, по мнению Хомского, поверхностные структуры наряду с глубинными «могут также участвовать в задании значения предложения» [там же : 42].

Отождествление поверхностной структуры с фонетической репрезентацией речевой единицы встречается и во многих других работах, посвященных описанию порождающих процессов речеобразования. В частности, отождествление поверхностной структуры с сигналом содержится в статье Р. Карнапа и Й. Бар-Хиллела [Carnap, Bar-Hillel 1953:147—157]. У. Вейнрейх поверхностную структуру размещает между фонологическими процессами и фонетической репрезентацией предложения: «Последовательность фонем преобразуется в поверхностную структуру и в конечном счете — в фонетическое представление высказывания» [1981:130].

Несколько иное, но не совсем четкое определение поверхностной структуры дает Дж. Лакофф, считающий, «что понятие «возможная поверхностная синтаксическая структура» для произвольного естественного языка определяется как дерево (или НС-структура), вершиной которого является символ S, а узлы помечены символами из конечного набора: S, NP, V...» [1981:302—303]. В данном определении, как видим, отсутствует указание на связь поверхностной структуры с фонетической репрезентацией, зато Дж. Катц глубинную структуру соединяет с конкретной реализацией слов в предложении. Под глубинной структурой он понимает «полный набор следующего вида: один из членов каждой пары — помеченный узел глубинной структуры данного предложения, а другой — максимальное множество толкований, приписанных цепочке слов, которые подчинены данному узлу» [1981:45].

Для У. Вейнрейха существенным является то, что «в глубинных структурах языка пет сигналов: все единицы глубинных структур представляют собой смыслы» [1981:173].

Трудно найти в генеративной лингвистике хотя бы приблизительно и непротиворечивое определение отношения глубинной структуры к содержанию предложения, представленному в модели У. Чейфа в виде семантической структуры и постсемантических процессов. Например, определение глубинной структуры, данное Н. Хомским в работе «Аспекты теории синтаксиса», — «синтаксический компонент грамматики должен указывать для каждого предложения глубинную структуру, которая определяет его семантическую интерпретацию», — кажется, достаточно четко указывает на функцию инструментальности глубинной структуры по отношению к смыслу предложения. Однако эта прозрачность тут же затуманивается следующим за ним уточнением, согласно которому глубинная структура «интерпретируется семантическим компонентом» [1972a:20].

Таким образом, с одной стороны, утверждается, что глубинная структура определяет семантическую интерпретацию, а с другой —

сама интерпретируется семантическим компонентом. Представителями семантизма отмеченная двойственность в определении отношения между семантической и глубинной структурами предложения расценивается как одно из самых слабых мест в теории порождающей грамматики Хомского.

Не совсем понятно, что имеет в виду Хомский под словом «интерпретация», поскольку в порождающей грамматике не раскрыты ни работа семантического компонента, ни процесс семантической интерпретации. У. Вейнрейх термин «интерпретация» понимает как «угадывание» [1981:172], т. е. как врожденную способность говорящего — слушающего. Дж. Катц слово «интерпретация» употребляет для обозначения способа лингвистического описания [1981:33], т. е. как результат работы исследователя. Отсюда в его модели «семантические интерпретации предложений, получаемые на выходе семантического компонента, составляют полное описание семантической структуры данного языка» [1981:47].

В публикациях по генеративной лингвистике указывается также на семантическую репрезентацию предложения, выводимую «из синтаксической глубинной структуры с помощью универсальных операций, которые объединяют значения лексических единиц глубинной структуры в соответствии с релевантными синтаксическими отношениями» [Бирвиш 1981:192]. Насколько приведенная цитата позволяет судить о содержании последнего терминологического сочетания, под репрезентацией понимаются и способности слушающего, и лингвистическое описание. В связи с этим М. Бирвиш подчеркивает, что в его модели «семантическая репрезентация получает синтаксическую интерпретацию» [1981:194].

Рассматриваемые терминологические неувязки в современном американском языкознании не случайны. Неупорядоченность в терминологии — закономерное отражение неупорядоченности теоретических и методологических положений самого направления науки. В конечном итоге она сказывается и на объяснении конкретного материала. Об отсутствии теоретического размежевания поверхностной и глубинной структур свидетельствуют расхождения в введении их из конкретных примеров разными представителями генеративной лингвистики. Обращение к многозначности высказывания, «не обнаруживаемой в поверхностной структуре» [Хомский 1972б:43], и однозначности, которая будто достигается при обращении к глубинной структуре как аргументу, доказывающему различие в специфике поверхностной и глубинной структур, неубедительно; в иллюстрирующих эту мысль примерах сталкиваемся с подменой самых разнообразных фактов естественного процесса речеобразования. Так, приведенное Хомским в работе «Язык и мышление» предложение (*I disapprove of John's drinking — Мне не нравится, что Джон пьет*) является двузначным не по структуре, как считает автор, а потому, что контекстуально изолировано. Вопреки мнению Хомского, расширение этого предложения за счет дополнения (*I disapprove of John's drinking the beer — Мне не нравится, что Джон пьет пиво*) не обеспечивает высказыванию однозначности. Из расширенного

варианта предложения остается непонятным действие Джона: то ли оно единичное и совершается в настоящее время, то ли относится к систематическим поступкам, а в настоящее время повторяется. То же можно сказать о другом предложенном Хомским варианте расширения исходного примера: I disapprove of John's excessive drinking — *Мне не нравится, что Джон чрезмерно пьет*. С одной стороны, в исходном предложении нет семантического признака интенсивности действия. Слово excessive «чрезмерно» в данном варианте расширения можно было бы заменить словом (словами), указывающим на длительность, повторяемость действия, наличие соучастников его и т. п. В то же время указание на интенсивность действия Джона многозначно. Мы не можем сказать, относится ли это действие к разряду привычек или к случайным поступкам.

На то, что в порождающей грамматике Хомского глубинная структура предложения часто отождествляется с контекстуальным обоснованием смысла, указывает также ряд представителей генеративной лингвистики. Дж. МакКоли в дискуссии с Н. Хомским по этому поводу писал так: различие между предложениями типа My neighbour hurt himself — *Мой сосед ушибся* и My neighbour hurt herself — *Моя соседка ушиблась* отвечает «не различию в их глубинных структурах, а различию ситуаций, соответствующих разным употреблением одной фразы с одной и той же глубинной структурой» [1981: 258]. Неясность в определении и противоречивость в процедурах установления Хомским глубинной структуры предложения оказываются настолько существенными, что дают основания для высказываний, в которых предлагается исключить этот промежуточный уровень из моделей порождающих грамматик, а «различие между трансформационно выводимыми и лексическими единицами» [МакКоли 1981: 297], обусловленное признанием глубинной структуры, считать иллюзорным.

По мнению многих представителей генеративной лингвистики, в задачу фонологического компонента порождающей грамматики входит «озвучение» поверхностной структуры. Считается, что человек не помнит в готовом виде звуковых оболочек всех потенциальных предложений, но «собирает» их из меньших элементов, хранящихся у него в памяти.

Фонологические процессы, размещенные в схеме речеобразования Чейфа, наиболее ярко видны на диахроническом срезе конкретных языков. Их можно проиллюстрировать многочисленными примерами, которые описываются учеными в области исторической фонетики. Например, в праславянском языке «согласно закону открытого слога все слова должны были кончаться гласным, но если следующее слово начиналось с гласного же, образовались звияния, неприемлемые для славянского произношения: оно не допускало двух гласных подряд. Так возникли вставочные согласные призвуки, первоначально, видимо, неопределенные по качеству (<j, џ, h>), но после фонологизации фонетически сходных с этими призвуками полугласных (<ɨ, v>) они стали восприниматься как формы с начальным согласным» [Колесов 1980: 33].

На современном этапе развития языка процессы фонологизации, включенные Чейфом в схему речеобразования и представляющие собой один из этапов преобразования значения в звуковое выражение, проявляются в виде ассимиляционных, диссимиляционных изменений, сингармопизма, частично отражающихся в орфографии современных литературных языков.

Грамматикализация, которой подвергается поверхностная структура в процессе символизации, способствует развитию принципов экономии фонетических выходов, поэтому многие значения не имеют звукового выражения. Фонологические процессы, предшествующие фонетическому выходу, формируют эти значения в виде синтаксических связей, объединяющих члены предложения, принципов лексической сочетаемости слов, целого ряда морфологических категорий, представленных нулевыми морфемами, и т. д.

В работах по генеративной семантике встречаются вполне приемлемые утверждения о том, что различие между значением и звуковым выражением взаимобусловлено их системными и структурными свойствами. Значения, как указывает Чейф, являются неллинейными сущностями и чем-то напоминают мишени разнообразных форм. Они объединяются по принципу пересечения множеств в конфигурации разных размеров, и только из этих конфигураций образуется семантическая структура языка. Конфигурации объединенных значений не всегда примыкают друг к другу, в связи с чем семантическая структура конкретных языков не покрывает всего отображения воспринимаемого нами мира. Объективная реальность представлена в семантической структуре только частично.

Значения, по мнению Чейфа, нельзя отождествлять с мыслительными образами, которые благодаря континуальному характеру мышления не имеют четко очерченных контуров. Существовало, что в его книге «Значение и структура языка» мыслительные образы не обозначаются терминологически. Автор книги термин «понятие» последовательно употребляет в качестве синонима к термину «значение». Только иногда кажется, что в упомянутой книге значение слова обозначается термином «понятие», а содержание предложения — термином «значение».

Семантическая структура рассматривается ученым как дискретное явление, а ее элементарные составляющие — значения — как атомарные. Он справедливо замечает, что значения, однако, не имеют ничего общего с фотографией, фиксирующей конкретные предметы. Способ обобщения, которым характеризуются значения, имеет специфически языковые особенности.

При преобразовании значения в звуковое выражение по его схеме речеобразования происходит «перенесение» семантических единиц из многомерного пространства в пространство с одним измерением. Звуковое выражение в отличие от семантической структуры является линейной сущностью. Единицы выражения могут размещаться исключительно одна за одной, образуя дискретный ряд.

Объединение единиц в звуковом выражении осуществляется на основе огромного количества разпокатегориальных ограничений.

В линейной сочетаемости фонетических единиц основные ограничения зависят от способности периферийных органов звуковыражения, например очертаний языка, свода верхней челюсти и стенок глотки, от когтуров задней стенки фаринкса, надгортанника и т. п. [Фант 1964:99—100]. «Кончик языка, хотя и очень подвижен, все же нормально лишь с некоторым трудом может коснуться мягкого неба. По этой причине, очевидно, в языках не представлены случаи «апи-ко-велярной» артикуляции. Ретрофлексные, или «какуминальные», звуки являются практически пределом отодвижки кончика языка. Держать голосовые связки закрытыми и одновременно заставлять их вибрировать не просто трудно, а невозможно; отсюда как следствие фонетическая «звонкость» (в обычном смысле) не встречается с гортанной смычкой» [Чейф 1975:100—101].

Ограничение фонетической репрезентации речевых единиц Э. Сепир рассматривал не в связи с ограничением физических возможностей человека, а в связи со спецификой строения языковой системы: «Строгая ограниченность нашей артикуляции — это та цена, которую нам приходится платить за умение пользоваться нашей системой языковых символов» [1934:37].

Исходя из положения, сформулированного Л. Блумфилдом о корреляции между фонетической формой и ее словарным значением [1968:152], У. Чейф подчеркивает, что лексическая сочетаемость слов в предложении ограничивается идиосинкретично, т. е. зависит от универсального человеческого знания. Например, фонетически допустимое высказывание *собака способна летать* во всех языках мира будет оцениваться как неистинное по содержанию, ибо человек не обладает знаниями, согласно которым собаки в нормальных естественных условиях имели бы крылья.

Мы подошли к объяснению того, как процесс преобразования значения в звуковое выражение приводит к явно выраженной несогласованности между значением и звуковым выражением. Причинное обоснование этой несогласованности Чейф находит в различии принципов ограничения фонетической репрезентации предложения и лежащей в его основе семантической структуры. Отметим также, что эта несогласованность многими исследователями воспринимается как полная независимость, поэтому для подтверждения мысли о независимости существования значения и звукового выражения представители генеративной лингвистики ссылаются даже на диахронические процессы, которыми много и успешно занималось сравнительно-историческое языкознание. Сформулированные в сравнительно-историческом языкознании фонетические законы, описанные фонетические изменения вполне естественно рассматриваются в отрыве от изменений, имеющих место в развитии семантической структуры конкретных языков.

Расхождения в изменениях значения и звукового выражения диахронического порядка американскими лингвистами связываются с физиологической трактовкой развития человеческого мышления вообще. Хомский ссылается на работы испанского врача XVI в. Хуана Гуарте, который выделял три этапа в развитии человеческого

мышления: а) «послушный разум», действующий только на основании импульсов, воспринимаемых органами чувств; б) нормальный человеческий интеллект, способный «порождать внутри себя, своей собственной силой, те принципы, на которых покоится знание» [Хомский 1972б:20]; в) разум, обеспечивающий «действие творческого воображения такого характера, которое выходит за рамки нормального интеллекта и может... включать в себя «примесь сумасшествия» [Хомский 1972б:21].

На первом этапе человеческого мышления, очевидно, примитивная система коммуникации состояла из «семантических единиц, каждая из которых непосредственно связана с какой-то фонетической единицей» [Чейф 1975:42—43]. При переходе к этапу нормального человеческого мышления в коммуникативном акте между значением и звуковым выражением намечается разрыв. Здесь значение и звуковое выражение становятся независимыми, «теперь уже изменение одного из них не влечет за собой изменения другого» [Чейф 1975:43].

Одно-однозначные отношения между значением и звуковым выражением на первом этапе человеческого мышления, очевидно, обусловлены отсутствием в коммуникативной системе грамматического уровня: коммуникативная система состояла тогда из изолированных слов-символов, которыми обозначались отдельные явления объективной действительности. Можно было бы предположить, что на первом этапе обозначение, или символизация, базируется на ситуативном контексте, хотя и в этих случаях, как подчеркивает А. Р. Лурия, «если в одной ситуации слово обозначало предмет, то то же слово, сопровождаемое интонацией и включенное в другую ситуацию, могло выражать целое суждение» [1979:148].

Многие исследователи считают, что грамматический уровень возник в языке на втором этапе человеческого мышления и это «породило принципиально новые осложнения в процессе превращения значения в звук» [Чейф 1975:43]. Возникновение грамматики позволило использовать одни и те же звуковые комплексы для обозначения нескольких семантических структур, поэтому на втором этапе человеческого мышления инвентарь семантических единиц неизмеримо возрос, не вызывая соответствующего увеличения количества конфигураций звуковых представлений. Из подобных рассуждений вытекает, что на втором этапе развития человеческого мышления возникает более сложная и вместе с тем более абстрактная, чем слово/понятие, коммуникативная единица — предложение/суждение.

Рассмотренные здесь типы отношений между языком и человеческим мышлением при этом не всегда подтверждаются экспериментами психологов. Приблизительно 50 лет назад А. Р. Лурия провел следующий эксперимент: испытуемым разного возраста называлось изолированное существительное, обозначающее конкретный предмет, например *стол*, *окно*, *солнце*, с просьбой назвать к нему любое другое слово. В результате эксперимента оказалось, что дети 5—7 лет в качестве соответствия к такому существительному называют преимущественно глаголы, образуя при этом синтаксические конструк-

ции, совпадающие с простым нераспространенным предложением. *Солнце светит*. Дети старшего возраста и взрослые к предложенному существительному подыскивали существительное с большей или меньшей степенью ассоциативности, например *солнце — луна* или *собака — кошка* и т. п. На основе этого эксперимента Лурия заключает, что «ассоциативные ответы (типа *дверь — окно*. — М. П), являются не исходными, как думало и до сих пор думает подавляющее число психологов, а поздними образованиями» [1979:153]. Предикативные образования, по его мнению, «составляют более раннюю форму речевой деятельности» [1979:54].

Преобразование значения в звуковое выражение в генеративной семантике представляется как действие целого комплекса взаимосвязанных процессов: «Во-первых, это процессы «формации», посредством которых с самого начала создается семантическая структура. Во-вторых, это процессы «трансформации», посредством которых семантическая структура видоизменяется, превращаясь в поверхностную структуру, а исходное фонологическое представление превращается в фонетическое. И в-третьих, это процессы «символизации», посредством которых постсемантические единицы поверхностного представления замещаются исходными фонологическими конфигурациями» [Чейф 1975:70].

В современной генеративной лингвистике под рассмотренную нами логическую схему преобразования значения в звуковое выражение подводится материальная база, которую понимают как специальный врожденный механизм, обеспечивающий человеку владение языком. Проблема врожденных способностей человека к речеобразованию, при котором происходит взаимодействие значения и звукового выражения, занимала лингвистов задолго до того, как появилась генеративная лингвистика. Вполне возможно, что эта идея в американском языкознании возникла на основе теории, развитие которой встречается также у И. А. Бодуэна де Куртена. Согласно этой теории, «реально существует только индивидуальный язык как совокупность произносительных и слуховых представлений, соединенных с другими лингвистическими и нелингвистическими представлениями» [Бодуэн де Куртене 1963:193]. А. А. Потебня среди первоочередных для лингвистов задач называл следующие: как ребенок присваивает наименования новым для него предметам, как происходит у него формирование значения слова, каким образом он соотносит значение со звуковым выражением [1958:16—20]. Подобными вопросами интересовался и О. Есперсен. В работе «Философия грамматики» он писал, что при овладении английским языком «маленький ребенок не знает грамматических правил, согласно которым подлежащее занимает первое место, а косвенное дополнение всегда стоит перед прямым; и все же без подготовки в области грамматики он извлекает из бесчисленного количества предложений, которые он слышал и усвоил, достаточно определенное понятие об их структуре и может построить подобное предложение сам» [1958:17].

Такая теоретическая предпосылка объяснения одного из самых фундаментальных вопросов языкознания американским лингвистам кажется перспективной, ибо, как считается, только благодаря ей становится доступным решение ряда вопросов, тормозящих создание и совершенствование систем искусственного интеллекта. Особенно заманчиво то, что ребенок приобретает знание языка без предварительного изучения грамматики и что это знание в основном независимо от степени развития интеллекта и индивидуального опыта [Хомский 1972б:76]. Отмеченный фактор, по мнению американских ученых, представляет самый надежный материал для эксплицитного решения проблем по созданию устройства, способного к речеобразованию, поэтому считается, что «нет лучшего и более многообещающего пути исследования существенных и отличительных свойств человеческого интеллекта, чем путь детального исследования структуры этого человеческого дара» [Хомский 1972б:89]. Проблема преобразования значения в звуковое выражение при помощи идеи о существовании специального врожденного механизма речеобразования включается в область кибернетики и связывается с проблемами усовершенствования работы и структуры электронно-вычислительных машин.

Постулирование врожденной структуры речеобразования базируется на гипотезе, по которой «в этой области, более чем в любой другой, мы располагаем подробным пониманием природы языковой репрезентации и сложных условий, налагаемых на применение правил» [Хомский 1972б:50] формирования единиц речи.

Работа врожденной структуры кажется легкодоступной через исследование интеллектуальных способностей ребенка, поэтому предлагается сосредоточить «внимание на изучении системы знаний и убеждений, которая развивается в раннем детстве» [Хомский 1972б:15]. В связи с этим Н. Хомскому представляется, что решение эмпирической проблемы построения механизма речеобразования нужно начинать с обращения к гипотетической структуре, имитирующей усвоение языка ребенком.

Для наименования этой пока не определенной врожденной структуры Хомский предложил несколько терминов и терминосочетаний, широко используемых и другими представителями генеративной лингвистики, — компетенция, языковая компетенция, система языковой компетенции, внутренняя компетенция и т. д. Конкретизация содержания этого многовариантного термина переносит нас от усвоения языка ребенком к «знанию своего языка говорящим — слушающим» [1972а:9]. Далее читаем, что языковая компетенция является по природе скрытой для непосредственного наблюдения [Хомский 1972а:10]. Это, однако, по мнению Хомского, не должно пугать исследователей, ибо языковая компетенция может быть описана опосредствованно — через употребление языка, т. е. при помощи анализа структуры таких единиц речи, какими выступают предложения.

Можно было бы предположить, что оптимизм Хомского относительно доступности изучения работы языковой компетенции, а сле-

довательно, и теоретического обоснования возможности создания робота, говорящего и понимающего разговорную речь, через изучение структуры реализованных в речи предложений имеет какую-то теоретическую основу. Однако публикации автора и высказывания представителей семантизма в генеративной лингвистике убеждают в том, что такой оптимизм чрезвычайно далек от действительности. Трудность решения этой проблемы заключается именно в том, что «важнейшим условием возникновения речи является наличие определенного физиологического устройства или определенной физиологической организации, наиболее ярко воплощенной в человеке» [Общее языкознание 1970:11], а эта особенность обязывает к исключительно комплексному ее решению. Еще Л. Блумфилд утверждал, что механизм, который управляет речеобразованием, по структуре очень сложный и вряд ли мог бы изучаться только силами лингвистов. Поскольку «нервная система — это как раз и есть та часть человеческого организма, которая отвечает за это тонкое и подвижное устройство» [1968:48].

По убеждению У. Чейфа, врожденный механизм владения языком размещается в мозгу человека, поэтому «описание любого языка невозможно без учета того, что делается «в головах людей» [1975:47].

Врожденный характер языковой компетенции признают также Дж. Катп и Дж. Фодор, отождествляющие ее со способностью, благодаря которой человек производит и понимает речь, не вникая в связанный с ней внеязыковой контекст [Katz, Fodor 1963:176].

Интересным представляется указание Вейнрейха на то, что «семантическая структура лексики языка, которая входит в языковую компетенцию рядового носителя, в принципе имеет ту же форму, в которой она представляется лексикографом в словаре» [1981:139]. Вейнрейх при этом считает врожденной не только языковую компетенцию, но и семантическую структуру языка. Он замечает, что ребенок не мог бы решить задачу построения системы, устанавливающей связь между смыслом предложения и его фонетической репрезентацией, «в столь короткий срок, если бы по крайней мере часть системы толкований не была бы врожденной» [1981:139]. Такого же мнения придерживается Барвин: при овладении языком «познаются не семантические компоненты, а скорее их особые комбинации в определенных понятиях» [1981:196], поэтому эти свойства семантической структуры относятся к универсальным явлениям языка. Поскольку семантические компоненты представляются исключительно как «основные характеристики мыслительной и перцептивной структур человеческого организма» [там же] и отрицается какое бы то ни было отношение к отображаемой объективно существующей действительности, за таким объяснением специфики семантической структуры стоит признание психологических моментов с вытекающими отсюда субъективно-идеалистическими выводами.

Терминологическое сочетание «языковая компетенция», как и многие другие лингвистические термины в работах Хомского, отли-

чается полисемичностью, обусловленной систематическим смешением двух планов объективной действительности: а) процессов владения языком и б) их лингвистическим описанием. Поэтому языковая компетенция определяется также как абстрактная система, состоящая из правил, «которые взаимодействуют с целью задания формы и внутреннего значения потенциально бесконечного числа предложений» [Хомский 1972б:89], она же «образует конечное состояние изучаемого организма» [1972б:91—92]. Различные определения языковой компетенции в работах Хомского затрудняют понимание того, что имеет в виду автор под этим терминосочетанием.

Существенные расхождения наблюдаются также в значениях термина «язык» при употреблении его представителями семантизма и синтаксизма. Наиболее распространенное значение относится к определению врожденного механизма, обеспечивающего процесс речеобразования в целом и, по мнению Чейфа, находящегося в мозгу человека. Поэтому строить догадки, как работает этот врожденный механизм, лингвисты могут «только на основе косвенных данных» [Чейф 1975:47].

В работе Н. Хомского «Syntactic Structures» (1957) значение термина «язык» определяется следующим образом: «С этого момента язык понимаю как множество (конечное либо бесконечное) предложений, каждое из которых представляет конечную длину и сконструировано из конечного числа элементов» [Chomsky 1962:13]. В 1962 г., излагая логические основы лингвистической теории своей порождающей грамматики, Хомский ссылается на В. Гумбольдта, который подчеркивал, что процесс речи нельзя представить себе как передачу чего-то материального: «То, что слушающий и говорящий одинаково понимают речь, обусловлено одинаковостью присущей им внутренней способности» [Хомский 1965а:475]. Эта внутренняя способность, обеспечивающая человеку речеобразование, отождествляется с языком, который «во всем своем объеме заключен в каждом человеке» [там же] как своеобразный врожденный механизм. Специфика работы этого механизма заключается в том, что «языку нельзя научить: его можно лишь пробудить в сознании... языку надо дать нить, которой он будет следовать, развиваясь сам собой» [Хомский 1965а:476]. Продолжая разработку этой идеи Гумбольдта, Хомский приходит к следующему утверждению: «Можно с равным основанием утверждать, что все человечество применяет Один Язык» [1965а:477]. Отсюда и мысль о существовании врожденной универсальной грамматики. Избранный подход к определению языка дает основание Хомскому отрицать понимание языка как инвентаря знаков, объединенных в систему.

В работе «Language and Mind» (1968) Н. Хомский идет еще дальше. Теперь под языком он понимает некую сущность, которой отводится место вне человеческого организма, но не в обществе, где, по словам И. А. Бодуэна де Куртене, «жизнь языка... представляет собой весьма сложный процесс» [1963:194] или же, по словам Ф. де Соссюра, язык выступает как «социальный элемент речевой деятельности» [1933:39]. При обсуждении последнего варианта зна-

чения термина «язык» Хомский ссылается на Декарта, представителя философского рационализма XVII в., и ищет для языка место в какой-то «второй субстанции», «сущность которой есть мысль с ее неотъемлемыми свойствами: обладанием протяженностью и движением» [1972б:17]. При этом он подчеркивает, что эта субстанция имеет качественно иную основу, чем физиологическая. Основываясь, казалось бы, на вполне приемлемом для диалектического материализма исходном положении о том, что «язык является исключительно человеческим достоянием и настолько специфическим именно для этого вида, что даже на низких уровнях интеллекта, на уровнях патологических, мы находим такую степень владения языком, которая совершенно недоступна обезьяне» [Хомский 1972б:22], Хомский делает идеалистический вывод, будто человек тем и отличается от животного, что имеет доступ к этой «второй субстанции». «Я считаю,— пишет он,— что самой подходящей основой для исследования проблем языка и мышления является система идей, разработанная как часть рационалистской психологии семнадцатого и восемнадцатого столетий» [1972б:39]. На разработку рационалистских идей о существовании «второй субстанции» Хомский возлагает большие надежды, ибо, как представляется ему, только на их основе можно раскрыть секрет работы врожденного механизма речеобразования человека.

Так как язык выводится за пределы человеческого организма и размещается в какой-то гипотетической «второй субстанции», его нормальное использование, как заключает Хомский, «является не только новаторским и потенциально бесконечным по разнообразию, но и свободным от управления какими-либо внешними или внутренними ситуациями» [1972б:23].

Ошибочность такого утверждения опровергал еще Ф. Энгельс в работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека», когда указывал на биологический аспект развития человеческой способности к речеобразованию. Ф. Энгельс подчеркивал, что потребность в речи «создала себе свой орган: неразвитая гортань обезьяны медленно, но неуклонно преобразовывалась путем модуляции для все более развитой модуляции, а органы рта постепенно научались произносить один членораздельный звук за другим» [Маркс, Энгельс 20:489]. Это положение марксистско-ленинской философии заставляет отбросить рационалистское утверждение Хомского о нечеловеческой природе языка и «требуем рассматривать появление языка как этап эволюции, сначала биологической, а затем биологически-социальной» [Степанов 1975б:162].

Проповедуя дуалистический принцип философского рационализма, Хомский приходит к отождествлению языка и мышления. Он предупреждает, что его «грамматика будет иметь дело, по большей части, с процессами мышления, которые в значительной степени находятся за пределами реальности или даже потенциального сознания» [1972а:13]. В отождествлении языка и мышления, находящихся за пределами человеческого организма, он обнаруживает «творческий аспект использования языка» [Хомский 1972б:23], заключаю-

щийся в способности человека понимать и порождать астрономическое количество предложений на родном языке.

Порождающий процесс в аргументации Хомского рассматривается как действие, занимающее расстояние от языка, находящегося где-то вне человека и даже вне общества, до звукового выражения. Язык в этом порождающем процессе предоставляет человеку какие-то «средства для выражения неограниченного числа мыслей и для реагирования соответствующим образом на неограниченное количество новых ситуаций» [Хомский 1972а:11].

В этой системе соображений по поводу сущности языка человеку отводится функция овладения языком, которую, по терминологии Хомского, очевидно, следует понимать как подобную функции овладения любыми другими знаниями, например мастерством пилотирования, искусством выращивания высоких урожаев сельскохозяйственных культур, спецификой воспитания детей в школе и т. п. Языковая компетенция выступает в организме человека средством, при помощи которого происходит овладение языком.

В отличие от Чейфа, по модели которого врожденный порождающий процесс осуществляется между семантической структурой и звуковым выражением, Хомский понимает этот процесс совсем иначе. Человек, по его мнению, включается в порождающий процесс только благодаря врожденной структуре — языковой компетенции. Умение человека, которое он приобретает при овладении языком, выражается в виде грамматики, представляющей лежащую в ее основе языковую компетенцию [Хомский 1972б:30]. Таким образом, под грамматикой понимается какой-то врожденный механизм, состоящий «из синтаксического компонента, который задает бесконечное множество пар глубинных и поверхностных структур» [Хомский 1972б:72] и выражает «трансформационные отношения между элементами этих пар; из фонологического компонента, который приписывает фонетическую репрезентацию поверхностной структуре, и семантического компонента, который приписывает семантическую интерпретацию глубинной структуре» [там же]. Мы снова сталкиваемся с многочисленными вариантами терминологических сочетаний со словом «грамматика», не четко определенных Хомским, что затрудняет понимание смысла изложенного. В его статье «On the Notion «Rule of Grammar» (1961) читаем следующее: «Под грамматикой языка L я буду понимать некоторую систему (то есть совокупность правил), которая по крайней мере обеспечивает полное определение бесконечного множества грамматических предложений языка L и их структурных описаний» [1965б:35]. В статье «The Logical Basis of Linguistic Theory» (1962) Хомский определяет грамматику как «устройство, которое, в частности, задает бесконечное множество правильно построенных предложений и сопоставляет каждому из них одну или несколько структурных характеристик» [Хомский 1965а:467]. Последнее определение можно было бы сопоставить с некоторым кибернетическим механизмом, сконструированным учеными, однако ниже читаем, что «такое устройство следовало бы назвать порождающей грамматикой» [там же], которую «по-

ситель языка, выступая как говорящий или слушающий, каждый раз пускает в ход» [Хомский 1965а:467—468]. В работе «Aspects of the Theory of Syntax» (1965) Хомский пишет, что «грамматика языка стремится к тому, чтобы быть описанием компетенции, присутствующей идеальному говорящему — слушающему» [Хомский 1972а: 10]. В последнем определении грамматики, очевидно, имеются в виду принципы работы языковой компетенции как врожденного аппарата, а не ее структура, ибо несколькими строками ниже читаем, что «грамматика должна приписывать каждому из бесконечной последовательности предложений структурное описание, показывающее, как это предложение понимается идеальным говорящим — слушающим» [там же].

Из работ, опубликованных Н. Хомским, вытекает, что термин «грамматика» отождествляется с терминосочетанием «порождающая грамматика», а под последней он понимает «систему правил, которая некоторым эксплицитным и хорошо определенным образом приписывает предложениям структурное описание» [1972а:13]. Порождающая грамматика также обеспечивает создание результатов речеобразования, поддающихся наблюдению. В работах Хомского, таким образом, термины «грамматика» и «порождающая грамматика» употребляются как для обозначения одних и тех же естественных процессов речеобразования, так и для характеристики определенного раздела лингвистической теории.

Среди порождающих грамматик Хомский называет несколько подвидов: а) конкретная грамматика, употребляемая им как для определения некоторых свойств английского языка в целом [1972б:50], так и для выделения в самостоятельную категорию системы правил речеобразования отдельного индивида; б) универсальная грамматика, которой в одних случаях приписываются особенности, относящиеся ко всем языкам [1972б:59], в других — общие черты речеобразования, например всех носителей одного национального языка; в) полная грамматика, которая «должна содержать весьма сложные правила семантической интерпретации, обусловленные, по крайней мере, отчасти, весьма специфическими свойствами лексических единиц и формальных структур рассматриваемого языка» [1972б:72].

Под конкретной грамматикой, если она соотносится со способностью индивида к речеобразованию, понимается «рекурсивно порождаемая система, где законы порождения фиксированы и инварианты, но сфера и специфический способ их применения остаются совершенно неограниченными» [Хомский 1972б:90]. Одна из характерных черт конкретных грамматик заключается в том, что они «лишь слегка варьируются среди носителей одного и того же языка, несмотря на широкие вариации не только в умственных способностях, но также в условиях, при которых усваивается язык» [Хомский 1972б:97]. В конкретной грамматике как лингвистическом описании должна содержаться характеристика способностей к речеобразованию отдельного индивида, поэтому «ни один человек... не будет придавать большого значения надежде, что такая система... может быть

построена методами, обладающими хоть какой-нибудь степенью общности» [Хомский 1972б:105].

Универсальная грамматика содержит систему правил, по которым работает языковая компетенция любого человека — представителя любого естественного языка. Универсальная грамматика соотносится с какими-то общими элементами и условиями, которые налагаются на организацию любого человеческого языка, и таким образом обеспечивает для всех языков мира единое общее ядро. Среди принципов универсальной грамматики Хомский выделяет те, «которые различают глубинную и поверхностную структуры, и которые ограничивают класс трансформационных операций, связывающих их» [1972б:90].

Принципы универсальной грамматики как способа лингвистического описания процессов владения языком «дают чрезвычайно жесткую схему, которой должен подчиняться любой человеческий язык» [Хомский 1972б:76], в ней также формулируются специфические условия, указывающие, как может использоваться грамматика любого языка в речеобразовании. Универсальная грамматика как раздел лингвистической науки представляет собой общую теорию языка, выступающую в роли каркаса и структуры любого языка и множества разнообразных условий, формальных и субстанциональных, которым должна отвечать любая дальнейшая разработка грамматики [Хомский 1972б:105].

«Самая увлекательная теоретическая проблема в лингвистике,— заявляет он,— это проблема открытия принципов универсальной грамматики» [1972б:59], переплетающихся с правилами конкретных грамматик, дающих объяснение явлениям, которые кажутся произвольными и хаотичными фактами, связанными с работой языковой компетенции, а соответственно, и со знанием языка, репрезентация которого выражается путем использования этого знания говорящим — слушающим в процессе речеобразования.

Таким образом, прикладной аспект лингвистических исследований, конкретные задачи построения систем искусственного интеллекта со способностью производить и понимать речь обусловили возникновение научной гипотезы о преобразовании языкового значения в звуковое выражение, теоретическое объяснение которой выливается в процедурную трактовку билатеральной, а в американской терминологии — дуалистической — природы языкового знака.

При определении специфики работы врожденного механизма, совершающего преобразование значения в звуковое выражение, представители генеративной лингвистики пришли к выводу о необходимости изучения всех разделов теории традиционного языкознания: лексикографии, лексикологии и семантики, синтаксиса и синтагматики, морфологии и парадигматики, фонологии и фонетики, стилистики и т. д.

«Нельзя не отметить,— подчеркивает Ю. А. Жлуктенко,— что анализ философских основ теории Н. Хомского затрудняется нарочитой туманностью и неясностью высказываемых им положений» [Язык и идеология 1981:43].

Эволюция теоретических основ порождающей грамматики Хомского является яркой иллюстрацией того, как идеалистические позиции тормозят решение актуальных научных задач.

Пример развития генеративной лингвистики еще раз убеждает нас в том, что эффективность научных исследований зависит от степени и характера использования в них фактического материала. Отмечая подобные ситуации в истории других отраслей науки, В. И. Ленин писал: «Пока не умели приняться за изучение фактов, всегда сочиняли а priori общие теории, всегда остававшиеся бесплодными. Метафизик-химик, не умея еще исследовать фактически химических процессов, сочинял теорию о том, что это за сила химическое сродство? Метафизик-биолог толковал о том, что такое жизнь и жизненная сила? Метафизик-психолог рассуждал о том, что такое душа? Нелеп тут был уже прием. Нельзя рассуждать о душе, не объяснив, в частности, психических процессов: прогресс тут должен состоять именно в том, чтобы бросить общие теории и философские построения... и суметь поставить на научную почву изучение фактов, характеризующих те или другие психические процессы» [т. 1:141—142].

ИНТЕРПРЕТАТИВНАЯ И ГЕНЕРАТИВНАЯ СЕМАНТИКА

60—70-е годы XX в. характеризуются повышенным интересом к вопросам лингвистической семантики вообще и семантики предложения в частности. Этот интерес вызван прежде всего неспособностью теории, опирающейся лишь на план выражения, дать адекватное описание естественного языка. Благодаря усилиям многих лингвистов разных направлений возникла новая область исследований — синтаксическая семантика, главным объектом которой стала семантическая структура предложения. Как в Советском Союзе, так и за его пределами появился ряд работ, в которых с разных исследовательских позиций освещаются проблемы семантики различных синтаксических единиц, взаимоотношений их семантической и формально-синтаксической структур, определения и уточнения предмета, задач и методов синтаксической семантики как специального раздела теории синтаксиса.

В современном зарубежном буржуазном языкознании функционирует несколько школ, исследующих синтаксическую семантику. Главные из них следующие: интерпретативная семантика (Н. Хомский, Дж. Катц, Дж. Фодор, Р. Жакеддоф и др.), генеративная семантика (Дж. МакКоли, Дж. Лакофф, Дж. Росс, Ч. Филлмор, У. Чейф, Дж. Андерсон и др.), теория валентности (Л. Теньер, Г. Бринкман, П. Гребе, К. Гегер и др.), структурно-функциональная семантика (М. Холлидей, Г. Леех, А. Рейхлинг, Е. Уленбек и др.). Предметом нашего рассмотрения являются первые две школы, возникшие в среде так называемой трансформационно-генеративной грамматики; другие школы, развивающие европейские традиции лингвистической семантики, в данной работе не анализируются.

Обе рассматриваемые школы — интерпретативная и генеративная семантика различаются собственным подходом к решению проблем синтаксической семантики (об этом речь будет идти ниже), но их объединяет то, что они возникли как реакция на крайний формализм классической трансформационно-генеративной грамматики, изложенной в одной из ранних работ Н. Хомского «Синтаксические структуры» [Chomsky 1962] ¹. О полностью формальном и несемантическом характере этой грамматики свидетельствуют хотя бы следующие изречения Хомского: «Настоящее исследование посвящено синтаксической структуре как в широком смысле (т. е. синтаксису в противоположность семантике), так и в узком (т. е. синтаксису в противоположность фонологии и морфологии). Оно является частью попытки построить формализованную общую теорию лингвистической структуры и исследовать основания такой теории» [Хомский 1962:412]. «Предполагая, что синтаксическая структура может пролить свет на проблему значения и понимания, мы вступаем на опасную почву. Не существует иного аспекта лингвистического исследования, вызывающего больше путаницы и недоразумений и более нуждающегося в ясной и тщательной формулировке, нежели проблема связи между синтаксисом и семантикой» [Хомский 1962:504]. «Много сил потрачено на то, чтобы ответить на вопрос: «Как построить грамматику, не обращаясь к значению?». Однако сам этот вопрос поставлен неправильно, поскольку подразумеваемый при этом тезис о том, что, обращаясь к значению, мы можем построить грамматику, совершенно не обоснован» [Хомский 1962:505]. «...По-видимому, только на чисто формальной основе можно получить твердую базу для создания грамматической теории» [Хомский 1962:512]. «Граматику лучше всего определять как самостоятельное исследование, не зависящее от семантики» [Хомский 1962:518]. «... Один из результатов формального изучения грамматической структуры состоит в том, что выявляется синтаксический каркас, способный подкрепить семантический анализ. При описании значения можно с успехом обращаться к этому глубинному синтаксическому каркасу, хотя систематические семантические соображения, по-видимому, бесполезны для его первоначального определения» [Хомский 1962:520].

Понятно, что такая крайне формалистическая позиция Н. Хомского, изгнавшего семантику из грамматики, не могла не вызвать критики со стороны тех ученых, которые в своих исследованиях придерживались принципа органической связи формы и содержания. В частности, голландский лингвист А. Рейхлинг, обвинив Хомского в логическом позитивизме, справедливо отмечал, что нельзя отождествлять автономность грамматики с ее независимостью от значения [Reichling 1961] ².

В более поздних работах, особенно в «Аспектах теории синтакси-

¹ Русский перевод — [Хомский 1962].

² Критика концепции Н. Хомского представлена также в работах [Halliday 1961:275; Уленбек 1968; Uhlenbeck 1971 a, b, 1972; Gray 1974; Холл, мл. 1978] и т. д.

са» [Chomsky 1965]³, Хомский вынужден был признать релевантность значения для грамматики и перестроить свою трансформационно-генеративную модель. В этой книге он, продолжая почитать язык как бесконечное множество предложений, а грамматику — как генеративный механизм, призванный описать эти предложения, предлагает новый вариант трансформационно-генеративной грамматики, названной им стандартной теорией, в которой наряду с синтаксическим и фонологическим компонентами вводится третий компонент — семантический. Ядерные конструкции имеют здесь уже глубинными структурами, а производные от них — поверхностными, полученными с помощью трансформации. Синтаксический компонент, как и раньше, «определяет бесконечное множество абстрактных формальных объектов, каждый из которых включает в себя всю информацию, существенную для одной интерпретации конкретного предложения» [Хомский 1972а:20]. Семантический и фонологический компоненты подключаются к процессу порождения предложения как своеобразные интерпретации: первый соотносит структуру, образованную синтаксическим компонентом, с определенной семантической интерпретацией, а второй придает этой структуре фонетическую репрезентацию. При этом семантическая интерпретация, наполняющая лексемы смыслом, определяется глубинной синтаксической структурой, а фонетическая — поверхностной. Это положение остается в основном неизменным и в расширенном варианте стандартной теории, описанном Н. Хомским в работе «Глубинная структура, поверхностная структура и семантическая интерпретация» [Chomsky 1971]. И здесь глубинная структура является главным источником семантической интерпретации грамматических отношений, но уже делается признание, что при анализе таких семантических явлений предложения, как актуальное членение, пресуппозиция, квантификация, модальность и т. п., необходимо учитывать и поверхностную структуру.

Схематически процесс порождения предложения по Хомскому изображается следующим образом [Dik 1969:24].

Из рис. 1 видно, что центральное положение в процессе порождения предложения в стандартной теории занимает синтаксический компонент, состоящий из базового и трансформационного компонентов. Стрелки показывают направление порождения предложения: базовый компонент (категориальные и субкатегоризационные правила и словарь)⁴ порождает абстрактную глубинную структуру,

³ Русский перевод — [Хомский 1972а].

⁴ Категориальные правила определяют грамматические функции и их порядок, например: $S \rightarrow NP \text{ Aux } VP$; $VP \rightarrow V \bar{N}P$; $NP \rightarrow \text{Det } \bar{N}$; $NP \rightarrow N$; $\text{Det} \rightarrow \text{the}$; $\text{Aux} \rightarrow M$. Правила субкатегоризации имеют следующий вид: $N \rightarrow [+N, \pm \text{Нарицательность}]$; $[+ \text{Нарицательность}] \rightarrow [\pm \text{Исчисляемость}]$; $[+ \text{Исчисляемость}] \rightarrow [\pm \text{Одушевленность}]$; $[+ \text{Одушевленность}] \rightarrow [\pm \text{Человечность}]$; $[- \text{Исчисляемость}] \rightarrow [\pm \text{Абстрактность}]$. Единицы словаря представлены фонологическими и семантическими матрицами различительных признаков, в буквенной записи их можно представить следующим образом: (sincerity, [+N, — Исчисляемость, + Абстрактность]); (boy, [+N, + Исчисляемость, + Наричательность, + Одушевленность, + Человечность]) и т. п.

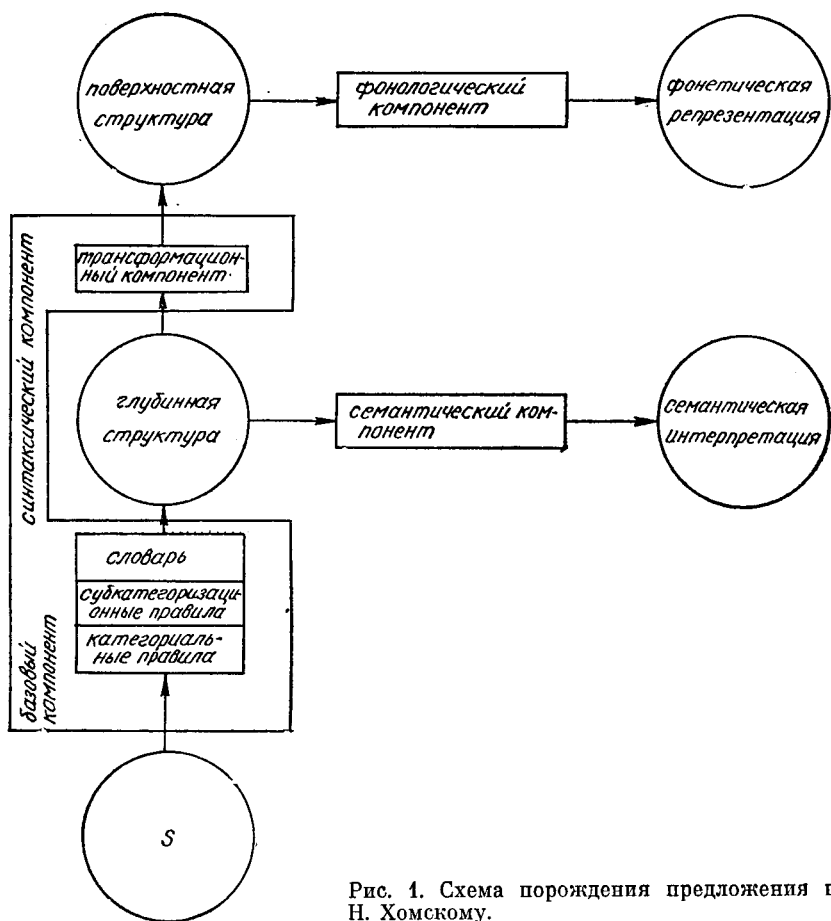


Рис. 1. Схема порождения предложения по Н. Хомскому.

которая затем получает семантическую интерпретацию⁵. Проблемы семантики при этом сводятся в основном к разработке семантических признаков типа [\pm Переходность], [\pm Абстрактный субъект], [\pm Абстрактность], [\pm Исчисляемость] и т. п. и селекционных правил, которые подключают семантические признаки к субстантивным и глагольным узлам и определяют, какие из лексических единиц

⁵ В статье «Глубинная структура, поверхностная структура и семантическая интерпретация» Н. Хомский изменил свое мнение: «Стандартная теория порождает четверку (P, s, d, S), (где P — фонетическая запись, s — поверхностная структура, d — глубинная структура, S — семантическая запись). Бесмысленно спрашивать, начинается ли процесс «сначала» порождением d... или «сначала» генерируется S... или «сначала» определяется двойка (P, d)... Нет здесь никакого общего понятия «направление воспроизведения» или «упорядочение генеративного процесса»...» [Chomsky 1975:14]. Этим признаком ослабляется центральность синтаксического компонента в трансформационной грамматике.

могут быть вставлены на их места. Что касается правил селекции, играющих периферийную роль в трансформационно-генеративной грамматике, то допускается, что их можно исключить из синтаксиса, а их функции передать семантическому компоненту. Собственно так поступают Катц, Фодор и Постал, для которых семантический компонент — это интерпретирующий механизм, характеризующийся правилами проекции [Хомский 1972а:142]. По Дж. Катцу, «семантический компонент должен состоять из двух подкомпонентов: словаря, в котором каждому слову поставлено в соответствие его семантическое представление, и системы проекционных правил, обеспечивающих объединение этих семантических представлений» [Катц 1981:34]. Результат применения словаря и проекционных правил к глубинной структуре предложения, т. е. результат работы семантического компонента, называется им семантической интерпретацией предложения.

Таким образом, в трансформационно-генеративной грамматике главное внимание уделяется порождению синтаксических структур и их фонологической интерпретации, семантика же занимает второстепенное положение. Полагая, что «синтаксическая и семантическая структура естественных языков таит в себе много загадок как в области фактов, так и принципов» [Хомский 1972а:151], и не понимая настоящего соотношения синтаксиса и семантики, трансформалисты сводят синтаксическую семантику лишь к простой интерпретации глубинных структур. Однако «если мы не знаем, чем в действительности является семантический аспект языка, то как мы можем утверждать, что синтаксический компонент грамматики имеет приоритет или выше семантического?» [Uhlenbeck 1971a:11].

Идея семантической интерпретации, ставящая семантическую структуру предложения в зависимости от формально-синтаксической, представляется необоснованной. «Скорее, наоборот, формальная синтаксическая структура, как ее вскрывает грамматический анализ, является производной от семантической структуры предложения, своего рода «синтаксической интерпретацией» глубинной семантической структуры» [Кацнельсон 1972:104—105]. Игнорируя денотативный аспект языковых единиц, недооценивая роль таких обобщенных функций синтаксических средств, как агенс, пациенс, адресат, инструмент и т. д., отражающих реальную действительность, для грамматики, представители интерпретативной семантики не поняли истинных соотношений между семантической и формально-синтаксической сторонами языка. Все это, а также «несколько мистический характер глубинной структуры Хомского» [Данеš 1975:134] заставили некоторых лингвистов отказаться от дальнейших исследований в области интерпретативной семантики и сделать семантический компонент главным объектом своего внимания.

Начиная с середины 60-х годов в рамках трансформационно-генеративной грамматики сформировалось новое направление синтаксических исследований, известное под названием «генеративная семантика». Представители этого направления (Дж. МакКоли, Ч. Филмор, Дж. Андерсон, У. Чейф и др.), ревизуя концепцию

Н. Хомского, исходят из предположения о том, что сначала порождается семантическая структура предложения, а затем ее синтаксическая репрезентация. Семантическая структура при этом связывается с денотативным аспектом предложения и анализируется в терминах предикатной логики. Типичным примером такого подхода к исследованию синтаксической семантики является так называемая падежная грамматика Ч. Филлмора [Fillmore 1968].

Филлмор начинает анализ с того, что разбивает предложение (S) на пропозицию (P) («вневременной набор отношений между глаголами и именами») и модальный комплекс (M), включающий отрицание, время, наклонение и вид: $S \rightarrow M + P$. Исследователя интересует только пропозиция, состоящая из глагольного предиката и его именных аргументов. Последние характеризуются при помощи определенного перечня семантических функций (ролей), или, по терминологии Филлмора, глубинных падежей. Эти функции (роли, падежи) он определяет, опираясь на отражаемые в языке реальные ситуации. Филлмор пишет: «Категория падежа включает набор универсальных, возможно, врожденных понятий, которые представляют собой определенные виды или типы суждений людей о событиях, происходящих вокруг них, суждений о том, кто это сделал, с кем это произошло и что от этого изменилось» [1968:24]. Абстрагируясь от экстралингвистической ситуации, можно выделить, по мнению ученого, несколько таких универсальных понятий (падежей), достаточных для описания семантической структуры предложения любого языка (Филлмор анализирует английский язык), а именно:

агентив (A) — падеж одушевленного возбудителя действия, обозначенного глаголом;

инструменталь (I) — падеж неодушевленного предмета, который время от времени подключается к действию (состоянию), обозначаемому глаголом;

датив (D) — падеж живого существа, которого касается действие (состояние), обозначаемое глаголом;

фактив (F) — падеж предмета (существа), возникающего в результате действия (состояния), выраженного глаголом, и воспринимающегося как часть значения глагола;

локатив (L) — падеж, указывающий на местонахождение или пространственную ориентацию действия (состояния), обозначенного глаголом;

объектив (O) — падеж предмета, подвергаемого действию (состоянию), обозначенному глаголом.

Объектив является семантически наиболее нейтральным падежом чего-то, что обозначается существительным, чья роль в действии (состоянии), обозначенном глаголом, определяется непосредственно значением глагола. Его не следует смешивать с прямым объектом (дополнением) и винительным падежом, принадлежащими к уровню поверхностных структур. Это предостережение следует отнести и к самому понятию падежа, которое не имеет ничего общего с понятием грамматического падежа, бытующим в традиционных грамматиках: падежи в понимании Ч. Филлмора — это функции, форми-

рующие глубинные семантические структуры, присущие синтаксису всех языков, и получающие в разных языках разное выражение (к нему-то и относятся грамматические падежи)⁶. Кроме того, падежи в понимании Филлмора нельзя смешивать с подлежащим, прямым и косвенным дополнениями — единицами поверхностной структуры. Последние выражают их, но не совпадают с ними, например, *John* является агентивом как в предложении *John* (подлежащее) *opened the door*, так и в предложении *The door was opened by John* (косвенное дополнение); *the key* является инструментом как в предложении *The key* (подлежащее) *opened the door*, так и в предложениях *John opened the door with the key* (косвенное дополнение), *John used the key* (прямое дополнение) *to open the door*; *John* является дативом как в предложении *John* (подлежащее) *believed that he would win*, так и в предложениях *We persuaded John* (прямое дополнение) *that he would win*, *It was apparent to John* (косвенное дополнение) *that he would win*; *Chicago* является локативом как в предложении *Chicago* (подлежащее) *is windy*, так и в предложении *It is windy in Chicago* (обстоятельство) и т. п.

При классификации глагольных предикатов Ч. Филлмор учитывает лексико-семантические качества глагола как части речи. По его мнению, глаголы характеризуются определенными наборами падежей, которые могут быть обязательными или факультативными. Так, английский глагол *to open* обязательно требует *объектива* (*The door opened*) и факультативно употребляется с *агентивом* (*John opened the door*) или *инструментом* (*The wind opened the door*)⁷; возможно его употребление одновременно со всеми этими падежами (*John opened the door with a chisel*). Набор из объектива, агентива и инструмента и характеризует значение глагола *to open*, глубинная семантическая структура которого может быть представлена, как [O(A) (I)].

Таким образом, классификация глаголов как предикатов зависит от того, в какие падежные конфигурации они входят. В связи с этим возникает вопрос, какой перечень падежей (функций, ролей) необходим для описания смысловой структуры предикатов. Однозначного ответа на данный вопрос в падежной грамматике нет. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что Филлмор сначала выделил пять падежей (агентив, эргатив, датив, комитатив и инструменталь) [1966:8—9], позже — шесть (агентив, инструменталь, датив, фактитив, локатив и объектив) [1968:24—25], а еще позже — восемь (агенса, контр-агенса, объекта, результата, инструмент, источник, цель и пациенс) [1969]. Более того, ученый приходит к выводу, что аргументы следует описывать на двух уровнях: падежей, представленных выше, и ролей, которые имеют место при описании

⁶ О критике терминотворчества Ч. Филлмора см.: [Андерш 1976:183].

⁷ В данном предложении, по мнению У. Чейфа (и с ним нельзя не согласиться), существительное *the wind* является скорее агентивом, чем инструментом. Это, в частности, подтверждается невозможностью конструкции *Michael opened the door with the wind — Майкл открыл дверь ветром* [Чейф 1975:128—129].

определенных типов фиксированных ситуаций и для которых в словаре существует специальное поле. Он пишет: «Я имею в виду роли покупателя, продавца, товара и средств обмена в словарном поле, которое включает глаголы buy «купить», sell «продать», pay «платить» и др., роли обвиняемого, судьи, дела, жертвы и др. в поле, включающем такие глаголы, как accuse «обвинять», criticize «критиковать», forgive «прощать», apologize «оправдываться», confess «признаваться», concede «признавать», justify «оправдывать», excuse «извинять» [1976:227]. Введение еще одного уровня ролей позволило исследователю интерпретировать определенные аргументы в качестве таких, которые выполняют одновременно две функции. Так, в выражениях с глаголом to buy имеется аргумент, которому свойственны функции агенса (на высшем уровне) и покупателя (на низшем уровне), а в выражениях с глаголом to sell — аргумент, которому свойственны функции агенса (на высшем уровне) и продавца (на низшем уровне)⁸ и т. п.

Как можно заметить, количественный и качественный составы функций (семантических ролей) в «падежной грамматике» не постоянные. Для представителей этой грамматики большую трудность представляет проблема точного определения, из чего состоит этот небольшой набор ролей, пределов и возможностей семантической интерпретации аргументов. Это и понятно, ведь они исходят не из конкретного языкового материала, а из априорных допущений о том, «что типы ролей сами по себе не поддаются анализу, что они отвечают элементарным человеческим восприятиям» и «образуют универсальный и правильно определенный набор понятий» [Fillmore 1976:227]. Материалом для исследования берется, как правило, один язык, преимущественно английский. Другие языки интересуют исследователей не столько для проверки истинности постулированных утверждений, сколько для универсализации тех или иных положений. Но если даже согласиться с допущением о том, что падежные функции отражают глубинные семантические отношения в синтаксисе, то, выйдя за пределы английского языка, можно увидеть, что предложенные Филлмором наборы падежей далеко не полные (отсутствуют, например, различные пространственные и временные функции и т. п.). Кроме того, Филлмор «не предлагает никаких лингвистических процедур идентификации падежей, ограничиваясь отсылкой к обозначаемой предложенным ситуациям» [Общее языкознание 1972:301].

Конечно, изучение семантической структуры предложения в связи с неязыковой ситуацией правомерно, если иметь в виду, что в предложении как единице языка отражаются с помощью мышления

⁸ Интерпретация определенных аргументов в качестве аргументов, выполняющих одновременно функции двух ролей, приходит в противоречие с утверждением Ч. Филлмора о том, что каждый падеж имеет одно вхождение в структуру высказывания [Fillmore 1971:39]. Кроме того, агенс таких глаголов, как to buy, to sell, соответствуя субъекту (подлежащему), не определенный в семантических терминах, утрачивает элементарность, чем нарушается замысел «падежной грамматики» [Арутюнова 1973:120].

факты объективной действительности. Такой подход не противоречит основному положению марксизма о первичности бытия и вторичности сознания. Однако при этом нельзя забывать, что отражение неязыковых фактов в естественных языках — это сложный и не всегда однозначный процесс. Именно это обстоятельство иногда не учитывается представителями генеративной семантики, в частности «падежной грамматики», в результате чего «крайне упрощается сложная связь между внеязыковой ситуацией и соответствующей ей семантической структурой, происходит отождествление экстралингвистических отношений между элементами внеязыковой ситуации и семантических отношений между компонентами предложения и, в конечном счете, отождествление смысловой структуры языка со смысловой структурой бытия» [Кубик 1977:25].

Дальнейшую разработку вопросов, связанных с проблематикой «падежной грамматики», находим, в частности, в монографии Дж. Андерсона «Грамматика падежа» [Anderson 1976]. В этой работе ученый описывает синтаксическую структуру предложения, исходя из валентного поля предиката и семантических падежей (функций). Последние понимаются им в духе локалистической теории, т. е. в связи с понятием локализации и направления действия (принимается во внимание характер участия субстантива в действии), и рассматриваются как явления глубинного синтаксиса. Положительным является то, что Андерсон использует большой фактический материал и имеет дело не с отдельными, случайно взятыми глаголами, как часто бывает в структуралистских работах, а с типичными представителями глаголов. Семантический компонент предложения анализируется в терминах трансформационно-генеративной грамматики. Опираясь на фактический материал, исследователь пытается доказать, что в основе пространственных (локатив и аблатив) и непространственных (номинатив и эргатив) падежных функций лежат определенные общие семантические понятия. Одновременно он старается универсализировать эти функции, с чем, правда, трудно согласиться, если иметь в виду разный уровень абстракции падежных отношений в одном и том же языке и возможные отличия в этом плане в различных языках (наличие или отсутствие отдельных падежей и т. п.) [Почепцов 1978:86]. Предложенный им набор падежей (номинатив, эргатив, локатив и аблатив) представляется явно недостаточным для описания семантической структуры предложения.

Цельную теорию языка, ориентированную на семантику, предложил, на наш взгляд, У. Чейф. В монографическом исследовании «Значение и структура языка» [Chafe 1971], посвященном актуальным вопросам современного языкознания, этот автор, как и другие представители генеративной семантики, заменяет глубинные синтаксические структуры Н. Хомского семантическими структурами, полагая, что последние лежат в основе образования поверхностных структур и их фонетических репрезентаций. Критикуя структурализм за пренебрежительное отношение к семантике, Чейф считает, что «без знания семантической структуры мы ничего не знаем о про-

цессах, в результате которых возникают (грамматически) правильные высказывания, так как эти процессы представляют собой процессы семантического формирования» [1975:90]. Под «семантическими единицами» он понимает «идеи или понятия», являющиеся «реальными сущностями в сознании людей» и обладающие «какой-то физической, электрохимической природой»; «посредством языка они обозначаются звуками, так что могут быть переданы из сознания одного индивидуума в сознание другого» [1975:91, 92]. Такая трактовка «семантических единиц», хотя и несколько упрощенная, в общем-то не противоречит принципам материалистического понимания значения. Процесс порождения семантической структуры связывается с процессами говорения. «Именно говорящий «порождает» сначала семантическую структуру, и именно семантическая структура определяет то, что происходит в дальнейшем» [Чейф 1975:75], т. е. формирование поверхностной структуры и ее фонетической репрезентации. (Что касается слушателя, то его роль пассивна и сводится к восстановлению того, с чего начинал говорящий, то есть данной семантической структуры.)

Учитывая однонаправленный характер превращения значения в звук, Чейф рисует гипотетически следующую картину образования (порождения) предложения: некая первоначальная область семантической структуры (конфигурация значений) подвергается воздействию постсемантических процессов (правил), превращающих семантическую структуру в поверхностную, ориентированную семантически; затем следуют процессы символизации, с помощью которых компоненты поверхностной структуры превращаются в исходные фонологические конфигурации и фонетические представления. Данная порождающая модель характеризуется процессами трех типов: формирования семантической структуры; превращения (трансформации) семантической структуры в поверхностную, а фонетической репрезентации — в фонетическую; замещения постсемантических единиц поверхностной структуры фонологическими конфигурациями.

Формированию семантической структуры предложения Чейф уделяет особое внимание. Свои рассуждения он начинает с утверждения о том, что предложение строится вокруг определенного предикативного элемента (глагола), который может сопровождаться именными аргументами (существительными). В дальнейшем Чейф отказывается от терминов «предикат» и «аргумент», предпочитая говорить о (семантическом) глаголе и (семантическом) существительном как их эквивалентах. По его мнению, семантические глаголы и существительные отражаются в синтаксических глаголах и существительных, и «нет нужды начинать с одних терминов... чтобы затем все равно переходить к другим... на пути перехода от семантической структуры к поверхностной» [1975:114]. При этом принимается, что глаголы по сравнению с существительными играют центральную роль, ибо «природа глагола определяет, что собой будет представлять остальная часть предложения: в частности, какие существительные будут глагол сопровождать, какое отношение к нему будут иметь

эти существительные и как эти существительные будут определяться в семантическом отношении» [Чейф 1975:115]. Так, глагол *laughed* в предложении *The men laughed* «требуется, чтобы его сопровождало существительное, чтобы существительное относилось к нему как агент и чтобы существительное определялось как *одушевленное*, а может быть, и как *личное*» [там же]. Сделав глагол (V) отправным пунктом для порождения предложения, Чейф, естественно, отказался от символа S, выполняющего эту роль в трансформационно-генеративной и «падежной» грамматиках (ср. процесс порождения у Хомского: $S \rightarrow NP + VP$, у Филлмора: $S \rightarrow M + P$), как избыточного.

Глаголы охватывают «состояния (положения, качества) и события», а существительные — «предметы» (имеются в виду как физические объекты, так и овеществленные абстракции). По характеру семантики различаются шесть видов глаголов (соответственно шесть видов их семантических конфигураций): 1) состояния (например, *The wood is dry*; существительное *wood* характеризуется как пациент); 2) процессы (например, *The wood dried*; существительное *wood* имеет характеристику пациента); 3) действия (например, *Harriet sang*; существительное *Harriet* характеризуется как агент); 4) процессы-действия (например, *Michael dried the wood*; существительное *Michael* имеет характеристику агента, а существительное *wood* — пациента); 5) AMBIENTНЫЕ СОСТОЯНИЯ (например, *It's hot*) и 6) AMBIENTНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (например, *It's raining*).

Подобные классификации глаголов по признаку их связи с агентом и пациентом находим в различных валентных и интенционных теориях [см., например: Tesnière 1959; Morfológia 1966:389—396] и т. д. Состояния, процессы, действия, процессы-действия, AMBIENTНЫЕ СОСТОЯНИЯ и AMBIENTНЫЕ ДЕЙСТВИЯ представляют собой избирательные единицы глагола, они же включают глагольные лексические единицы, или глагольные корни.

Существительные, как и глаголы, характеризуются избирательными единицами, которые также включают лексические единицы, или именные корни. Это существительные исчисляемые (противопоставляются собирательно-вещественным, ср. *elephant* и *wood*), потенциальные (способные быть агентом, например, *Michael opened the door*; *The heat melted the butter*), одушевленные (эта избирательная единица тесно связана с потенциальной и исчисляемой), единичные (например, Майкл, Гарриет и т. п.).

Важную роль в порождении семантической структуры играют деривационные единицы, позволяющие изменять глагольные и именные корни, превращая их в лексические единицы другого типа. Так, глаголам присущи такие деривационные единицы, как *инхоатив* (превращает глагольный корень, обозначающий состояние, в корень, обозначающий процесс, например *Michael is tired* → *Michael tires easily*), *результатив* (превращает глагольный корень, обозначающий процесс, в корень, обозначающий состояние, например *The dish broke* → *The dish is broken*), *каузатив* (превращает глагольный корень, примарно и деривационно обозначающий процесс, в корень, обозначающий как процесс, так и действие, например *The dish broke* →

Linda broke the dish; The soup is heating → Linda is heating the soup; при этом деривационно образованный глагол требует не только пациенса, но и агенса), деактиватив (превращает глагольный корень, обозначающий действие-процесс, в корень, обозначающий просто процесс, например Roger is cutting paper → The paper cuts easily), депроцессив (превращает глагольный корень, обозначающий действие-процесс, в корень, обозначающий просто действие, например Roger is cutting paper → Roger is cutting) и т. д.

К изменению именных корней приводят такие деривационные единицы, как *исчислитель* (например: I ordered three beers; здесь неисчисляемое *beer* превратилось в исчисляемое путем добавления к нему деривационной единицы *исчислитель*), *антропоморфизатор* (например, The elephant broke his leg), *феминизатор* (например, actor → actress), *вербализатор* (например, Roger watered the lawn; здесь именной корень *water* превращен в глагольный корень посредством прибавления к нему деривационной единицы *вербализатор*, имеющей значение «использовать», «применять», «употреблять»), *предикативизатор* (например, Roger is a student) и т. д.

Рассмотренные селекционные единицы глагола, во-первых, конкретизируя его семантику, ведут к появлению глагольных лексических единиц, или глагольных корней, во-вторых, требуют сопровождения глаголов существительными, с которыми их связывают отношения агенса и пациенса. Эти глагольно-именные отношения имеют важное значение для характеристики глагола как состояния, процесса, действия или действия-процесса. Но они не исчерпывают всех отношений, которые могут устанавливаться между глаголами и существительными. Поэтому У. Чейф, критически учитывая опыт Ч. Филлмора при описании глагольно-именных конфигураций, вводит несколько новых понятий для характеристики отношений существительных к глаголам, а именно:

1) *экспериментер* (тот, кто определенным образом настроен, для кого нечто желаемо и т. п., например Tom wanted a drink; Tom knew the answer; Tom liked the asparagus; в этих примерах Tom — экспериментер, wanted, knew и liked — экспериментальные глаголы-состояния, drink, answer, asparagus — существительные-пациенсы. Экспериментальными могут быть и глаголы-процессы, например Tom felt the needle, и глаголы-действия, например Harry taught Tom the answer, и глаголы — амбиентные состояния, например Tom is hot);

2) *бенефициант*⁹ (тот, кто «извлекает выгоду из того, о чем сообщается в остальной части предложения» [1975:171], например Tom has the tickets; Tom has a convertible; Tom owns a convertible; в этих примерах Tom — бенефициант, has и owns — бенефактивные глаголы-состояния, tickets и convertible — существительные-пациенсы. Бенефактивными могут быть также глаголы-процессы, например

⁹ В «надежной грамматике» Ч. Филлмора бенефицианту и экспериментеру соответствует датив. У Чейф считает, что эти отношения нельзя подводить под одно понятие [1975:171].

Tom aquired a convertible, и глаголы-действия-процессы, например Mary bought Tom a convertible. Анализируя предложения Mary bought a convertible и Mary knitted a sweater, Чейф делает вывод, что в первом из них «семантически присутствует бенефициант, тождественный агенту», а во втором — «не известно, вязала ли Мэри свитер для себя или для кого-нибудь еще» [1975:174]. Представляется, что оба этих глагола допускают наличие при них бенефицианта, но последний не обязательно должен присутствовать; фраза Mary bought a convertible, как и фраза Mary knitted a sweater, допускает смыслы «(купила) для себя» и «(купила) для кого-нибудь»);

3) *инструмент* (то, чем агент пользуется при осуществлении какого-либо действия-процесса, например Tom cut the rope with a knife. Важной характеристикой инструмента является то, что он не является «движущей силой, причиной или инициатором действия», а лишь помогает агенту в осуществлении этого действия. В поверхностной структуре экспириенсер, бенефициант и инструмент могут отражаться как субъекты (подлежащие), например Tom wanted a drink; Tom has the tickets и The knife cut the rope);

4) *дополнение* (то, что дополняет или конкретизирует значение глагола, например The children played a game (touch football); в этом предложении существительное game (touch football) дополняет глагол play. Дополнение могут иметь глаголы-действия (пример выше) и глаголы-состояния, например The candy costs ten cents. Его следует отличать от пациенса, представленного, например, существительным tickets в предложении Tom has the tickets; пациенс характеризует нечто находящееся в состоянии или изменяющее его, а дополнение представляет собой то, что создается. В поверхностных структурах многих языков дополнение и пациенс часто отражаются как объекты (грамматические дополнения). В термине «дополнение» как обозначении подобного рода существительных Чейф видит идеальное средство, хотя считает, что этим рискует внести путаницу в связи с его употреблением в другом смысле, с чем, конечно, нельзя не согласиться);

5) *местоположение* (то, что мыслится как место, необходимо связанное с состоянием, обозначенным локативным глаголом, например The knife is in the box; в этом примере глагольный корень in (в традиционной грамматике in — предлог) требует сопровождения существительного местоположения box. Существительные местоположения могут сопровождать и глаголы-несостояния, но последние в этом случае должны содержать особую деривационную единицу, именуемую *локативизатором*. Назначение локативизаторов (глагольных корней типа to, under и т. п.) — превращать глаголы-несостояния в глагольные корни состояния. Например, в предложениях Tom fell off the chair; The ship sank into the sea; Tom crawled under the table; Tom placed the book next to the telephone к глагольным корням fall, sink (процессы), crawl (действие) и place (действие-процесс) присоединяются глагольные корни-локативизаторы off, into, under, next to, что делает их деривационно производными глагольными

корнями состояния, требующими сопровождения существительных местоположения *chair, sea, table* и *telephone*).

Кроме рассмотренных выше семантических единиц, влияющих на выбор лексических единиц, Чейф выделяет флексионные единицы, которые не влияют на выбор лексических единиц, а лишь характеризуют их в различных планах. У глаголов это такие единицы, как *перфектив, прогрессив, антиципатив, прошедшее, инференциальное, облигаторное* и т. д., характеризующие глагольные корни во

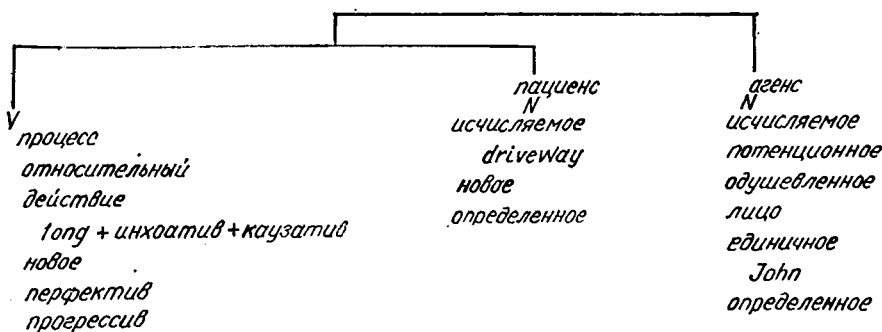


Рис. 2. Семантическая структура предложения *John has been lengthening the driveway*.

временном, модальном и других планах; у существительных это такие единицы, как *определенное, общее, совокупное, множественное, единичное, квантификатор* и т. д. В поверхностной структуре флексионные единицы представлены префиксами, суффиксами и другими средствами.

Итак, процесс порождения гипотетической семантической (глубинной) структуры предложения, по Чейфу, начинается с глагола, определяемого в терминах избирательных, лексических и флексионных единиц. Глагол диктует присутствие существительных, которые также специфицируются в терминах избирательных, лексических и флексионных единиц и характеризуются определенными семантическими отношениями к глаголу (отношениями агенса, пациенса, экспериментера, бенефицианта и т. п.). Порожденную таким образом семантическую структуру, например, английского предложения *John has been lengthening the driveway*, можно схематически представить следующим образом [1975:273] (рис. 2).

С помощью постсемантических правил (выбор субъекта, прямого и косвенного объектов, литерализация, линеаризация и т. п.) гипотетическая семантическая структура превращается в поверхностную, служащую основой символизации и применения фонологических процессов, ведущих к образованию фонетической структуры. Поверхностная структура приведенного английского предложения *John has been lengthening the driveway* может быть изображена следующим образом [1975:294] (рис. 3).

Конечно, не все в теории У. Чейфа безупречно, что отмечалось как в отечественной, так и в зарубежной лингвистической литературе. В частности, хотя Чейф постулирует ведущую роль глагола в определении глагольно-именных отношений, ему все же не удалось убедительно показать органическую связь между избирательными единицами глагола и семантическими ролями существительного; предлагаемые им наборы глагольных типов и ролей существительного сосуществуют как бы сами по себе. Этого могло и

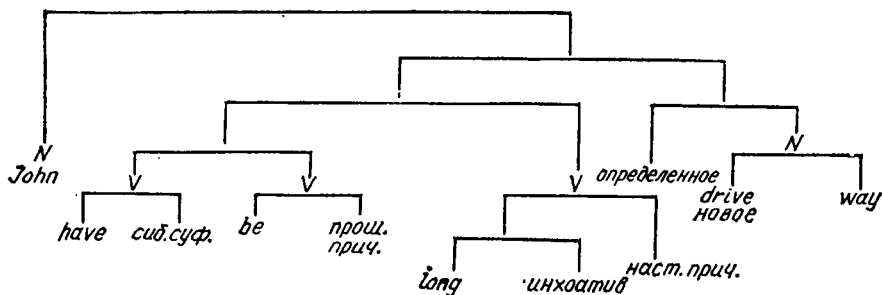


Рис. 3. Поверхностная структура предложения John has been lengthening the driveway.

не быть, если бы исследователь при классификации глаголов исходил из более конкретных семантических типов, таких, как, например, «глаголы отчуждения и присвоения предмета владения, которые необходимо предполагают наличие по меньшей мере трех аргументов: отчуждающего лица, присваивающего лица и предмета владения» [Кацнельсон 1975:423—424] и т. д. Не всегда четко у Чейфа различаются значение и референция [Uhlenbeck 1973:137—146], содержание и значение [Grice 1973:173] поверхностных языковых единиц и т. п. Некоторые из предложенных им терминов (например, «амбиентность», «экспериенцер», «инференциальное» и т. п.) неудачны и как таковые затрудняют понимание языковой действительности. Но в общем теория языка У. Чейфа, основанная на семантической структуре, выгодно отличается от теории языка Н. Хомского и его последователей, игнорирующих семантику или отводящих ей второстепенную роль. Это проявляется хотя бы в том, что Чейф старается объяснить употребление языка, в то время как Хомский, имея дело с абстракциями конструкций готовых предложений, хранящимися в языковой компетенции говорящего, резко противопоставляет язык и его употребление, т. е. речь. Если семантические структуры Чейфа органически ведут через поверхностные структуры, ориентированные семантически, к появлению реальных предложений, то глубинные и поверхностные структуры Хомского, наоборот, противопоставляют реальные предложения определенной сумме знаний о них [Русанівський 1980:7]. Сравнивая работу Чейфа с исследованиями других представителей генеративной семантики, следует подчеркнуть его внимание к семантическим различиям реальных синтаксических конструкций, стремление выявить их и

объяснить, а не затушевать и огрубить, как это часто делают иные структуралисты.

Таким образом, усиление внимания лингвистов к проблемам лингвистической семантики вообще и синтаксической в частности привело в середине 60-х годов XX в. к пересмотру классической трансформационно-генеративной грамматики. Построенная на асемантических принципах, эта грамматика была не способна объяснить, как функционируют (употребляются) естественные языки, успешно выполняющие основную общественную функцию — быть средством общения и орудием мысли. Срочно нужно было ввести в нее семантический компонент. Это понимали как ее ревностные приверженцы, так и критики, образовавшие два новых направления — «интерпретативной и генеративной семантики». Но если сторонники «интерпретативной семантики» видят в семантическом компоненте лишь простую интерпретацию глубинной структуры, ориентированной синтаксически, то представители «генеративной семантики» сделали его главным компонентом порождающей модели предложения, отождествив глубинную структуру с семантической. В «стандартной теории» Н. Хомского игнорируется роль поверхностных языковых единиц в формировании синтаксической семантики (она полностью определяется формальной глубинной структурой), в то время как в «падежной грамматике» Ч. Филлмора и особенно в теории семантической структуры У. Чейфа значения поверхностных языковых единиц (типа лексических) играют решающую роль в создании семантической структуры предложения. В этом плане оба исследователя достигли определенных результатов. Но и эти теории, ориентированные в основном на английский язык, не лишены некоторого априоризма, оторванности от фактического языкового материала, преувеличенной склонности к универсализму. Устанавливая непосредственную связь между семантической структурой предложения и структурой неязыковой ситуации, генеративисты часто отождествляют их, не видя правильных соотношений между ними. Представляется, что более интересных и убедительных результатов добиваются те лингвисты, которые в своих исследованиях при определении семантической структуры предложения исходят из анализа конкретных фактов языка, в частности из характеристики семантических отношений между компонентами синтаксической структуры.

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭКСПРЕССИВНЫХ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА

В языковой системе наряду со стилистически нейтральными единицами, ориентированными прежде всего на выражение понятийно-логического значения и способными приобретать эмотивно-образную функцию только в результате индивидуального речевого употребления, существует относительно немногочисленная группа других единиц, стилистически отмеченных в том смысле, что переда-

ча ими эмотивного или образного значения свойственна им именно как элементам системы и неизменно имеет место при их актуализации в речи. Эти единицы можно назвать системно-экспрессивными. Кроме указанного выше характера семантики, системно-экспрессивные единицы, как правило, отличаются определенной структурной аномальностью, в частности необычностью, нестандартностью своего строения. Наибольшее количество таких единиц содержится, естественно, в лексике и фразеологии. Но они наблюдаются также на фонетическом и грамматическом уровнях, причем на последнем как в морфологии, так и в синтаксисе.

В различных теоретических направлениях мировой лингвистики не существует единства во взгляде на сущность этих единиц как элементов языковой системы, на их положение в системе и взаимоотношение с ней, иначе говоря, на их системный статус. В методическом плане этим расхождениям в теоретических взглядах отвечают различия в подходах и, можно сказать, самом отношении к анализу природы и функционирования этих образований, а также расхождения во мнениях, касающихся места таких исследований в науке о языке, интеграции полученных результатов в общую систему лингвистического описания.

Это теоретическое и методическое разнообразие в значительной степени связано с различием в философских основаниях разных лингвистических направлений. Поэтому изучение методологических основ, на которые опираются в своей работе зарубежные лингвистические школы и отдельные языковеды, позволяет глубже проникнуть в сущность этой деятельности, точнее оценить научное содержание полученных результатов. Предмет данного исследования — освещение тех философских предпосылок, которые определяют подход к изучению явления системной экспрессивности в некоторых направлениях зарубежной лингвистики.

Прежде чем перейти к этой теме, следует рассмотреть вопрос о том, как, собственно, истолковывается понятие системной экспрессивности. Понятие системы в термине «системная экспрессивность» соответствует понятию «язык» в истолковании Ф. де Соссюра и противопоставлено понятию «речь, текст», а не «анти-, или несистема». Понимаемая в таком смысле система языка оказывается в различной мере систематизированной, или системной во втором значении этого слова. Разница между стилистически маркированными и стилистически нейтральными элементами языковой системы, наличие в языке системно-экспрессивных единиц и их отличие от текстуально-экспрессивных единиц нашли отражение в чешской лингвистической традиции в виде установления оппозиции собственной, или ингерентной, и контекстуальной, или адгерентной, экспрессивности. Вот как характеризует эту пару противопоставленных понятий (по отношению к лексическому уровню) Й. Зима, определение которого включено также в «Лингвистический словарь Пражской школы»: «...в лексике экспрессивность может проявляться двояким образом. С одной стороны, она может составлять часть всего значения слова; в этом случае она обычно сказывается уже на внешнем

виде слова — на его звуковом составе, на его суффиксах, — и это, как правило, вне связи с контекстом. Такую экспрессивность можно назвать собственной экспрессивностью. Однако экспрессивность может возникать также при изменении значения слов, в обычном случае нейтральных; экспрессивность этого рода может проявляться со всей ясностью только в соответствующем контексте... [Экспрессивность этого типа] можно было бы назвать контекстуальной» [Zima 1958:202—203; Вахек 1964:258].

Исходя из этого определения, можно заключить, что Й. Зима отождествляет ингерентную экспрессивность со стилистическими качествами, свойственными языковому образованию как дискретной, изолированной единице. Такими ингерентно-экспрессивными единицами языковой системы являются, например, глагольно-междометные формы в славянских языках или деминутивные формы инфинитива в украинском, белорусском и польском языках. А адгерентная экспрессивность — это стилистические характеристики, приобретаемые единицей в контексте, определенной схеме коннотации, иначе говоря, в случае переносного употребления.

Такая интерпретация оппозиции системной и речевой экспрессивности вызывает определенные оговорки. Рассматривая эту оппозицию, следует, во-первых, учитывать тот факт, что некоторые разновидности переносных значений могут, не утрачивая экспрессивных свойств, приобретать систематизированный, установившийся характер и, таким образом, входить в языковую систему, т. е. в тот инвентарь языковых единиц и способов их употребления, который составляет общее достояние большей или меньшей группы говорящих или же целого языкового коллектива. Примером подобных адгерентно-экспрессивных единиц могут служить такие литературные штампы романтической поэзии, как, например, «огонь поэзии», «луна — лампада ночи» и т. п., или же постоянные метафорические и метонимические перифразы типа *wedercandel* «солнце» (букв. «свеча погоды») или *hildelêoma* «меч» (букв. «блеск боя») в англосаксонском поэтическом койне (интересно отметить, что подобные древнеанглийские композиты допускают лексическое варьирование в составных частях при сохранении семантического инварианта внутренней формы). Ср. также известные в разных языках стабильные типы переносного употребления морфологических категорий, такие, например, как презенс в значении прошедшего или будущего, перфект в значении будущего, футурум в значении настоящего и т. д.

Во-вторых, хорошо известны случаи, когда образования, передающие экспрессивное значение самостоятельно, без помощи контекста, имеют характер окказионализмов и поэтому не могут считаться единицами обобщенной языковой системы или даже постоянными элементами идиолекта определенного говорящего. Ср. например, такие неологизмы В. Маяковского, как *розаватить* («Кровать и мечты розаватит восток») или *медноголосина* («Как взревет медноголосина...»). Легко могут образовываться окказиональные деминутивы, например, в украинском и итальянском языках, богатых уменьшительно-ласкательными суффиксами, и т. д.

Таким образом, системный или индивидуально-речевой характер экспрессивности языкового элемента представляет собой такой его признак, который не зависит от того, ингерентно- или адгерентно-экспрессивным является данный элемент. Соответственно этому стилистически отмеченные единицы языковой системы распадаются на два типа: выражающие значение самостоятельно или с помощью постоянного, систематизированного контекста.

Направлением, тесно связанным с изучением стилистических функций языковых единиц, была так называемая идеалистическая лингвистика, или идеалистическая неофилология, представленная именами Б. Кроче, Х. Хатцфельда, Л. Шпитцера, Ф. Шюрра и др. Признанным главой этого направления, именуемого также эстетической школой, был К. Фосслер [см.: *Idealistische Neuphilologie* 1922 : VII]. Хотя активная деятельность этого направления приходится на начало XX в., «рефлексы» методологических и теоретических оснований «идеалистов» до сих пор можно встретить во взглядах и практике зарубежных исследователей¹⁰.

Возникновение «идеалистической» лингвистики в значительной степени имело характер реакции на недостатки теоретической и практической деятельности младограмматической школы. В отличие от младограмматиков, искавших причины изменений языка в основном в действии звуковых законов и во влиянии аналогии, нефилологи усматривали основную движущую силу языкового развития в деятельности человеческого сознания, «духа» и обращали внимание прежде всего на роль языка в жизни человека (что, по их мнению, давало им основание истолковывать свою позицию как идеалистическую и обвинять своих оппонентов в «материализме»).

Но взгляды ученых, принадлежавших к этому направлению филологической мысли, на идеальную сторону функционирования и развития языка были далеки от правильного понимания языка как основного средства человеческого общения. Из всех разнообразных и в то же время диалектически взаимосвязанных функций, свойственных языку как коллективному способу отражения и истолкования объективной действительности, а также сообщения результатов этого истолкования одним индивидом другому с конечной задачей целенаправленного воздействия на действительность, из всей внешней сферы языкового существования внимание обращалось почти исключительно на экспрессивно-эстетическую функцию, под которой понималось прежде всего выражение иррационального, интуитивного в человеческой психике [см.: Кроче 1920:151, 168; Амирова, Ольховиков, Рождественский 1975:512].

Таким образом, недооценка прагматической (более конкретно-экспрессивной) стороны языкового знака и языка в целом перешла в доктрине «идеалистической» лингвистики в ее переоценку, тогда

¹⁰ Следует отметить, что направлением, в методологическом и теоретическом отношении близким к нефилологии и в то же время отмежевывавшимся от нее, была итальянская неолингвистика [см.: *Язык и идеология* 1981: 104—105].

как роль когнитивной (экспликативной) функции языка приуменьшалась или же вообще игнорировалась. Чувственное, дологическое отражение и его выражение в языке рассматривалось не как необходимая ступень на пути к логическому осмыслению действительности, а как центральный элемент «теоретической» деятельности человеческого сознания и как основной, наиболее существенный компонент семантики языковых единиц. Между тем, как справедливо замечает О. С. Ахманова, «...для марксистского языкознания «стилистические моменты» представляют собой известное «дополнение», своего рода «обертон», накладывающийся на значение, на смысловое содержание данного языкового средства» [1957:238]. Но отрицание логического характера языка было лишь проявлением последовательности «идеалистов» в отрицании значимости языка как средства целенаправленной коммуникации, подчиненной отражению действительности и ее изменению, которые, конечно, невозможны без более или менее объективного моделирования этой действительности при помощи языка. Как же может существовать человеческое общество без этой поддержки со стороны языка и как может язык как постоянное человеческого общества не быть коммуникативно ориентированным? Тем не менее даже выразительная функция языка, как ее понимают нефилологи, не имеет никакого отношения к человеческому общению; она является самоцелью, самодовлеющей вещью в себе, так что деятельность языка по выражению эстетического, чувственного содержания человеческой психики замыкается сознанием говорящего и не направлена за его пределы. Роль языкового коллектива состоит только в механическом усвоении результатов языкового творчества наиболее одаренных индивидов. Таким образом, идеальная сторона языка, согласно взглядам ученых этого направления, реально существует не как отражение объективной действительности, пропущенной через призму человеческого мировосприятия, а как выражение эстетических, интуитивных переживаний говорящего, изолированного от языкового коллектива и независимого от него. В свете сказанного ясно, что эта школа действительно идеалистическая в философском значении слова или, еще точнее, субъективно-идеалистическая.

Значительное влияние на выработку этой методологической позиции имело учение итальянского лингвиста, литературоведа и философа — неогегельянца Б. Кроче. Необходимо отметить, что лингвистом этого ученого можно считать только как философа языка, поскольку языку принадлежит одно из центральных мест в его эстетико-философской концепции. Так, Кроче указывал, что «...наука об искусстве и наука об языке, эстетика и лингвистика, будучи взяты в их подлинном научном значении, суть уже не две отдельные науки, а одна и та же научная дисциплина. Не то, чтобы существовала еще какая-нибудь специальная лингвистика; искомая лингвистическая наука — общая лингвистика, в том, что в ней сводится к философии, и есть не что иное, как эстетика. Кто занят разработкой общей лингвистики, работает над эстетическими проблемами, и наоборот. Философия языка и философия искусства суть одно и

то же» [Кроче 1920:160]; «...язык — это первичное проявление духа, и эстетическая форма есть не что иное, как сам язык, взятый целиком в его действительной протяженности и научном отражении...» (там же: VIII). Эстетико-интуитивная деятельность духа в концепции Кроче совершенно лишена общественной значимости и даже не требует материальной формы выражения: «Полный процесс эстетического творчества можно символически представить в виде четырех следующих стадий: а) впечатление; б) выражение, или духовный эстетический синтез; в) гедонистический аккомпанемент, или наслаждение прекрасным (эстетическое наслаждение); г) перевод эстетического факта на язык физических явлений (звуков, тонов, движений, комбинаций из линий и цветов и т. п.). Каждому ясно, что существенным пунктом, который только и является действительно эстетическим и подлинно реальным, может быть признан лишь пункт б)...» [там же: 109].

Таким образом, для Кроче и его последователей глубоко чуждым остается марксистское представление о языке как непосредственной действительности мысли, положение марксизма-ленинизма о том, что «язык так же древен, как и сознание; язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее и для меня самого, действительное сознание и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми» (Маркс, Энгельс, т. 3:29). Пренебрегая тем, что в языке является общим и логическим, и пренебрегая вниманием лишь то, что является индивидуальным и эстетическим, нефилологи приходят к такой лингвистической концепции, которую можно назвать языковым солипсизмом: они фактически отрицают реальность существования общенационального языка, диалектов, наречий и т. д., считая, что языков столько, сколько говорящих [Vossler 1925:6—23; Йордан 1971:132, 154]. Это непонимание диалектики соотношения индивидуального и общего в языке не просто логическая ошибка, оно является закономерным следствием методологической позиции исследователей, принадлежащих к данному направлению. Наличие реальных расхождений между идиолектами отдельных носителей языка (к этому следует добавить то, что язык индивида также не представляет однородного с точки зрения стилистики явления, так как в разных ситуациях говорящий использует разные стили; ср. [Ельмслев 1960:369—372]) абсолютизируется, получая субъективно-идеалистическое истолкование. Выработке данной позиции содействовал и выбор конкретного языкового материала для исследования. Объектом исследования нефилологов были, как правило, беллетристические произведения художественной литературы, в которых экспрессивно-эстетическая функция языка проявляется, разумеется, с наибольшей полнотой¹¹. Ведь каждый писа-

¹¹ Вообще для многих зарубежных исследователей стилистика остается прежде всего стилистикой художественной литературы, причем даже тогда, когда лингвист изучает стилистические ресурсы языка в целом. [Marouzeau 1950; Wartburg, Ullmann 1963:218—232]. В этом случае часто не проводится достаточно четкого разграничения (которое иногда может быть затрунди-

тель, как справедливо замечает в этой связи Й. Йордан, стремится к оригинальности и в плане выражения [1971:183]. Тем не менее в стремлении выработать собственный стиль, индивидуально неповторимый художественный язык писатель опирается на общенациональный язык. Как указывает В. В. Виноградов, «в художественной литературе общенародный, национальный язык со всем своим богатством и разнообразием своего лексического состава используется как средство и как форма художественного творчества. Иначе говоря, все элементы, все качества и особенности общенародного языка, в том числе и его грамматический строй, его словарь, система его значений, его семантика, служат здесь средством художественно обобщенного воспроизведения и освещения общественной действительности» [1951]. В то же время, как обоснованно замечает Йордан, тенденция, которую можно назвать эстетической, значительно проявляется и в обыденной речи, сказываясь в выборе сильных выразительных средств, употреблении стилистических оборотов и т. д. [1971:180].

С упомнутой выше неверной позицией связана другая, также методологически обусловленная ошибка идеалистической школы: вследствие непонимания роли языка в практической деятельности человеческого коллектива, а отсюда и его общественной природы нефилологи не проводили различия между тем, что в языке есть сущность, и тем, что есть явление, или же, пользуясь введенными Ф. де Соссюром терминами, между языком и речью. Как указывается в специальной литературе [Stankiewicz 1964:241—242; Heinz 1979:13], нефилологи интересовались прежде всего речью, ее бесконечной контекстуально обусловленной вариативностью, не обращая достаточного внимания на те характеристики языковых единиц, которые, несмотря на эту вариативность, остаются постоянными, неизменными, т. е., иначе говоря, на наиболее существенные, инвариантные черты языковых элементов. Кроме того, пренебрежение различием языка и речи вело к тому, что анализ стилистико-эстетических свойств единиц языка оставлял невыясненным вопрос о том, что в этих характеристиках обусловлено собственными, свойственными единицам качествами, а что представляет собой результат влияния контекста, языкового и внеязыкового.

Этот же недостаток свойствен и более современным зарубежным стилистическим исследованиям. В качестве примера можно привести те многочисленные виды и особенно подвиды значения категории эмфатического утверждения в английском языке (*I do know...*), которые выделяет М. Чарлстон [Charleston 1960:71—73], не проводя необходимой границы между собственным содержанием этой категории, иначе говоря, ее семантическим инвариантом, и теми элементами ее значения, которые являются результатом «мнимого» (по

тельным вследствие своей относительности) между тем, что в художественном тексте принадлежит к общезыковому инвентарю экспрессивных средств, и тем, что, хотя и соответствует структурным тенденциям языка, в то же время является индивидуально-авторским употреблением.

Е. Куриловичу) влияния конкретного контекста ее употребления или же вообще относятся не к ней, а к этому контексту.

Не обращая внимания на реальность существования языковой системы, основы языковой деятельности коллектива, «идеалисты» не учитывали и стилистическую дифференциацию этой системы, наличие в языке единиц, на уровне системы ориентированных на определенные стилистические функции, хотя, как справедливо указывает Э. Станкевич, экспрессивные ресурсы сообщения следует отличать от экспрессивных средств кода, даже если они взаимодействуют как в синхронном, так и в диахронном аспекте [Stankiewicz 1964:242]. Неразличение этих двух измерений языковой экспрессивности не позволяло выделить системно-экспрессивные единицы, явление системной экспрессивности как отдельный, самостоятельный объект языковедческого исследования (ср. замечание П. Балли: «Все же хотелось бы иметь возможность обратиться к бесспорным случаям эмоциональной интенсивности; к сожалению, они еще пока для нас не доступны» [1961:205]).

Не обращая внимания на существование различных стилистических средств в самой языковой системе и современная исследовательница Б. Грей, которая, впрочем, приходит к отрицанию наличия языкового стиля вообще, как в языке, так и в речи, приписывая экспрессивные качества лишь фонационным и другим паралингвистическим особенностям непосредственного устного общения [Gau 1969; Родзевич 1976:217—227].

Еще одним недостатком «идеалистической» лингвистики, препятствовавшим выработке адекватного подхода к системной экспрессивности, была интерпретация стилистики как «контрграмматики». (Интересно, что понятие и термин «контрграмматика» появляются в трудах представителей генеративного языкознания в связи с проблемой так называемых полупредложений, или, в более традиционной терминологии, с фигуративным употреблением [Katz 1964; Thorpe 1977:186]. Так, Дж. Катц считает, что задачей лингвиста является, кроме создания грамматики, порождающей и интерпретирующей все правильные предложения языка и только такие предложения, еще и построение «контрграмматики», которая должна генерировать и интерпретировать все «полупредложения» этого языка). Согласно этой интерпретации, «логические» языковые формы истолковывались как грамматические, или нормативные, элементы, которые постоянно повторяются и могут быть предсказаны; эти формы составляют предмет грамматики, рассматривавшейся в качестве второстепенной дисциплины; «стилистические», или «аффективные», формы трактовались как внеграмматические, как результат индивидуального и непредсказуемого нарушения языковой нормы, никоим образом с этой нормой не связанного и зависящего лишь от субъективного намерения говорящего [Vossler 1904:15—16, 38; Vossler 1905:24; Spitzer 1943:260; Винокур 1957:63—70].

Подобная точка зрения на стилистическое употребление встречается в более позднее время у зарубежных лингвистов, в целом далеких от неофилологического направления. Так, голландский

лингвист П. Эрадес, рассматривая факторы, обуславливающие аффективно (не строго логически) мотивированное употребление местоимений *he*, *she* и *it* в английском языке, указывает, что эти факторы являются индивидуальными, изменчивыми, часто непредсказуемыми и совершенно внешними по отношению к языку. Чешский языковед Й. Вахек, выступивший с критикой этих положений Эрадеса, указал на существование определенных обобщенных тенденций инвариантного характера, свойственных эмотивному использованию этих местоимений и проявляющихся в различных случаях индивидуального употребления: например, если речь идет о неодушевленных предметах, то местоимение *she* используется для выражения позитивно окрашенного эмоционального отношения к референту, а местоимение *he*, наоборот, обозначает референт как нечто большое, сильное, нежелательное, вообще, как нечто неприятное [Vachek 1976:386—389].

Вполне очевидна связь между подобной концепцией «идеалистов» и их верой в алогическую сущность языка, в то, что он является прежде всего средством выражения иррационального, интуитивного в сознании человека, в незначительный вес коммуникативной и логической функций языка. Неоправданно также представление о мертвой неподвижности, окаменелости логической, грамматической стороны языка и полной произвольности стилистических явлений, а также о полном отсутствии каких-либо связей между этими двумя важными аспектами языка, проявляющихся как в структуре языка, так и в его функционировании.

Следует подчеркнуть, что такой агностический подход оборачивается прежде всего против самой стилистики, вообще против языкознания как науки, так как утверждение о полной непредвидимости и непредсказуемости стилистических явлений гождественно утверждениям об отсутствии каких-либо закономерностей в предмете стилистики. В частности, он препятствует изучению системного статуса экспрессивных единиц языка, их связей с системой, их внутрисистемной обусловленности, соответствия конкретному характеру языковой структуры и тенденциям ее развития, ее наиболее существенным характеристикам, словом, изучению того, в чем проявляется языковая обусловленность системно-экспрессивных элементов.

Подобная точка зрения вызвала в мировой лингвистике вполне оправданную критику. Так, Э. Косериу, который, правда, впадает в противоположную крайность, отрицая наличие какой-либо стилистической дифференциации в языковой системе, вполне прав, говоря о тщетности попыток отграничения объекта стилистики от объекта грамматики в плоскости абстрактного языка, тщетности, обусловленной тем, что все языковые элементы являются грамматическими, если их рассматривать с точки зрения грамматики [Косериу, 1963: 255, 259].

С мыслью Э. Косериу перекликается мнение Л. Ельмслева, отмечающего в одной из своих догроссематических работ: «Если встать на точку зрения грамматики, то грамматический подход ко всем,

в том числе и аффективным, элементом языка является вполне оправданным. Таким образом, оказывается, что стилистика и грамматика занимаются двумя различными сторонами одного и того же объекта. Если грамматические факты не могут быть вполне лишены стилистического истолкования, то вполне верно и обратное. Можно определить грамматическую форму таким образом, чтобы определение учитывало стилистические и аффективные моменты» [Hjelm-slev 1928:301]. И кроме того, «по нашему мнению, существует опасность в априорном установлении различия между грамматическими элементами, с одной стороны, и некоторыми другими элементами, называемыми внеграмматическими, с другой стороны, между логическим языком и языком аффективным. Элементы, именуемые внеграмматическими или же аффективными, могут в действительности подчиняться воздействию грамматических правил, частично, возможно, таких грамматических правил, которые еще не удалось установить» [там же: 240].

Итак, несмотря на известный положительный вклад, внесенный психолингвистической школой в развитие мирового языкознания [Звегишцев 1956 : 26; Stankiewicz 1964 : 241], неверные методологические предпосылки этой школы отрицательным образом сказались на изучении явления системной экспрессивности.

Что же касается Ельмслева, то его собственную позицию в этом вопросе нельзя назвать конструктивной. В глоссематической модели в качестве стилистического компонента можно интерпретировать так называемый коннотативный язык, т. е. семиотическую систему, планом выражения которой является денотативный язык. Основу коннотативного языка составляет языковая гетерогенность, т. е. использование говорящими не одной, а нескольких языковых систем, к которым относятся: различные стилистические формы (проза, стихи); различные стили (творческий, нормальный, архаический); опеночные стили (высокий, средний, низкий); различные каналы коммуникации (устная и письменная речь, жесты, сигнальные коды); различие эмоциональных тонов; различные идиомы, в их числе различные говоры, национальные и региональные языки, индивидуальные особенности речи. Результатом сосуществования этих систем является наличие единиц, функционально равноценных, т. е. синонимичных (в широком смысле слова) в денотативном плане, но различающихся своими коннотациями [Ельмслев 1960:368—373].

Иерархическое строение этой модели Ельмслева правильно отражает действительную иерархию семиотических функций языковых знаков, поскольку центральное место в этой модели занимает денотативный, т. е. обыкновенный, язык, ориентированный на когнитивную (экспликативную) функцию, по отношению к которой прагматические функции имеют вторичный, или, по О. С. Ахмазовой, метасемиотический, характер.

В этой связи Ахмазова отмечает, что когда коннотация облекается планом содержания денотативного языка в целом, утрачивается важнейшее различие между стилистикой языка и стилистикой речи,

так что последняя совершенно растворяется в первой [О принципах 1966:177].

Кроме того, при таком подходе то, что именуется денотативным языком, приобретает весьма отвлеченный характер, представляя собой, собственно, некий абстрактный общий компонент пересекающихся семиотических систем, их денотативный инвариант. Сами же коннотативные свойства этих сосуществующих систем и соотношения этих свойств предстают в застывшем, статическом виде. Между тем положение о том, что денотативный язык служит основой выявления коннотаций, следует истолковывать более конкретно, причем в динамическом плане. Динамическим процессом, в результате которого языковой знак приобретает коннотативную функцию, является транспозиция. Образцом подобного стилистического использования денотативного знака может быть переносное (систематизированное или индивидуальное) использование словесных знаков с чисто денотативной первичной функцией (например, слово *осел* в значении «глухой упрямец»). Ср. также явление стилевой транспозиции, т. е. стилистически мотивированное использование единицы, характерной для одного языкового стиля, в другом (например, употребление Т. Г. Шевченко элементов «высокого» стиля в сатирическом стихотворении: «Умре муж велій в власяниці. Не плачте, сироти, вдовиці, А ти, Аскоченський, восплач Воутріє во тяжкий глас»).

В таких случаях языковая единица приобретает или же изменяет коннотативную окраску. В то же время следует отметить, что транспозиция языковых элементов не является единственным средством придания им экспрессивности. В этом плане следует упомянуть введенное А. Марти разграничение эмотивного и эмоционального планов языка [Marty 1908:275, 362]. Это разграничение состоит в том, что эмотивному плану, который находит проявление в употреблении условных знаков языка и мотивирован со стороны языка, противопоставляется эмоциональный план, состоящий в непосредственном, естественно обусловленном выражении аффективности и проявляющийся в мотивированных формах симптоматического характера, находящихся в прямой связи с психикой говорящего, таких, например, как аффективное увеличение количества звука (тр-р-рагедия!) [ср.: Havers 1931:156—157] и т. п. В последнем случае денотативный язык служит просто фонетическим субстратом, на котором выявляются симптоматические особенности эмоциональной речи.

В специальной литературе отмечается, что некоторые параллели рассматриваемой концепции Л. Ельмслева существуют в древнеиндийской поэтике [Гринцер 1977:21—23]. Впрочем, мысль о том, что язык есть форма выражения художественного содержания, в конечном итоге не нова для филологии, она содержится и в приведенном выше высказывании В. В. Виноградова.

Все, что было сказано о стилистическом аспекте модели Ельмслева, имеет отношение к синхронному аспекту языка. Но положение о том, что денотативный язык является планом выражения стилистики, может быть истолковано и в применении к диахроническому аспекту. Действительно, распространена ситуация, когда стилисти-

чески нейтральный элемент, который устарел и выходит из языковой системы, приобретает определенную стилистическую ценность и продолжает существовать в языке в качестве специфической экспрессивной единицы, при этом не обязательно имеющей статус архаизма. Ср., например, славянизмы с их поэтической коннотацией или же формы, аморничные императиву («а он и скажи»), которые, согласно гипотезе А. И. Стендер-Петерсена, возникли вследствие семантического влияния со стороны императива в процессе отмирания категории аориста в русском языке. Тем не менее источник возникновения экспрессивных единиц языковой системы и в диахроническом плане не сводится к элементам денотативного языка. Например, экспрессивность глагольно-междометных форм в славянских языках состоит в генетически свойственном им иконическом выражении, т. е. в непосредственном изображении кратко, внезапного действия [Срмоленко 1979:29—31]. Есть основания полагать, что аналитические аффирмативные формы настоящего и прошедшего времени неопределенного вида активного залога, которые в современном английском языке представляют собой категорию эмфатического утверждения, а ранее являлись стилистически нейтральным альтернативом аналогичных, также стилистически нейтральных, но синтетических форм, получили стилистическое переосмысление не только потому, что языковой знак с расчлененным, аналитическим строением выражает соответствующее значение более эксплицитно и поэтому более выразительно, подчеркнуто, но также потому, что аналитическая структура словоформы представляет собой фонетический субстрат, способствующий реализации эмфатической интонации — явления эмоционального плача.

Кроме того, в более общем плане необходимо указать на то, что модель Ельмслева подчеркивает в первую очередь наличие стилистических различий при денотативном единстве, синонимическую соотношенность как основу стилистической вариативности и оставляет без должного внимания те позитивные свойства, какие придают синонимичным единицам качественную стилистическую определенность. Однако при переносном употреблении отнюдь не всегда можно сопоставить новое, переносное значение со значением иной, стилистически нейтральной единицы. Оставляя в стороне случаи, когда в результате переноса значения название получает объект, который ранее не имел его (ср. укр. *журавель*: 1) название птицы; 2) производное значение: «приспособление для подъема тяжестей»), укажем на художественные метафоры типа горьковского «море — смелость», целью которых является выражение синкретического образа, представления, а не строго понятийного содержания, по причине чего смысл таких метафор практически нельзя передать «другими словами». Таким образом, эта модель не является эвристически вполне адекватной, поскольку не ориентирует исследователя на выяснение конкретных прагматических качеств того или иного языкового средства, которые лежат в основе его стилистически значимого выбора, не акцентирует необходимость выяснения тех разнообразных конкретных причин и условий, связанных со стихией живого языкового

функционирования, которые обуславливают наличие у языкового средства тех или иных прагматических свойств. В этой связи отметим, что, как на это указывают исследователи, Ельмслев оставляет без внимания различие в характере связи между планом выражения и планом содержания в коннотативном языке, где эта связь всегда каузальна, и в денотативном языке, где она не мотивирована с логической точки зрения [Siertsema 1965:268]. Глоссематическая концепция не без основания указывает на возможность выбора между равнозначными языковыми единицами как на важную предпосылку исполнения языком экспрессивной функции, но оставляет без надлежащего ответа вопрос о том, благодаря чему возможно явление синонимии и в чем состоит собственно языковая обусловленность стилистических различий равнозначных единиц. На этот вопрос можно ответить, лишь рассматривая язык как динамический социальный феномен, причем не только в историческом, но и в чисто синхроническом плане. Такой взгляд на язык, как известно, глоссематике не свойствен.

Источник представления глоссематической школы о том, как соотносятся стилистика и система языка, следует искать в основном теоретическом тезисе этой школы о будто бы полностью формальной сущности языка и абсолютной независимости формы в языке от оформляемой ею субстанции как в плане выражения, так и в плане содержания. Как указывает А. С. Мельничук, «...положение о том, что язык есть форма, а не субстанция, и связанное с ним утверждение о ведущей роли отношений в структуре языка представляют собой ярко выраженное проявление философского идеализма в языкознании, сводящего лингвистическую теорию к бесплодному фантазированию» [Мельничук 1977:141—142]. Алгебраическая интерпретация языка как системы чистых (бескачественных) отношений выводит язык за рамки его реального существования, в частности его существования как динамического, подвижного явления, с одной стороны, и как средства целенаправленной коммуникации, ориентированного на отражение и истолкование действительности,— с другой.

Вообще, если нефилологи в поисках сущности языка обращались прежде всего к отклонениям от общезыковой нормы, так что проблема этих отклонений приобретала гипертрофированные размеры и заслоняла то, что в языке является инвариантным и константным и, собственно говоря, основой стилистических отклонений, то в лингвистическом структурализме, особенно в его крайних проявлениях, таких, как американский дескриптивизм, сложилась прямо противоположная ситуация. Здесь внимание обращалось прежде всего на языковые инварианты и отношения между ними. При этом стремление к логической последовательности, эксплицитности, точности, математической строгости изложения, непротиворечивости построений приводило к тому, что моделирование языковых структур стало осуществляться по образцу того, как моделируются объекты в естественных и точных науках. Так, видный представитель аме-

риканского структурализма М. Джуз считал возможным рассматривать лингвистику как отрасль дискретной математики [Joos 1967]. Из этого можно сделать вывод, будто у языковедения и математики тождественный предмет. Разумеется, в языке имеется своя формальная, количественная сторона, поддающаяся математическому описанию. Но язык, при всей важности этого аспекта, не сводится к нему одному, он обладает еще качественной спецификой, тем, что, собственно, делает его языком и составляет предмет языковедения; кроме того, поскольку язык представляет собой единство дискретного и непрерывного, в лингвистическом моделировании могут найти применение и методы недискретной математики (см., например, работы Р. Г. Пиотровского и его школы). Ср. также физические термины, использованные в концепции языка, выдвинутой Ч. Хоккетом: «язык как поле, волна и частица». Таким образом, понятие строгости и точности ориентировалось на естественнонаучные, математические и логико-математические стандарты. При этом не обращалось надлежащего внимания на сущность языка, на специфический характер языка как сложной, противоречивой динамической системы, на различные степень и характер системности его элементов, одновременное наличие в языке разных, иногда противоположных, структурных тенденций и т. д., а также на функциональную многоплановость языка (последнее обстоятельство в своей крайней форме выливалось во взгляд на семантику языковых единиц как на внеязыковой и внематематический феномен). Игнорирование экстремистскими представителями и течениями структурализма особой системности языка, специфически свойственной ему как средству коммуникативно ориентированного отражения действительности, вполне естественно связывалось в дескриптивизме с положением о том, что язык как теоретический конструкт, который возникает в результате лингвистического анализа,— это феномен конвенционалистского плана, а логическая система, применяемая к описанию языка, зависит только и исключительно от точки зрения лингвиста, но не от онтологических особенностей объекта. Субъективно-идеалистическое сведение объекта лишь к его проявлению, отрицание наличия у него объективной сущности приводили к тому, что противопоставление текста и системы как явления и сущности в языке отбрасывалось; оставалось идеалистическое прагматическое понимание исследовательской деятельности как зависимых от субъективной позиции лингвиста анализа и организации дискретных языковых инвариантов [Белый 1977].

Ошибочное представление о точности лингвистического описания, связанное с неверным пониманием системности в языке, имело негативные последствия для надлежащего изучения стилистических единиц в языке, в частности для исследования проблемы системно-экспрессивных элементов, которым, как отмечалось, в отличие от стилистически нейтральных элементов соответствующего уровня или подсистемы свойственна определенная структурная аномальность (как формальная, так и семантическая). Так, М. Джуз в упомянутой выше работе указывал, что эмотивные элементы речи, которые не

могут быть описаны конечным числом абсолютных категорий, являются внеязыковыми элементами реального мира; они оказываются слишком смутными, неуловимыми, переменчивыми, чтобы терпеть их в лингвистике. Удачно заметил по этому поводу Р. О. Якобсон: «Джуз — большой мастер редукции, т. е. исключения избыточных элементов; однако его настойчивое требование «изгнать» эмоциональные элементы из лингвистики ведет к радикальной редукции — к «*reductio ad absurdum*» [1975:197].

Таким образом, в среде западных языковедов структуралистической ориентации можно также найти и отрицание подобного неадекватного подхода к языку. Например, Э. Станкевич обоснованно указывает: «В той мере, в какой лингвисты настаивают на решениях типа «да/нет» или на редукции всех элементов языка к одному когнитивному уровню, они неизбежно вынуждены или игнорировать явления, не соответствующие их конструкциям, или же втискивать такие факты в априорные схемы» [Stankiewicz 1964:241]. Например, рассматривая глагольно-междометные формы, или, как он их обозначает, звуковые жесты (*хлоп, шлеп*), в русском языке, А. В. Исаченко, хотя и признавал, что эти образования находятся на периферии глагольной системы, с которой они объединены лишь наличием глагольных пар типа *хлопать // хлопнуть*, все же делал вывод: «Строго говоря, им нет места в морфологии глагола» [1957:14]. Такое решение представляется неоправданно строгим. При всех своих иконических (звукосимволических) и аффективных свойствах данные образования объединяются регулярной деривационной связью с однокоренными глаголами на *-нуть*, обозначающими внезапное, быстрое действие. Кроме того, как отмечает Е. Н. Прокопович, о связи глагольно-междометных форм с морфологической системой свидетельствуют способность выступать в предложении в роли сказуемого, а также типичная для глагола способность к управлению зависимыми словами [Прокопович 1969:32; см. также Реформатский 1963; Ермоленко 1979:29—31].

Что же касается коннотированных системно-экспрессивных единиц, то здесь, с одной стороны, слишком прямолинейное, механическое понимание семантического инварианта приводило к тому, что переносные значения полностью выносились за пределы этого инварианта [Докулил 1967:14—15]. С другой стороны, выступает стремление структуралистического течения, представленного Г. Гийомом и его последователями, установить связь инвариантного значения единицы со всеми случаями ее употребления путем сведения контекстуальной вариативности значения лишь к такой ее разновидности, которая обусловлена «мнимым» (по Е. Куриловичу) влиянием контекста (колебание в пределах исходного значения) без учета различия между прямым и переносным употреблением [Leçons 1971:77—79; Hirtle 1975]. При этом не учитывается тот факт, что к установлению инвариантных отношений в системе значений языковой единицы следует подходить не статически и метафизически, рассматривая эту систему как пучок дискретных, ничем между собой не связанных значений, существующих в плоскости абстрактного

языка, создаваемого путем лингвистической рефлексии, а динамически и диалектически, принимая во внимание как возможные резкие изменения денотативной отнесенности единицы, возникающие под влиянием контекста, так и зависимость нового, переносного содержания единицы от ее исходной семантики, ее, так сказать, исходного семантического принципа. Есть основания полагать, что следствием именно такого метафизического подхода к полисемантической языковой категории является, например, давно существующая интерпретация способности презенса к транспозиции в другие темпоральные планы как результата вневременного характера его семантики.

В цитированном выше докладе «Проблемы эмотивного языка», подготовленном для Конференции по вопросам паралингвистики и кинесики, которая состоялась в 1962 г. в Блумингтоне (США), Станкевич заметил: «Несмотря на то, что экспрессивные единицы являются, в общем случае, менее четко определенными, чем когнитивные элементы, было бы неправильно думать, что они представляют собой бесформенный подземный поток, скрывающийся под структурой языка» [Stankiewicz 1964:247]. А в выступлении, открывшем дискуссию по этому докладу, он сказал: «...следует признать, что языковой статус некоторых явлений, сигнализирующих об эмоциях, трудно установить, поскольку эти явления не поддаются систематизации того вида, к какому привыкли лингвисты, и, кроме того, нелегко установить их соотношение с другими элементами. Тем не менее, я не вижу причин, почему мы должны сопротивляться признанию существования (в языке.— С. Е.) размытой периферии. Действительно, в последние годы имели место успешные попытки описать эту периферию более последовательно, но в то же время и в несколько других терминах, чем когнитивные, или дискретные, элементы языка» [там же:267]. Трудно судить, были ли известны Стапкевичу работы советских и чешских лингвистов, в которых понятие периферии (и противопоставленное ему понятие центра) нашло применение для отражения одной из неотъемлемых, универсальных характеристик системы языка вообще и ее отдельных подсистем в частности и которые содержат перспективные средства подхода к изучению системного статуса экспрессивных единиц языковой структуры, их взаимоотношений с этой структурой, структурной обусловленности их экспрессивного характера и т. д. именно путем истолкования этих единиц как элементов языковой периферии, противопоставленной центру [Гухман 1962; Адмони 1964:47—51; Гухман 1968:172—174; Журинский 1971; Живов, Успенский 1973; Daneš 1966; Neustupný 1966; Vachek 1966].

В предисловии ко второму выпуску «Пражских лингвистических трудов», специально посвященному проблемам центра и периферии языковой системы, теоретическая позиция Пражской школы относительно данной проблематики характеризуется следующим образом: «...язык, понимаемый как движущаяся система, которая благодаря этому самому никогда не есть полностью сбалансированной и в которой на любом этапе ее развития и на любом уровне проявляется,

с большей или меньшей отчетливостью, определенное различие между центральными и периферийными элементами» [Travaux 1966:5].

Чешскими языковедами разработаны критерии, позволяющие указать, куда, к центру или периферии соответствующей системы, тяготеет данный элемент. Первый из этих критериев учитывает степень интегрированности элемента в сетку отношений, свойственных его подсистеме; в нем нашло отражение положение А. Мартине о существовании в языке фонем, полностью, частично и совсем не интегрированных в фонологическую систему [1960 6:115—117]. Другим подходом к этому критерию является характеристика элемента со стороны того, как представлен в нем набор черт, свойственный его подсистеме в целом, и свойственны ли ему признаки, характерные какой-либо другой подсистеме. При этом учитываются и отношения, в том числе иерархические, существующие между признаками подсистемы, в которую входит элемент, более или менее существенная роль каждого из этих признаков. Данный критерий обращает внимание исследователя на то, что совокупность черт, свойственных какой-либо категории языковых единиц, представлена в этих единицах в различной степени, а также на то, что множества черт разных языковых категорий могут пересекаться [ср. также Kuryłowicz 1964:10]. Вторым критерием является функциональная нагрузка элемента в системе, т. е. число единиц, различающихся при помощи данного элемента (при этом учитываются и те позиции на синтагматической оси, которые может занимать данный элемент); третий критерий касается частоты употребления элемента в речи (тексте). Более высокие значения по всем трем параметрам свидетельствуют о том, что элемент является центральным, более низкие — что он принадлежит к периферии.

Как указывает Й. Вахек, примером периферийной фонемы в современном английском языке может служить /h/. Эта фонема слабо интегрирована в структуру английского консонантизма, собственно находится на ее границе. Позиционные ограничения, налагаемые на функционирование этой фонемы (она встречается, как правило, только в начале корня перед гласной или полугласной), ограничивают возможности ее функциональной нагрузки в системе. Что же касается речи, то в нестандартных вариантах английского языка, например в кокни, эта фонема часто не произносится там, где литературная норма требует ее присутствия, и наоборот, произносится там, где этимологически отсутствует. В последнем случае она служит эмотивным признаком, т. е. является уже не односторонним, диакритическим, а двусторонним, семантизированным знаком.

Противоположным образом может служить фонема /t/, полностью интегрированная в систему парадигматических отношений, свойственных английскому консонантизму. Функциональная нагрузка /t/ в системе и речи также велика [Vachek 1966:26].

Возникновение периферийного компонента языковой системы получает у чешских лингвистов как историческое, так и синхроническое функциональное объяснение. С точки зрения материальных условий возникновение периферийных элементов языка связано с

динамикой развития языка, в более общем плане — с тем, что язык является не замкнутой и статичной, а открытой и динамической системой, в которой могут существовать единицы с различной, притом изменчивой, степенью систематизированности. Малосистематизированные единицы, обладающие определенными экспрессивными качествами, закрепляются в языковой системе в качестве периферийных элементов; при этом свойственная им структурная аномальность служит негативным признаком, отличающим их от стилистически нейтрального центра. Эту мысль можно сравнить с концепцией Т. Милевского, по мнению которого, периферией языка является его стилистическая система, выделяемая им с последовательно семиотической точки зрения — в плане наличия у языковых знаков таких семиотических свойств и функций, которые не свойственны языку как таковому, но характерны для других (генетически или логически) предшествующих ему семиотических систем [Milewski 1973: 85—93]. Таким образом, с точки зрения внешней стороны существования языка дифференциация его системы на периферийную и центральную части объясняется тем, что, используя как основное средство человеческого общения, язык должен исполнять наряду со своей основной функцией передачи логической информации ряд иных функций, в частности экспрессивную. В связи с этим в системе языка возникают единицы, специализированные для этих разнообразных функций. Структурным проявлением функциональной дифференцированности языковой системы и есть ее разделение на центр и периферию.

Легко заметить, что в паре диалектически связанных терминологических понятий «центр» и «периферия» отражается тот хорошо известный и всегда призывавшийся непредвзятыми лингвистами факт, что язык отнюдь не представляет собой абсолютно гармоничной, симметричной, идеально упорядоченной схемы; что в нем наряду с явлениями профилирующими и широко распространенными есть явления маргинальные и идиосинкратические, наряду с систематизированными и систематически употребляющимися элементами — элементы только систематизирующиеся или выходящие из системы и употребляющиеся спорадически, наряду с единицами гомогенными, представляющими собой «чистые» типы, — единицы, являющиеся типами гетерогенными, смешанными, наряду с образованиями, употребляющимися неограниченно, — образования, чье употребление ограничено то ли в стилевом, то ли в социальном, то ли в географическом отношении. Здесь также отражается то, что между членами каждой из только что перечисленных пар нет непроходимой границы — наоборот, они могут переходить друг в друга так же незаметно, как в живой речевой цепи один звук переходит в другой.

Заслуга лингвистов, выдвинувших концепцию «центр — периферия», в том, что они эксплицитно выразили в ней это универсальное качество языка, общий принцип его организации и развития. Эта концепция подтверждает в отношении к языку общее положение марксизма-ленинизма: «Hard and fast lines несовместимы с теорией развития... Диалектика ... не знает hard and fast lines и безуслов-

ного, пригодного всюду «или-или» ... [она] переводит друг в друга неподвижные метафизические различия, признает в надлежащих случаях наряду с «или-или» также «как одно, так и другое» и опосредствует противоположности...» [Энгельс, т. 20: 527—528].

Признание соотношения центра и периферии в качестве общего структурного принципа организации и функционирования языка противостоит метафизической модели языка как абсолютно упорядоченной системы с четко отграниченными категориями, каждый элемент которых характеризуется одинаковым набором признаков, и с правилами, не знающими исключений. Как говорилось, именно к таким построениям приходят лингвисты, которые, стремясь к логической строгости и непротиворечивости метода, настаивают в исследовательской практике исключительно на однозначных (типа да/нет) решениях, жестких границах и противопоставлениях. Несоостоятельность такого метода проявляется в том, что он не в состоянии справиться с отклонениями, исключениями из правил и с тому подобными «дефективными» образованиями, которые поэтому либо игнорируются; либо набранные мелким шрифтом ютятся в сносках и примечаниях, либо путем софистических ухищрений втискиваются в априорно заданную схему.

В отличие от этого концепция «центр — периферия» стремится привести в соответствие логику метода и онтологию изучаемого объекта. В свете этой концепции язык предстает как образование, где диалектически сочетаются дискретность и недискретность, общее и индивидуальное, более и менее существенное, где каждая парадигма, категория, уровень, языковая функция, оставаясь тождественными сами себе, в то же время характеризуются диффузным набором признаков и незаметно переходят друг в друга, а весь язык в целом, сохраняя идентичность, незаметно сливается с коммуникативными системами другого рода. Предлагая единую систему координат, единый набор критериев для описания центра и периферии, эта концепция увязывает в одно целое «нормальные», стилистически нейтральные и стилистически отмеченные аномальные единицы, находя и для этих последних место в единомраздельном множестве элементов, которым является система языка.

Некоторую аналогию такому взгляду можно найти в подходе генеративистов к созданию «контрграмматики», которая должна породить фигуративную речь («полупредложения»); как отмечает Д. Торн, одним из условий, которым должна отвечать эта «контрграмматика», есть то, что правила, содержащиеся в ней, должны отличаться от правил стандартного языка, но в то же время должны быть связаны с этими последними [Thorne 1977:195; ср. Katz 1964:412].

Концепция «центр — периферия» наиболее детально разработана на материале фонетического уровня. Более легко она применяется к дискретным, ингерентно-экспрессивным единицам, тогда как последовательное применение ее к описанию и системному истолкованию коннотированных, адгерентно-экспрессивных элементов пока

почти не осуществлялось. Тем не менее есть основания считать, что подход к изучению явления системной экспрессивности с учетом этой концепции должен принести интересные результаты.

ПОНИМАНИЕ СООТНОШЕНИЯ МЕТОДА И ТЕОРИИ

Выделение эмпирического и теоретического уровней в структуре научного знания, как и определение их соотношения, является предметом острых дискуссий в современной науке. В зарубежном (прежде всего, американском) языкознании проблема соотношения эмпирического и теоретического переформулируется главным образом в проблему соотношения метода и теории. Оживление научного интереса к этой проблеме связывается в первую очередь с тем, что метод и теория стали ассоциироваться с различными, во многом конфликтующими направлениями — структурной лингвистикой, сосредоточившейся на разработке методов исследования, и трансформационно-генеративной грамматикой, провозгласившей теорию единственно научным подходом.

Если об актуальности проблемы судить по количеству посвященных ей публикаций, то на какое-то время, особенно в последние два десятилетия, вопросы методов исследования потеряли злободневность. Книга З. Хэрриса «Методы структурной лингвистики», своеобразный компендиум американской дескриптивной лингвистики, увидевшая свет в 1951 г., в период расцвета структурализма, явилась как бы подведением итогов сделанного. После нее работы подобного рода не появлялись, а вопросы методики лишь спорадически затрагивались в отдельных исследованиях¹². «Методический бум» 40—50-х годов в лингвистике был отражением общего процесса, коснувшегося науки в целом, когда в связи с ее бурным развитием все сложнее становилось проследить непосредственную связь между эмпирическими фактами и их теоретическим осмыслением. Таким образом, те процессы, которые были показательны прежде всего для новых, зарождающихся отраслей знания, затронули и лингвистику, несмотря на то, что она как наука существовала давно и имела достаточно разработанную систему исследовательских приемов, задач и целей исследования. Поскольку одним из основных атрибутов науки являются наличие и использование научных методов, нет ничего удивительного в том, что именно вопрос метода приобрел в лингвистике такое важное значение. Ср.: «Наука, чтобы быть ею, должна использовать научный метод» [Рар 1978:10]. Однако стали звучать и несколько отрезвляющие нотки: «Нас не должен чрезмерно беспокоить вопрос о научности лингвистики. В своих усилиях

¹² Любопытно следующее замечание об этой книге спустя 25 лет после ее выхода: «Книга Хэрриса представляется нам не как шаг, благодаря которому американский структурализм вступил в мир науки, а как конец этого пути» [Lepshy 1976:189].

сделать изучение языка паучным мы стали часто игнорировать явления, потому что они не вкладывались в определенную, заранее принятую теорию» [Di Pietro 1973:47].

В процессе своего развития лингвистика не раз испытывала влияние методов других наук. Методы так называемых точных наук (естествознания, математики) трудно было непосредственно перенести в лингвистику, поскольку круг их оправданного использования здесь довольно ограничен. Механическое же перенесение математических, логических, физических методов далеко не всегда способствовало выявлению сущности объекта. В лучшем случае результатом их применения было получение подтверждения известных ранее характеристик явлений. (Это в определенной степени напоминает ситуацию в естествознании XIX в., о которой пишет Энгельс, когда «старые, удобные, приспособленные к прежней обычной практике методы переносятся в другие отрасли знания, где они оказываются тормозом» [Энгельс, т. 20:608]). Вместе с тем некоторые метатеоретические понятия, такие, как, например, впервые разработанные Гильбертом понятия полноты, точности и непротиворечивости теории, привлекали к себе ученых как общие критерии объективности и истинности научного анализа, и, в частности, стали переноситься в лингвистику. Таким перенесением, как известно, языковедение обязано в первую очередь Л. Ельмслеву. Однако содержание этих понятий не было эксплицитным. Не было совершенно ясно, должны ли эти требования относиться к самому материалу, его объяснению, описанию, к структуре такого описания или к теории. Логико-математические и лингвистические методы, поскольку они преследуют различные цели, различны по специфике, хотя среди исследователей попытки представить лингвистику как некую математизированную область наблюдались. Об этом, например, совершенно недвусмысленно заявлял Джус: «Мы должны сделать папу «лингвистику» развидностью математики, в пределах которой непоследовательность невозможна по определению... в принципе каждое наше утверждение должно быть либо верным, либо ошибочным — никакой ноловипчатости» [Joos 1967:349—350] и в более категоричной форме: «Лингвистика — это квантовая механика в самом крайнем смысле слова» [там же: 350]. В этом же русле можно рассматривать замечание Э. Хэрриса о том, что его синтаксический анализ «математичен» [Harris 1946:161], или же известные попытки Ельмслева создать лингвистическую алгебру. Практика показала преждевременность оптимизма в отношении возможностей полной формализации лингвистики.

Из гуманитарных наук на развитие лингвистики едва ли не самое большое влияние оказала социология. Это привело к тому, что возникла новая область исследования — социолингвистика. Влияние социологии ограничилось в основном влиянием на методы, не отразившись на теории. Причина этого кроется, по-видимому, в том, что в зарубежной социологии наиболее разработанной областью являются методы. Теория, несмотря на многочисленные констатации относительно ее взаимосвязи с методами, остается в социологии отор-

ванной от методов и разрабатывается слабо [Новые направления 1978; см. также Шихирев 1977].

В свою очередь, лингвистика оказала влияние на развитие методов исследования в некоторых смежных областях гуманитарного знания, в частности, в литературоведении, фольклористике, антропологии. Явное признание роли лингвистики в антропологических исследованиях, по мнению Хаймса [Hymes 1970:251], относится к деятельности Сепира, хотя имплицитно лингвистические методы использовались ранее Боасом. Лингвистика задавала тон, звучавший в работах Барта, Лакана и Леви-Строса. О ней говорилось, что она должна была предоставить теоретико-методологическую модель, чтобы понять все человеческие явления, коль скоро они выражались посредством языка. В формировании такого отношения к лингвистике немаловажную роль сыграли высказывания самих лингвистов о доминирующем положении их науки в ряду других гуманитарных дисциплин. «Из всех наук или приближающихся к наукам направлений исследования (near sciences), — отмечал Джуз, — которые имеют дело с поведением человека, лингвистика единственная имеет шансы стать полностью математической, и другие ученые гуманитарии уже начинают следовать точным методам лингвистики» [Joos 1967:350]. Однако в последнее время произошел критический пересмотр возможностей использования методов структурной лингвистики для решения проблем других наук. Представители этих наук уже относятся менее благосклонно к заимствованию лингвистических методов в их область знания [Автономова 1977:38; The structuralist controversy 1977:xi].

Прежде чем перейти к рассмотрению проблемы взаимоотношения метода и теории в американской лингвистике, целесообразно остановиться на анализе употребления этих терминов. Проблемы терминологии, имеющие отношение к объяснению природы лингвистического исследования, неоднократно затрагивались в многочисленных дискуссиях. И все же содержательный объем понятий метода и теории, несмотря на широчайшее их использование, достаточно различен у разных авторов и далеко не всегда эксплицируется. Обратимся к первому из понятий — методу. Выражая одно из коренных понятий американской дескриптивной лингвистики, слово «метод» тем не менее не вошло в словарь американской лингвистической терминологии Хэмпса. Нет его определения и в книге Хэрриса.

Рассматривая вопросы взаимоотношения методов и их понимания в советской и американской лингвистике, Ю. С. Степанов отмечает некоторые сходные черты в их интерпретации. Сюда относится прежде всего трехчастное деление, существовавшее в советском языкознании 40—50-х годов и в американском языкознании этого же периода и касающееся вопросов 1) о способах выявления нового материала и его введения в научную теорию; 2) о способах систематизации и объяснения этого материала; 3) о соотношении и способах соотношения уже систематизированного и объясненного материала с данными смежных наук, прежде всего с философией [Степанов 1975а:5]. (Что касается последнего, то небезынтересно замечание

Чжао Юаньжэня, обратившего внимание на то, что теории очень часто противопоставляется философия, понимаемая как некая прагматическая оценочная категория. Наряду с этим существует понимание философии как более систематизированного и расчлененного анализа и синтеза объектов, что приближает ее к теории. Такое значение приобретает философия у Есперсена [Chao Yuen Ren 1970:17]).

Отметим, что в американской лингвистике чаще всего используются терминами *method* и *methodology*. В советском языкознании, как известно, принятое трехчастное деление включало методику, метод и методологию. Методика понималась как совокупность приемов наблюдения и эксперимента, метод — как способы теоретического освоения того, что наблюдалось и было обнаружено в эксперименте, а методология — как применение принципов мировоззрения к процессу познания [Степанов 1975а:3]. Такое понимание, принятое в советской лингвистике периода 50-х годов, претерпело некоторые изменения, свидетельством чего является как то, что в словарь лингвистических терминов О. С. Ахмановой слово «методика» не включено, а «метод» толкуется как совокупность приемов, используемых в исследовании языка [1969:232], так и непосредственная практика употребления соответствующих терминов в работах последнего времени. Ср., например: «Метод — исследовательский прием или совокупность приемов» [Русанівський 1980:5]. Тем самым можно говорить о том, что трактовка термина «метод» в советской лингвистике становится семантически близкой трактовке термина *method*. Что касается термина «методология», то он, кроме указанного выше значения, также все чаще используется как синоним термина «метод». Сходным образом истолковывается термин «методология» в общефилософском плане. Ср.: «Методология — 1) совокупность приемов исследования, применяемых в какой-либо науке; 2) учение о методе научного познания и преобразования мира» [Методология 1981:214].

В работах зарубежных ученых *method* и *methodology* выступают преимущественно как взаимозаменяемые понятия (что же касается атрибутивного употребления термина, то используется производное от *methodology*). Приведем лишь некоторые образцы такого употребления: «Такие условные разделения полярностей [компетенции и владения.— Т. Л.] некоторое время были стимулирующими, но их исходная искусственность является временным приемом, который привел лингвистов недавно к тому, что они потеряли почти всякий интерес к методам. Интерес к методологии является тем не менее существенным, если мы уже переходим от субъективных и интуитивных занятий к занятиям, претендующим на звание эмпирической науки» [Pitkin 1970:31]. «Представление эволюции языка как состоящей из последовательности дискретных состояний — не более точное отражение ситуации, чем представление круга при помощи прямых, соединяющих последовательные точки вокруг его окружности. Так как, какое бы большое число таких точек мы ни брали, фигура, которая получается в результате этого, никогда не будет совершенным кругом, и точно также. сколько бы языковых состояний мы ни рассматривали на протяжении определенного пе-

риода, их последовательность никогда не даст подлинной картины нечленимой длительности во времени. Именно вследствие ограниченности нашей методологии мы сталкиваемся с довольно абсурдной ситуацией, что языковое развитие, хотя и рассматриваемое ретроспективно, по его результатам, кажется, совершенно не поддается наблюдению его как процесса, в то время, как оно действительно происходит» [Вуоп 1977:2].

Практика синонимизации терминов *method* и *methodology* имеет также давнюю философскую традицию. Ср., например, [Method 1928], хотя в других источниках их разграничивают [Scientific method 1967:339]; ср. также толкование этих слов в Оксфордском словаре [The Oxford English dictionary 1970:394, 396].

Наряду с этим методология в зарубежной литературе нередко трактуется и как понятие, которое находится в таком отношении к методу, в каком находится метатеория по отношению к теории. Ср., например, одно из подобных толкований в социологии: «И теория, и метод практикуются в рамках одной и той же совокупности явлений с определенным, заранее заданным набором признаков, оба предполагают метатеорию и методологию» [Силвермен 1978:300].

В языкознании также стали наблюдаться попытки терминологического разграничения метода и методологии¹³. Хукер разграничивает их, например, таким образом: «Метод описывает последовательность действий, составляющих наиболее эффективную стратегию для достижения определенной цели. Методология описывает теорию таких последовательностей» [Hooker 1977:3]. Можно привести и несколько отличный взгляд: «Такой тип [деятельности.— Т. Л.], как сбор данных, можно было бы отнести под более общую рубрику методологических типов. Анализируя проблему теории и сбора данных, Стааль ... ввел третий аспект лингвистической работы — методологию, рассматривающую то, как лингвист создает теорию или производит сбор данных. Можно было бы предложить разграничение между «методом» в смысле технических приемов и «методологией», в которую бы вошли как теоретическое осмысление, так и сбор данных» [Wolf, Thorne 1974:508]. На необходимость разграничения анализа данных и способов представления такого анализа, или, иначе говоря, структуры описания, указывают и другие авторы. Из них можно сослаться на Холлидея [Halliday 1961:241] и Питкина [Pitkin 1970:29].

Если мы обратимся к анализу употребления слова «теория», то увидим, что по количеству значений оно превосходит слова «метод» и «методология». Различия в его смысловых наполнениях могут

¹³ Некоторые теоретики полагают терминологические вопросы второстепенными, не имеющими принципиального значения. По мнению Сандерса, многие дискуссии о природе лингвистического исследования и объяснения в действительности являются дискуссиями о терминологии, а это, считает он, не влияет на фактическое развитие лингвистической теории и методологии [Sanders 1974:2]. С этой оценкой трудно согласиться, ибо во время таких дискуссий, если они, конечно, не сводятся к вопросу чистого словоупотребления, прослеживаются те связи, которые характеризуют отдельные понятия, определяется содержательный объем каждого из них.

детерминироваться грамматически. Как показал Чжао Юаньжень, можно выделить следующие значения слова theory «теория»: существительное theory, употребленное без артикля, указывает больше на деятельность, тесно связанную с методом, чем то же существительное a theory, употребленное с неопределенным артиклем и предполагающее получение результатов в систематизированной форме. Употребление существительного the theory с определенным артиклем предполагает, что такая-то теория противопоставляется другим теориям относительно одного и того же объекта [Chao Yuen Ren 1970:15]. О довольно расширительном понимании слова «теория», получившего распространение в последние десятилетия, свидетельствует следующий комментарий известного логика Бар-Хиллела (речь идет о книге Катца и Фодора «The Structure of Language. Readings in the Philosophy of Language» 1964): «У меня есть предубеждение против термина «лингвистическая теория» как такового. Если они [авторы.— Т. Л.] избегают использовать термин «металингвистика», возможно, потому что он был присвоен лингвистами для совершенно другого понятия, то непонятно, почему нельзя использовать несравненно более описательный термин «методология лингвистики». На сегодня термин «теория» явно перегружен. На предыдущей странице (18) издатели используют термин «теория языка» в смысле, совершенно отличном от смысла термина «лингвистическая теория» (с которым он явно бы смешивался, если бы их терминология была принята). Вкладываемый в него смысл скорее сводился бы к «концепции языка» или на более сложном уровне — «философии языка». В других случаях грамматика определенного языка рассматривается как «теория» этого языка, что приводит к окончательному их смешению. Я, конечно, сознаю, что издатели не придумали термин «лингвистическая теория», — он чрезвычайно часто встречается в работах Хомского. Но я бы предложил мораторий на использование слова «теория» во всех трех упомянутых контекстах» [Bar-Hillel 1970:156]. Вполне естественно, что при такой полисемии термина «теория» не всегда просто выявить смысл, который вкладывается в этот термин в том или ином случае. Даже если в отдельных контекстах этот смысл эксплицируется (ср., например, следующие формулировки: «грамматика языка является по существу теорией языка» [Chomsky 1962:49], «если под теорией мы понимаем синхроническую грамматику какого-либо отдельного языка, то метатеория — это то, что называлось теорией лингвистического описания» [Greenberg 1979:284]), то это не очень упрощает положение, так как остается целый ряд случаев, где слову «теория» приписываются иные значения.

То, что при рассмотрении вопроса о методах неизменно подключается вопрос о теории, вполне объяснимо. Их теснейшая связь проявляется достаточно отчетливо, чтобы ее можно было игнорировать. Результаты, полученные при эмпирическом исследовании, в обобщенном виде входят в теорию. Метод же представляет собой способ не только практической, но и *теоретической* деятельности человека [Метод 1964:409]. Использование, как и совершенствование метода

предполагает знание исследователем некоторых закономерностей, особенностей природы изучаемого объекта. Поэтому метод, «лишенный материального субстрата, определенной теоретической базы, является по существу фальшивым методом» [Общее языкознание 1973:260]. Наличие такой тесной взаимосвязи метода и теории делает их размежевание в ряде случаев довольно трудным. То обстоятельство, что термины «метод», «методология», «теория» нередко взаимозаменяются даже в идиолекте одного и того же автора, в определенной степени является отражением некоторых общих аспектов, взаимосвязей этих понятий. Однако в неизмеримо большей степени оно обусловлено тем, что позитивизм всю теорию фактически замещает методикой, хотя и сохраняет слово «теория». Ведь и теория трансформационно-генеративной грамматики — это по сути методика, только формализованная, пришедшая на смену эмпирическим процедурам дескриптивистов. Как пишут Хаймс и Фот, «именно с Хомским и его последователями логика и математика полностью замещают постулаты и процедуры, хотя формы математики и логики уже присутствовали как явные источники моделей в работах Хэрриса, Хижа, Хоккета и Гринберга» [Hymes, Fought 1975:910]. Однако вопреки позитивистским установкам теория не сводится к различного рода формализациям, а поэтому претензии трансформационно-генеративной грамматики на звание теории несостоятельны.

Пристальный интерес к вопросу о соотношении метода и теории в американской лингвистике легко объясняется сложившейся там ситуацией. После наступившего к концу 50-х годов угасания заинтересованности к постановке проблем методик акцент в языковедческих исследованиях перемещается на теорию, вопросы же методики отодвигаются на второй план. Причины этого хорошо известны и связываются с появлением трансформационной грамматики. Какой размах получило это новое течение в лингвистике, продемонстрировала достаточно ясно конференция, созванная в Калифорнийском университете в 1966 г. (материалы этой конференции вошли в книгу [Method 1970]). Конференция собрала представителей разных школ и направлений и, несмотря на то, что большинство ее участников не были последователями трансформационной грамматики, основное место на ней заняло обсуждение вопросов, связанных с теорией Хомского. Конференция, основной целью которой было определение места метода в ряду связанных с ним категорий, прежде всего с теорией, ставила своей задачей решение трех основных вопросов: 1) отношение метода к теории; 2) разработка методологических (методических) принципов; 3) использование методов при решении конкретных лингвистических задач. На конференции отразились как основные направления в решении этих проблем, так и главные противоречия развития американской лингвистики. На ней, как отмечает Поль Гарвин, действительно имело место обсуждение отношения методов к теории. Однако вызвало вполне резонную тревогу организаторов конференции то, что намного меньше было сказано о развитии методологических принципов. Совсем мало говорилось по поводу конкретного использования конкретных лингвистических методов

при решении конкретных лингвистических проблем. Это обстоятельство было оценено как существенный недостаток американской лингвистики 60-х годов, обстоятельство тем более показательное, что конференция посвящалась вопросам методов. Наметившийся резкий крен в сторону от методики, нарушающий необходимое равновесие между теорией и методом, П. Гарвин рассматривает как слабость американской лингвистики [Garvin 1970:11].

Раздувание роли теории, и не просто теории, а одной, конкретной (частной) теории, какой является трансформационно-генеративная грамматика Хомского (впрочем, Холлидей рассматривает ее как метод [Halliday 1961:241]), вызвало вполне оправданную настороженность. В целом ряде выступлений и в ходе обсуждения были высказаны совершенно справедливые мнения о том, что метод и теория должны дополнять друг друга, что чрезмерное подчеркивание значения одного из них без соответствующего подчеркивания значения другого только ослабляет их [Garvin 1970:11]. В докладе М. Матьет прозвучал призыв даже к тому, чтобы среди гуманитариев было достигнуто соглашение в отношении того, что явление не может изучаться как без теоретического, так и без методического аппарата. «Соглашения следовало бы достигнуть и в отношении того, что теория и метод взаимосвязаны» [Mathiot 1970:160].

Доказательства того, к каким отрицательным результатам приводит гипертрофия метода или теории, находим в недавней истории лингвистики. Раздувание роли метода в лингвистических исследованиях структуралистов, особенно американских дескриптивистов, привело к тому, что методика стала осознаться как самодостаточная цель. Внимание лингвистов сосредоточивалось на тщательной разработке отдельных, частных по преимуществу, процедур анализа, которые нередко подменяли исследование конкретного языкового материала. Этому способствовали общий позитивистский подход к решению проблем, предполагавший исследование только непосредственно наблюдаемых явлений, тех явлений, которые лежат на поверхности, и полный отказ от какого-либо теоретического обобщения полученных данных. Процесс сбора и анализа, классификации данных рассматривался как теория. Методы перестали быть просто средством, инструментом исследования. Эта метаморфоза метода отмечается повсеместно. В качестве иллюстрации приведем высказывание В. Фромкин во время дискуссии на конференции 1966 г.: «Почему у нас так много неясностей в понимании отношения между методом и теорией? Возможно, это результат того, что на протяжении многих лет в американской лингвистике мы смешивали эти два понятия и считали, что сами методологические принципы, которыми пользовались лингвисты при сборе данных, составляли теорию или, с другой стороны, могли быть использованы для подтверждения представленных теорий» [Method 1970:21].

Причина смешения теории и метода, что приводит часто к подмене одного другим, все же не представляется однозначной. На этом подробно остановимся ниже. Чем же объяснить то, что американский структурализм создал теорию, подняв метод до уровня теории, ины-

ми словами, метод был использован как теория [Anttila 1976b:69]? Процесс вытеснения теории в лингвистике связывают с деятельностью Боаса, который, занявшись изучением языков «изнутри», пришел к выводу о явной недостаточности существовавших в то время теоретических построений. Многие категории, выделяемые в языках американских индейцев, явно не укладывались в прокрустово ложе универсальных грамматик. Работы Блумфилда и его учеников окончательно закрепили наметившийся в деятельности Боаса разрыв с традицией. В результате из лингвистической практики изгоняются объяснения в терминах универсалий или понятийных категорий. «Каждый думающий лингвист осознавал, однако, что его полевые методы помогают в чем-то большем, чем в простой перетасовке фактов. Где-то должно было быть место для теории. И все же единственное, что было, — это полевые методы, практика лингвистики. И тогда случилось так, что лингвистическая теория была приравнена к набору технических приемов, используемых лингвистами для описания языка» [Teeter 1964:203]. Это объяснение все же недостаточно, поскольку причины, обусловившие создавшееся положение, лежат значительно глубже. Действительно, в новом языковом материале обнаруживались новые категории, которые не соответствовали известным ранее. Верно и то, что многие теоретические положения традиционной лингвистики не давали ключ к решению возникающих проблем. Однако из этих правильных наблюдений был сделан ошибочный вывод о невозможности построения теории, вывод, который мог возникнуть под влиянием расцветавшего в то время неопозитивизма — течения весьма скептически относившегося к теоретическим построениям и ориентировавшего исследователей на занятия эмпирическим анализом, на разработку методов и процедур анализа. Но если ошибочным и даже во многих случаях пагубным было возведение метода в ранг теории, что привело к пренебрежению лингвистической традицией и затормозило постановку и решение традиционных в языкознании проблем общего характера, то не менее ошибочно приравнивание теории к методам, последовавшее в конце 50 — начале 60-х годов [Teeter 1964:204]. «Теперь генеративно-трансформационная грамматика использует свою теорию преимущественно как метод и ищет подтверждения данных, чтобы подтвердить теорию» [Anttila 1976b:69].

Смещение акцента в сторону теории объясняется не только неудовлетворенностью исследователей накоплением эмпирических данных без их дальнейшего теоретического обобщения, но также изменениями в научном процессе в целом. Это связывается с тем, что на смену науке аристотелевского толка приходит новая наука, не удовлетворяющаяся описанием и объяснением. Потребность преобразования мира определяет активное вмешательство в него науки. В ней происходит переоценка опыта и теоретического мышления в достижении новых результатов. Теория «является не простой трансформацией опытных данных, а синтезом, в котором все большее значение приобретает теоретическое мышление, выступающее мощным фактором выдвижения фундаментальных идей, дающих начало новым

теориям» [Копнин 1973:83]. Особое место начинают занимать моделирование процессов, построение гипотез, что предполагает усиленные роли дедукции в познании. Эти новые процессы в науке как таковой коснулись и лингвистики.

Однако в то же время американские лингвисты столкнулись с не менее серьезной опасностью: вырвавшись из пут тривиального описания отдельных фактов, они натолкнулись, как образно выразился К. Титер, на Харибду составления теорий, не имеющих никакого конкретного основания: «Теория, оторванная от наиболее доступного знания, нерелевантна, она воздушный замок и поэтому не представляет никакого интереса для науки. Но знание, которое не в состоянии подняться до уровня теории, равным образом неинтересно, оно представляет собой нагромождение разрозненных тривиальных фактов. Наука лежит между этими двумя опасностями. В только что минувшем периоде дескриптивная лингвистика в Америке подошла тревожно близко к Сцилле тривиального. Необходимо изменить курс, избегая в то же время Харибды нерелевантности» [Teeter 1964:206].

Обращение лингвистов к проблеме взаимоотношения метода и теории, как отмечалось, в значительной степени обусловливается тем, что вопросы метода и теории касаются целых лингвистических направлений. Стало традицией по используемому методу определять название лингвистического течения. Отсюда — сравнительно-историческое языкознание, дескриптивная лингвистика и, конечно, так называемая теоретическая лингвистика, использующая теорию как метод. (Резкую критику термина «теоретическая лингвистика» см. [Ахманова, Минаева 1979]). И если продолжительное время бурлили страсти из-за того, что право называться подлинной наукой признавалось исключительно за теоретической (= трансформационной) лингвистикой и в нем отказывалось дескриптивной лингвистике, имеющей дело всего лишь, по терминологии трансформационистов, с таксономиями, — то к концу 70-х годов они несколько поутихли. Для этого времени характерны более примиренческие настроения [Косериу 1977, Наас 1978]. Подойдя вплотную к рассмотрению соотношения теории и метода, лингвисты убедились в том, что этот вопрос не так прост, каким он кажется на первый взгляд. «Для меня сложно провести линию между теорией и методом, — пишет Анттила, — потому что на практике они в значительной степени сливаются» [Anttila 1968b:68].

Как же все-таки разграничиваются эти две категории? Интересные соображения по этому поводу высказал на конференции 1966 г. Чжао Юаньжень [Chao Yuen Ren 1970]. Отмечая иллюзорную простоту описания соотношения теории и метода (теория — систематизированное утверждение о ряде объектов, метод — пути и способы, при помощи которых изучаются эти объекты), Чжао Юаньжень указывает, что первое, с чем сталкивается исследователь, — это вопрос о том, что именно должно включаться в теорию. Следует ли относить метод к сбору и выбору данных об объектах или же он имеет отношение и к построению теории, или к тому и другому,

вместе взятым? А если имеется набор данных, то должна ли существовать только одна теория, объясняющая их, или их (теорий) может быть больше? В последнем случае какой метод следует использовать для выбора одной среди взаимоисключающих теорий? Показательно, что ученый, отнюдь не принадлежащий к сторонникам генеративной грамматики, ставит вопрос, который Хомский считает наиболее важным для лингвистической теории — вопрос о выборе наиболее адекватной грамматики, характеризуя его следующим образом: «Предпринимаются попытки сформулировать методы анализа, которые исследователь реально может использовать... чтобы построить грамматику языка, исходя из сырых данных. По-моему, весьма сомнительно, чтобы этой цели можно было достигнуть сколько-нибудь интересным путем, и я подозреваю, что всякая попытка достичь ее должна завести в лабиринт все более подробных и сложных лингвистических процедур, которые, однако, не дают ответа на многие важные вопросы, касающиеся природы лингвистической структуры. Я полагаю, что, сплотив наши запросы и поставив более скромную цель выбора грамматики, мы сможем сосредоточить наше внимание на узловых проблемах лингвистической структуры и прийти к более удовлетворительному их решению» [Chomsky 1962:52—53]. (Вопрос оценки лингвистических теорий рассматривается и другими учеными. Этот аспект теории получил название «аксиология» и выделяется в метатеории языка наряду с онтологией языка (теорией языка), ставящей задачу изучения языка как знаковой системы в ряду других знаковых систем и определения специфики отдельных естественных языков, а также наряду с эпистемологией языка (теорией лингвистического анализа) [Ouelagan 1967:430]. Программа исследований здесь значительно шире, чем у Хомского). Подобный аспект исследования стал характерен для науки в связи с возникновением метатеорий, широко используемых в настоящее время для анализа формализованных теорий. Однако при решении даже этой скромной задачи — выбора грамматики — Хомский столкнулся с трудностями, заставившими его отказаться от выдвинутых им в качестве критериев оценки альтернативных грамматик требований простоты, полноты, экономии. Если подобные критерии было сложно использовать для формализованных грамматик, то для естественных языков они оказались по существу «не работающими». Объяснение следует искать в том, что естественные языки не могут быть сведены ни к форме, ни к логике. Язык был и остается социальным явлением, призванным обеспечивать общение между людьми. В силу этого более верно отражает особенности языка та теория, которая учитывает все характеристики языка. Именно поэтому в советском языкознании при оценке как методов, так и теорий исходят из того, насколько они отвечают главным методологическим принципам советского языкознания, т. е. насколько учитываются объективность, реальность языка как явления, существующего независимо от нашего сознания, общественный характер языка, связь языка и мышления [Русанівський 1975:8; 1980:6, 9]. Проверка теории на истинность состоит в адекватности описания ею исследуемого объекта.

Пытаясь определить взаимоотношения теории и метода, Чжао Юаньжень рассматривает объемный список терминов, используемых в литературе, и разбивает их на пять подгрупп: 1) вещь (предмет); 2) множество; 3) символ; 4) метод, 5) теория. Имея дело только с объектом, мы минимально включаем метод и теорию. Двигаясь от одного пункта к другому, получаем все большее включение теории. То, с чего собственно начинается анализ, называется объектом. Для лингвиста — это речь информанта. В группе множества рассматривается один или более объектов. В лингвистике множества, находящиеся в определенных отношениях, образуют уровни. И наконец, существуют системы различных структур как большие организованные множества. Что касается категорий, то это самые общие способы, которыми соединяются объекты, образуя множества и системы. Члены этой подгруппы уже, очевидно, связываются как с методом, так и с теорией.

В группу с методом включаются различные виды деятельности, начиная от простейших операций и кончая наблюдением, фиксацией, изучением (в самом общем смысле), анализом, синтезом, организацией и трансформацией. Все эти процессы имеют различные процедуры и технику, т. е. то, что составляет метод. Все это, достигнув определенной степени организации, включается в теорию. Утверждение существования какого-либо факта или осознание его существования не представляет собой теорию, как не представляет собой теорию и метод, хотя он может базироваться на теории или использоваться для ее проверки. Теория начинается тогда, говорит Чжао Юаньжень, когда в результате предшествующих операций получаем системы с правилами и законами. Что касается последнего положения, то оно согласуется с марксистско-ленинским положением о том, что фиксация предмета еще не является свидетельством его познания, что познание «не простое, не непосредственное, не цельное отражение, а процесс ряда абстракций, формирования, образования понятий, законов etc., каковые понятия, законы etc. (мышление, наука = «логическая идея») и *охватывают* условно, приблизительно универсальную закономерность всей движущейся и развивающейся природы» [Ленин, т. 29:164].

Оценивая некоторые виды методов — метод сбора данных и метод их описания, Чжао Юаньжень подчеркивает, что большая степень теоретичности характерна именно для последнего. Простая подача сырых данных еще не есть описание. Только их упорядочение с возрастающей степенью обобщения приближается к теории. И далее, ссылаясь на Холлидея и Вогелинов, Чжао Юаньжень отмечает особенность, отличающую метод от теории: теория может использоваться для оценки описаний без обращений к тому, как они получены.

В наблюдениях Чжао Юаньжэня заслуживают внимания выделение этапов исследований, показ того, как на каждом этапе формируются более абстрактные представления, понятия, как метод «встраивается» в теорию своими отдельными частями. А из этого логично следует, что какие-либо утверждения о жесткой дихотомизации метода

и теории не верны. Действительно, теория, будучи системой достоверных знаний об окружающем мире, не может не включать описание мира. Это обстоятельство определяет то, что методы изложения включаются в теорию, входят в нее, но не исчерпывают ее. Метод, выступая как относительно самостоятельная часть познавательной деятельности, этой стороной входит в теорию. И в этом ракурсе деятельности американских дескриптивистов 40—50-х годов все же следует оценивать как частичную разработку теории. Другая сторона вопроса в том, что теория не ограничивается описанием, а стремится к объяснению и предсказанию. Но в том, что многие дескриптивисты сознательно отказались от решения других задач («Мы не отвечаем на вопросы «почему»... Другими словами, мы пытаемся точно описывать, мы не пытаемся объяснять» [Joos 1967:349]), сказался позитивистский подход к разработке лингвистических проблем. И если говорить о позитивизме американского структурализма, то он состоит не столько в том, что разрабатывались отдельные аспекты (в сущности такой подход возможен и правомерен), а в том, что при этом анализ возводился в доктрину. Практика подтверждает, что разработка теории и разработка методов «должны вестись одновременно. Слишком пристальное внимание к процедурам анализа без достаточного внимания к теории приводит к потере цели исследования. В результате получаем новые факты, но не новые знания. В свою очередь, теория, освобожденная от необходимости эмпирической проверки, превращается в схоластику, в конструкты ума, не имеющие под собой никакой реальной почвы.

При определении взаимозависимости метода и теории ставится вопрос о первичности одного из них. Здесь сталкиваются две противоположные точки зрения: «В соответствии с преобладающей англоязычной философской и научной традицией метод определяется теорией науки и в особенности эпистемологией. В соответствии с другой традицией метод определяет границы эпистемологии и детерминирует форму теории науки... С первым мнением мы связываем доминирующее в этом веке эмпирическое направление, с последним — прагматиков (напр., Дьюи и Поппера)» [Hooker 1977:3]. Более распространенной среди языковедов является первая точка зрения, чем подчеркивается зависимость метода от теоретических установок исследователя («метод прямо зависит от теории, на определенный методологический аппарат оказывает прямое влияние определенный теоретический аппарат, принятый для данного исследования» [Mathiot 1970:160]. Подобная мысль высказывается и Холлидеем: «Различные виды описаний являются частями метода, которые выводятся из этой теории и соответствуют ей» [Halliday 1961:241]). В зарубежной марксистской литературе также утверждается примат теории: «Отделять метод от теории нельзя, поскольку метод выводится из теории, а тем самым и из данного мировоззрения» [Альбрехт 1977:75]. В то же время бытует и противоположное мнение: вначале метод, затем — теория [Chao Yuen Ren 1970:204]. При таком подходе теория следует за фактами.

По поводу обусловленности метода теорией заметим следующее. Действительно, метод — орудие построения теории, его роль, несомненно, важна для эмпирических наук, к которым относится и лингвистика. Однако уже до начала анализа ученый обладает целой системой сведений об изучаемом им явлении, т. е. практически исходит из определенных теоретических посылок. П. Гарвин, в частности, говорит: «Что касается происхождения методологических принципов в лингвистике, то я придерживаюсь общепринятой точки зрения, что они выводятся из исходных теоретических посылок (theoretical frame of reference). Тогда возникает основной вопрос: какие исходные теоретические посылки будут лучше всего способствовать возникновению эффективных методологических принципов? Помимо этого существует дополнительный источник методологических принципов в лингвистике, который часто игнорируется при теоретических обсуждениях метода. Это то, что я бы назвал «транстеоретичным» профессиональным опытом. Я имею в виду то, что независимо от их теоретической позиции хорошие исследователи-лингвисты развили хорошие рабочие приемы. Эти хорошие приемы чаще всего эксплицитно не формулируются и должны быть извлечены в результате трудоемких экстраполяций. Разумные теоретические принципы, на которых основываются эти хорошие навыки, равным образом часто скрыты и нередко даже противоречат теоретическим положениям исследователей. Разрыв между скрытыми принципами и явными позициями является еще одним следствием несоответствия между методом и теорией» [Garvin 1970:11]. Внимания заслуживает подчеркнутая автором мысль о зависимости методов исследования от теоретических посылок, о том, что в любом случае исследователь независимо от декларируемых им взглядов придерживается определенной точки зрения, влияющей не только на описание, анализ материала, но и на подход к выбору материала. Помимо этого влияние оказывают и посылки общего характера. Действительно, распределение фактов на существенные и второстепенные как начальный этап исследования уже предполагает определенную базу, на которой такое разграничение становится возможным. Это обстоятельство, по-видимому, не всеми осознается по той причине, что самые общие по характеру философско-методологические, мировоззренческие позиции в лингвистических исследованиях преимущественно не эксплицируются. Однако как бы исследователь ни пытался отмежеваться от какой-либо философской платформы, она неизменно присутствует. Рассмотрение этого предмета приводит зарубежных ученых к идентичному взгляду. Исходные посылки «содержат много черт, которые теоретик не осознает полностью даже на дальнейших, не говоря о начальных, стадиях экспликации... Исходные посылки (frame of reference) — это то, что делает исследователя метафизиком или семантическим аналитиком оксфордского толка, или бихевиористом или феноменологом» [Verhaar 1970:42]. Признавая важность исходных мировоззренческих позиций, зарубежные авторы нередко пытаются все же приуменьшить значение философской базы, отводя ей роль чего-то второстепенного, в основном интуитивного, хотя при этом и не

отрицается тот факт, что выбор эвристических процедур во многом оказывается зависимым именно от основных философских посылок [Verhaar 1970:43]. В целом же признание роли философии носит формальный характер, что не удивительно. Ведь даже постановка более широкого вопроса, как соотношение философии и конкретно-научных представлений о мире, в зарубежной науке далеко не всегда находит нужный отклик. Значительный сдвиг в этом плане зафиксировался состоявшийся в ФРГ в 1978 г. XVI Всемирный философский конгресс «Философия и мировоззренческие проблемы современной науки» [Федосеев 1978]. Вообще вопрос о соотношении философских установок и методов анализа затрагивается редко и главным образом не лингвистами, занятыми больше разработкой конкретных лингвистических процедур. И то, что во многом при разработке таких процедур лингвисты стихийно становятся на позиции материалистические или близкие к материалистическим («вырабатывают хорошие рабочие приемы»), обусловлено их исследовательской практикой. Четкая мировоззренческая позиция необходима для ориентации в лабиринтах методик, процедур. Ведь важно и для отбора, и для анализа материала считаем ли мы, что сущность любой вещи познается обязательно через ее отношения с другими вещами, но не исчерпывается и не равняется этим отношениям; что любой предмет внешнего мира находится в системных отношениях с другими вещами (при этом понимание системности и взаимозависимости никоим образом не предполагает «жесткости» системы, ведь в материалистической диалектике положение о причинности явлений теснейшим образом связывается с понятием случайности); что для понимания сущности вещи необходимо знание ее истории. Установки философско-методологического характера в значительной степени определяют то, как лингвист работает с материалом, как интерпретирует полученные результаты. Из этого следует, что философско-методологическая основа отражается как на способах отбора, рассмотрения фактов, так и на их оценке, т. е. методология в значительной степени определяет как лингвистическую практику, так и ее теорию. Методология выступает как априористическая теория по отношению к конкретно-научным исследованиям в том смысле, что не относится непосредственно к данному частному опыту, не вытекает из него, а (если она подлинно научная) представляет собой совокупность воззрений, полученных и проверенных на огромном предшествующем эмпирическом материале. Методология не дает ключ к решению частных задач, а определяет путь исследования, служит, пользуясь выражением Энгельса, руководящей нитью [Энгельс, т. 22:86].

С вопросами о взаимоотношении метода и теории непосредственно связаны вопросы, касающиеся использования некоторых общенаучных принципов в исследовательской работе. Особую актуальность они приобрели в связи с выдвиганием трансформационной грамматики. Это прежде всего вопрос об интуиции в научном исследовании, которой трансформационная грамматика отводит ведущее место. Гипертрофирование роли интуиции, очевидно, идет не только

от Декарта, влияние которого на развитие своей концепции Хомский всячески подчеркивает, но также от значимости, которая стала придаваться интуиции в науке вообще. Наряду с попытками изжить интуитивный момент в научных исследованиях наблюдается другая тенденция — включать интуитивный момент в качестве основного средства построения новых теорий [Копнин 1973:83]. Возведение интуиции в один из методов исследования генеративной грамматики (Чейф даже считает интроспекцию одним из основных методов лингвистического анализа, которому надо так же обучать, как и какому-либо иному методу [Chafe 1971:76]) вызвало резкую реакцию многих исследователей. Как пишет Робинс, возражения относительно интуиции касаются не ее использования вообще, а конечного подтверждения ею какого-либо утверждения или способа анализа. Интуиция является частью научной деятельности ученого, служит своего рода инструментом, средством познания объекта, однако она не может рассматриваться как критерий достоверности: «Интуиция, предчувствия и догадки лингвиста, как и реакция говорящего на данном языке на особые виды анализа, должны быть в конце концов сведены к утверждениям о формах говоримого и слышимого (и подтверждены ими)... после этого они перестают быть частными интуициями или чувствами избранного индивида, а становятся общим достоянием каждого, кто способен и желает проследить за процедурами анализа и соотнести их с материалом, которым они подтверждаются. Этот момент хорошо резюмируется в следующем: «Интуиция — частная; наука требует, чтобы ее методы были общепонятными (public), а ее результаты могли подвергаться многочисленным проверкам» [Robins 1966:9]. Эту же точку зрения разделяет Л. Пап: «В принципе существенной характеристикой положений науки, на мой взгляд, является преимущество, отдаваемое скорее чувственным данным, чем так называемым откровениям или рассуждениям для подтверждения той или иной точки зрения. С этим связаны требования общепонятности и эксплицитности... Опасность интроспективных суждений, на которые оказывает влияние нормативизм школьной грамматики или же какие-либо престижные соображения, никогда нельзя исключить... С другой стороны, конечно, интроспекция всегда и обязательно присутствует при анализе наблюдаемого вербального поведения и построения теории» [Pap 1978:10].

Преобразование интуиции в метод в связи с распространением трансформационно-генеративной грамматики дало повод некоторым лингвистам говорить об эпохе частного знания, эпохе частного мнения, которое так же трудно проверить, как и опровергнуть именно вследствие того, что это знание частное [Neu 1975]. Причины частного характера знаний Дж. Ней усматривает также в особенностях их распространения, когда о новых результатах сообщалось либо в мимеографах, либо о них узнавали из частных бесед и на эти частные беседы делались ссылки. (Об этом же см.: [Трансформационно-генеративная грамматика 1980]). Время подтвердило шаткость принципа интуиции как основного способа проверки. Интуиции генеративистов относительно одного и того же объекта в целом ряде случаев

оказывались совершенно различными. Тем самым есть основания говорить, что интуиция в их понимании отличается от интуиции в понимании Декарта, для которого последняя связана с аксиоматичностью, бесспорностью знания.

Большое место в дискуссиях отводится вопросу о том, какими общенаучными методами следует пользоваться при исследовании языка: индуктивными, основывающимися на исследовании эмпирического материала, или же гипотетико-дедуктивными, предполагающими получение новых знаний как строго логических следствий некоторых теоретических построений. В соответствии с этим выделяются два основных подхода к исследованию языка: ориентированный на метод и ориентированный на теорию. Первый подход представляют ортодоксальные последователи дескриптивизма, второй — трансформационно-генеративной грамматики. Резкие столкновения мнений по поводу использования того или иного подхода вызваны прежде всего тем, что подход, ориентированный на теорию, сторонниками трансформационной грамматики считается единственно научным. Однако стремление определить подлинное место каждого из этих подходов вынудило даже сторонников трансформационной грамматики смягчить данную ранее оценку первого из них. Лайонз, например, высказывает мысль о том, что коль скоро оба направления — индуктивный и гипотетико-дедуктивный — признают необходимость тщательной проверки и эмпирической верификации наблюдений и процессов изучения языка, то они оба в равной степени научны [Lyons 1977:8]. Идея о необходимом сосуществовании этих методов, а не полном вытеснении одного другим, связывается с различием решаемых задач. Эту идею проводит, например, Матьет: «В гипотетико-дедуктивном подходе гипотеза формулируется для объяснения определенного явления и целью изучения является проверка этой гипотезы. В описательном (дескриптивном) подходе данное явление избирается как объект для описания и целью является обнаружение некоторых доселе неизвестных качеств (атрибутов) этого явления» [Mathiot 1970:159].

Ориентация только на дедуктивный метод расценивается как отрицательное явление в современной лингвистической практике. Такое мнение обосновывается тем, что анализ, постоянно направленный на проверку решений, может препятствовать развитию совершенно новых подходов к языку. Это происходит от того, что проблемы, как правило, формулируются в рамках какой-либо одной теории — трансформационной, тагмемной, стратификационной, а это соответственно предполагает и решения в рамках этих теорий: «Каждая теория накладывает ограничения на те типы вопросов, которые она в состоянии решить. Она избегает и игнорирует другие, навешивая на них такие ярлыки, как, пользуясь выражениями Хомского, «тривиальный или находящийся за пределами современного понимания и техники (процедур)» [Die Pietro 1973:36]. Исход решения о степени важности каждого из методов определяет то, как рассматривается вопрос о соотношении метода и теории в исследовательской практике. И подобно тому, как значительная часть зарубежных

лингвистов все больше начинает осознавать неразрывность существования метода и теории, так и относительно гинотетико-дедуктивного и индуктивного методов высказываются мнения о необходимости их сочетания. При этом большая роль отводится индуктивному, эмпирическому методу, что обосновывается самой природой лингвистики как эмпирической науки, имеющей дело в первую очередь с эмпирическими, наблюдаемыми фактами. «Целью такого подхода,— пишет П. Гарвин,— является скорее обеспечение основания для получения достоверного знания о языках, чем систематизация и «объяснение» уже известных или предположительно известных фактов» [Garvin 1964:7]. Игнорирование эмпирической природы языка, пренебрежение языковыми фактами, упрощение языковой картины так же, как и отказ во многих случаях от необходимости проверки своих построений при использовании дедуктивного метода, приводит к тому, что получаемые результаты, которые можно было бы считать достоверными для каких-то ограниченных формальных систем, некритически переносятся на естественные языки. Оставляя в стороне взаимоисключающие мнения о возможностях применения индуктивного и дедуктивного методов в лингвистике, следует отметить, что постепенно вырабатывается точка зрения, пытающаяся определить место каждого из методов соответственно поставленным задачам и природе исследуемого объекта. В результате этого устраняется метафизичность абсолютного противопоставления этих методов.

Метафизическая абсолютизация — характерная черта американского языкознания, во многом спровоцировавшая его контroversы. Ошибка в определении соотношения метода и теории в дескриптивной и трансформационно-генеративной грамматиках имеет один и тот же источник — абсолютизацию. В дескриптивной лингвистике абсолютизации подверглось то общее, что объединяет метод и теорию. В результате метод стал отождествляться с теорией и подменять ее. В трансформационно-генеративной лингвистике абсолютизируются различия между теорией и методом, в результате чего стала утверждаться научность только теории. Метод и теория — взаимосвязанные, взаимопроникающие формы. Поэтому признание только одной из них — в результате ли смешения их или создания непреодолимых барьеров между ними,— как это продемонстрировала история развития американской лингвистики, приводит к отрицательным результатам. Не оправдали себя ни полная ориентировка на методы, в результате чего была потеряна перспектива исследования, ни излишняя теоретизация, а точнее, логизация лингвистики. То, что среди американских исследователей вырабатывается более реалистичный подход к определению соотношения метода и теории, позволяет надеяться на появление новых перспектив.

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ВАЛЕНТНОСТИ

(на материале немецкого языка)

За последнее десятилетие как в советском, так и в зарубежном языкознании наблюдается значительный количественный и качественный рост исследований по теории валентности. Появилось немало новых статей, сборников, рецензий и диссертаций, посвященных отдельным аспектам валентного анализа, апробированного на материале новых языков. Вопросы валентности были также предметом обсуждения на XII Международном съезде лингвистов, на котором была создана специальная рабочая группа «Валентность и семантические падежи». Все это свидетельствует о чрезвычайной популярности теории валентности, одной из наиболее перспективных дисциплин современного языкознания. Большая заслуга в этом, несомненно, принадлежит видному германисту из ГДР Г. Хельбигу, который не только дал критическую оценку существующих концепций, но и систематизировал их и развил дальше на принципиально новой методологической основе.

Не останавливаясь на истории становления понятия валентности (этот вопрос всесторонне освещался в работах советских лингвистов, например [Локштанова 1971; Степанова 1973] и др.), попытаемся проследить основные тенденции развития теории валентности за последние 10 лет, ее взаимоотношение с теорией семантических падежей, с членами предложения и в этой связи указать на некоторые спорные и еще нерешенные вопросы. Такая постановка задачи, на наш взгляд, необходима хотя бы потому, что среди зарубежных лингвистов нет единого мнения как относительно статуса валентности, ее места в грамматической теории, так и относительно вытекающих отсюда частных вопросов. Мы несколько не претендуем на полноту охвата проблем, более того, ограничиваемся рассмотрением концепций, созданных только на материале немецкого языка.

В современном языкознании не существует единства в трактовке понятия «валентность». В самом общем смысле под этим понятием, возникшим на базе вербоцентрической теории предложения, подразумеваются основные закономерности синтагматических связей языковых единиц, их необходимое или возможное контекстуальное окружение. Валентность непосредственно связана как с лексикой, так и с синтаксисом и представляет собой «точку пересечения синтаксиса и лексической семантики» [Степанова, Хельбиг 1978:14].

Понятие валентности по объему и содержанию не совпадает с понятием управления или категорией переходности/непереходности, и это обстоятельство играет немаловажную роль при изучении иностранных языков. Например, немецкие глаголы-синонимы *grüßen* и *begrüßen* являются переходными и управляют винительным падежом, однако их синтагматические (валентные) свойства проявляются по-разному. Ср.: *Er grüßt*, **Er begrüßt*. Первый глагол допускает безобъектное употребление, второй нет.

Кроме синтаксической сочетаемости слов, понятие валентности позволяет объяснить и устранить случаи нарушения семантической

сочетаемости, например, неправильное употребление глагола в предложении *Wir treffen Neujahr вместо Wir feiern Neujahr. В этом его несомненная практическая значимость, которая нашла воплощение в области лексикографии [Helbig, Schenkel 1975; Sommerfeldt, Schreiber 1974, 1977].

В лингвистической литературе отмечалось, что в теории валентности в 70-е годы четко выявились две основные тенденции. Понятие валентности расширяется в двух направлениях [Степанова, Хельбиг 1978:151—152]: к синтаксическому уровню присоединяется уровень логико-семантический; валентность с глагола распространяется на другие части речи.

Обе тенденции тесно связаны друг с другом и взаимозависимы: «Если существует валентность на логико-семантическом уровне, то можно сделать вывод о наличии валентности и у других частей речи (кроме глагола). ...И, напротив, если предположить наличие валентности, например, у прилагательного или существительного, то в наше поле зрения, безусловно, должна попасть и логико-семантическая валентность» [Степанова, Хельбиг 1978:195].

Поскольку валентность других частей речи освещалась в цитируемой работе, ограничимся рассмотрением только первой тенденции. Она проявляется не только в том, что многие исследователи признают выделение различных уровней валентности и соответственно различают логическую, семантическую и синтаксическую валентность, но также в том, что изменились взгляды на саму природу данного явления. Как подтверждают новейшие исследования, валентность теперь рассматривается не как чисто синтаксическое, а скорее, как семантико-синтаксическое явление. Возросший интерес к семантике предложения в целом и семантизация валентности объясняются, во-первых, тем, что многие синтаксические явления не могут быть описаны достаточно глубоко без привлечения семантических исследований, во-вторых, тем, что они — необходимое звено в процессе системного описания любого языка.

Признавая релевантность семантических отношений между лексическими единицами предложения в создании валентной модели, исследователи тем не менее отводят им различную роль. Так, Р. Паш, К. Хайдольф, Г. Хельбиг считают, что валентностные отношения как синтаксическое явление лишь опосредованно отражают семантические отношения в предложении. В. Мюльнер и К. Габка полагают, что валентность (непосредственным образом) предопределяется семантикой автосемантического сказуемого. И наконец, В. Бондзио, К. Зоммерфельдт рассматривают валентность как свойство значения, т. е. считают ее исключительно семантическим явлением.

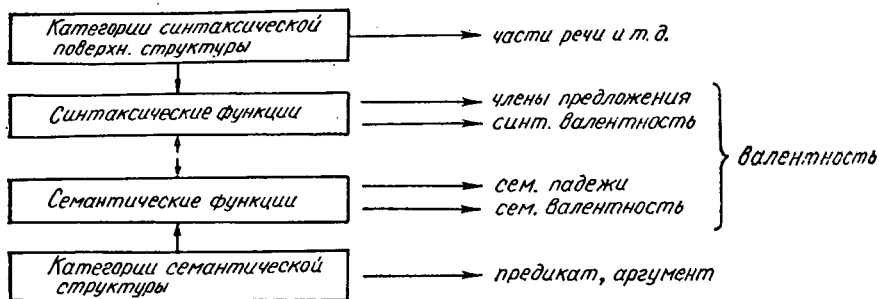
Если согласиться с точкой зрения К. Габки и исходить из того, что валентность (непосредственным образом) определяется семантикой сказуемого [Die russische Sprache 1976:108], то это противоречило бы диалектическому пониманию сущности языковой системы как сложного, многоуровневого механизма, в котором все уровни тесно взаимосвязаны и в то же время не соотносятся одно-однозначно и не обладают параллельной структурой. В самом деле, указание

Габки на то, что если исходить из валентности глагола, а не сказуемого, то семантически однородные предложения *Сын походил на отца* и *Сын был похож на отца* имели бы разную валентностную структуру, является несостоятельным, так как данная точка зрения неизбежно приводит к признанию прямого соответствия между семантической и синтаксической структурами предложения.

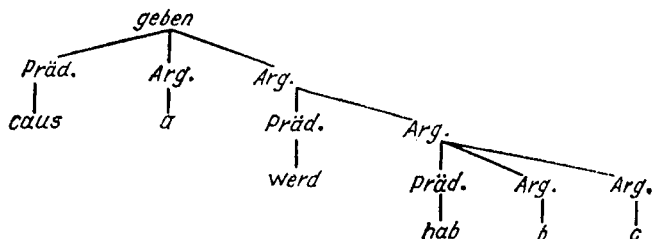
Понимание валентности как исключительно логико-семантического явления, выдвигаемое В. Бондзио [Bondzio 1974], в равной мере нельзя не считать уязвимым, так как его концепция учитывает лишь содержательную сторону сложного языкового знака и почти полностью игнорирует его формальную сторону. Более того, введение им «валентности второй ступени» и «открытых позиций второй ступени», как убедительно доказала Р. Паш [Pasch 1977:34—35], не только не проясняет отношение валентности к морфосинтаксической структуре, но и затемняет ее отношение к семантико-компонентной структуре. Рассматривая адвербиальные распространители в предложениях типа *Er versank lautlos*, Бондзио приходит к заключению, что именно они являются носителем валентности (в данном примере *lautlos*), а глагол (*versinken*) занимает открываемую им позицию. Сведение адвербиальных распространителей к предикациям справедливо скорее для логической структуры потенциального предложения, но не для конкретной синтаксической поверхностной структуры [Степанова, Хельбиг 1978:220].

Наиболее точной и последовательной представляется точка зрения Г. Хельбига. Понимая под валентностью способность той или иной части речи «создавать вокруг себя определенные открытые позиции, которые должны быть заполнены облигаторными или факультативными актантами» [Степанова, Хельбиг 1978:147], Хельбиг имеет в виду создание и замещение как семантических, так и синтаксических позиций. Исходя из диалектической взаимосвязи объективной действительности, мышления и языка и, следовательно, из того, что факты и явления внеязыковой действительности являются объектом мысленного отражения и одновременно основой, мотивирующей возникновение языковых структур, Хельбиг подчеркивает, что последние возникают в результате сложного, многоступенчатого и опосредованного взаимодействия нескольких уровней.

О каких же уровнях или языковых структурах идет речь и каким образом они взаимодействуют? Представим себе, что на одном полюсе находится уровень синтаксической поверхностной структуры, описываемый в терминах категорий частей речи и падежных форм, а на другом — подлинно семантическая структура, состоящая из элементарных семантических компонентов (сем) и выражаемая категориями предиката (функтора) и аргумента (аргументов). Между этими полюсами расположены промежуточные ступени синтаксических и семантических функций, на которых соответственно локализованы явления синтаксической и семантической валентности, выражаемые в виде членов предложений и семантических падежей. Схематически это можно представить следующим образом [Helbig 1979:68] (схема 1).



Как подтверждают новейшие исследования [Viehweger 1977], семантическая структура той или иной языковой единицы представляет собой структуру, состоящую из элементарных единиц, которые отражают объективную действительность и определяются как лингвистически релевантные составные части значения в результате компонентного анализа, а также при помощи парафразы. Эти элементарные единицы значения (сема) находятся в определенных иерархических отношениях, устанавливаемых по принципу логической предикации, категориями которой являются предикат (функтор) и один или несколько аргументов. Так, значение лексемы *geben* имеет следующую структуру (схема 2).



Данная структура, включающая три предиката (*caus*, *werd*, *hab*), может быть вербализована примерно так: *a* вызывает изменение, которое заключается в том, что *b* имеет *c*. На уровне семантической и тем более синтаксической валентности, однако, происходят не только линейризация (выравнивание) и лексикализация иерархических отношений между предикатами, но и, что особенно важно, не все аргументы реализуются в виде семантических падежей и членов предложения. Такой реализации поддаются лишь аргументы *a*, *b* и *c* (*geben*₃ → Агенса, Пациенса, Адресата или *geben*₃ → Sn, Sa, Sd). Комплексный аргумент (*haben* (*b*, *c*)) не получает такой реализации, поэтому его нельзя считать глагольным актантам.

Таким образом, данные семантического анализа позволяют Хельбигу сделать справедливый вывод о том, что между семантико-компонентной структурой и семантической валентностью нет одно-однозначного соответствия: «Число аргументов, действительно реализуемых в качестве конститuentов (актантов), ... не идентично сумме

компонентов в структуре значения. Отсюда можно заключить, что при переводе семантической структуры в семантические падежи (семантическую валентность) происходит не только линеаризация (деиерархизация), но и одновременно, как правило, редукция семантических компонентов, поскольку не все они лексикализируются, т. е. выступают в качестве актантов» [Helbig 1979:69]. Следовательно, семантическая валентность не носит чисто семантического характера, поэтому нет оснований считать ее прямым свойством значения, поскольку она представляет собой нечто производное от подлинной структуры значения и выступает как связующее звено между семантической и синтаксической структурами предложения. В этом смысле следует согласиться с тем, что семантические падежи (роли) носят не категориальный, а функциональный характер [Heidolph 1977:75—76].

Отсутствие прямого соответствия между значением и валентностью еще нагляднее проявляется на уровне поверхностной синтаксической структуры. Здесь возможна (иногда даже необходима) дальнейшая редукция семантических компонентов, т. е. в определенных условиях не обязательно подлежат лексикализации семантические падежи, например у глаголов с факультативными актантами [Das Kind trinkt]. Другие глаголы, например со сжатым значением, вообще исключают лексическую реализацию соответствующего аргумента (*Er bezahlt es dem Kaufmann mit Geld) или же допускают таковую лишь с целью семантической спецификации (Er bezahlt es ihm mit barem Geld).

Кроме того, отсутствие прямой соотнесенности между семантической и синтаксической структурами предложения подтверждается тем общепризнанным фактом, что одному семантическому падежу могут соответствовать несколько поверхностных падежей (членов предложения) и, наоборот, одному члену предложения могут соответствовать несколько семантических падежей [Helbig 1979:67].

Таким образом, валентностные отношения в целом представляют собой результат синтактификации семантических отношений между элементарными семантическими единицами (предикатами и аргументами), валентность следует рассматривать как сложное явление в системе взаимосвязи формальной структуры и структуры значения [Pasch 1977:1].

Изложенная концепция Хельбига, отказавшегося в последние годы от рассмотрения валентности как формального явления плана выражения, основывается на строгом разграничении различных уровней валентности. В то же время она показывает, что наиболее адекватное описание языковых структур может быть достигнуто при органическом соединении в единое целое модели синтаксической валентности с моделью логико-семантической валентности и семантико-компонентным анализом. Часто встречающееся у Хельбига отождествление семантических падежей с семантической валентностью свидетельствует о том, что он в последних работах несколько расширил содержание семантической валентности. Она отражает не только факт, что слова, носители валентности «требуют определенных

конкретных партнеров с определенными семантическими признаками и исключают других контекстных партнеров с иными семантическими признаками» [Helbig, Schenkel 1975:65]. Семантическая валентность также «регулирует» заполнение открытых позиций классами партнеров, отобранных по смыслу по определенным семантическим признакам» [Степанова, Хельбиг 1978:155—156], т. е. «сообщает сведения о количестве и качестве лексикализируемых аргументов из семной структуры предиката» [Helbig 1979:71]. На наш взгляд, было бы весьма полезно, если бы эти сведения нашли отражение при подготовке нового издания «Словаря валентности и дистрибуции немецких глаголов».

В связи с выяснением статуса семантической валентности возникает ряд вопросов, на которые в лингвистической литературе пока нет однозначного ответа. Какое место занимает она в теории семантических падежей? Какую роль играет семантическая структура аргументов и предикатов при определении семантических падежей? Составляют ли последние законное «промежуточное звено» между синтаксической валентностью и подлинно семантической структурой? [Rosengren 1978]. Теоретическое решение этих и других вопросов будет зависеть от того, удастся ли доказать релевантность информативных данных, поставляемых семантическими падежами, и выявить то новое, что не содержится на других уровнях. Тем не менее уже сейчас можно согласиться с тем, что необходимость в семантических падежах вытекает прежде всего из практических потребностей: без них нельзя обойтись ни при составлении специальных словарей, ни в практике преподавания иностранных языков, ни при составлении семантических моделей того или иного языка. Совершенно очевидно, что для всех этих целей нет надобности, да и нецелесообразно, каждый раз приводить полную структуру семантических компонентов — значительно проще и удобнее воспользоваться абстракциями в виде семантических падежей [Pasch 1977:17; Helbig 1979:72].

Несколько иной точки зрения, чем Г. Хельбиг, придерживается западногерманский лингвист У. Энгель. Следует отметить, что в ФРГ, в частности в Институте немецкого языка в Маннгейме, в течение ряда лет ведутся интенсивные исследования по синтаксической валентности немецких глаголов. Как первый итог этих исследований нужно рассматривать издание У. Энгелем и Х. Шумахером «Небольшого словаря по валентности немецких глаголов», который по замыслу авторов может быть использован не только как справочное пособие преподавателями немецкого языка, но и послужить «важной основой при составлении контрастивных грамматик» [Engel, Schumacher 1976:9].

Одним из существенных недостатков словаря является сознательный отказ авторов от описания семантики как глаголов, так и их актантов, хотя для изучающего иностранный язык это не менее важно, чем знание синтаксической дистрибуции носителей валентности. Кроме того, авторы словаря используют, на наш взгляд, чрезмерно сложную формализацию, рассчитанную в первую очередь на ма-

пный синтаксический анализ и затрудняющую ее восприятие обыкновенным читателем.

В настоящее время Энгель разработал новую «семантизированную» концепцию валентности, которая учитывает новейшие достижения в области семантических исследований. Эта модель включает морфосинтаксическую валентность, понимаемую как «subklassenspezifische Rektion», т. е. как частный случай управления в самом широком смысле слова, и семантико-синтаксическую [Engel 1980]. Остановимся кратко только на втором виде валентности, так как первый рассматривался нами ранее [Sojko 1979:47—49]. Предлагаемая модель Энгеля представляет собой попытку интеграции достижений интерпретативной и генеративной семантики. Поскольку первая позволяет охватить лишь часть релевантных значений, т. е. то, что Энгель называет категориальным значением («семантические категории актантов, в пределах которых может варьироваться употребление лексемы» — Engel 1980:10), его модель включает также семантические отношения, описываемые теорией семантических падежей Ч. Филлмора. Эти отношения, именуемые Энгелем как «реляционное значение» вместе с категориальным образуют комбинаторное значение лексемы, которое касается окружений глагола и устанавливается самим глаголом.

Обе составные части комбинаторного значения в каждом языке имеют свою специфику и нередко являются источником интерференции. Так, немецкому глаголу *essen* присущ признак (—Tiere), в то время как русские «есть, кушать» распространяются также на животных. В предложениях *I like Indonesian girls* и *Indonesische Mädchen gefallen mir*, по мнению Энгеля, имеет место «смена ролевой рамки», или перестановка семантических отношений, что могло бы стать объектом изучения в специальных контрастивных исследованиях [Engel 1980:11].

В целом же значение элемента *x*, согласно Энгелю, состоит из имманентного (*inhärente Bedeutung*) и комбинаторного значений. Последнее, как можно заключить из приведенной схемы [там же], следует понимать как семантическую валентность элемента *x*, проявляющуюся в виде «семантико-синтаксических контекстных ограничений». По сути данная модель семантической валентности имеет много общего с описанной выше моделью Хельбига. Тем не менее она представляется несколько односторонней в том смысле, что не вскрывает механизма взаимодействия семантической валентности с семантико-компонентной структурой, как и морфосинтаксической валентностью. Не совсем понятно также, как соотносится с компонентной структурой имманентное значение, понимаемое Энгелем как лексическое значение.

Определение статуса валентности самым тесным образом связано также с выяснением статуса членов предложения. Вокруг этого вопроса среди зарубежных лингвистов до сих пор продолжают острейшие споры, и это вполне естественно, так как члены предложения выделяются при помощи различных критериев — семантических, формально-синтаксических, псевдосемантических и др., — на основе

тех или иных представлений о выделении языковых уровней. При этом некоторые исследователи предлагают даже вообще отказаться от уровня членов предложения, поскольку они не могут дать исчерпывающую семантическую интерпретацию, ту, которую способны обеспечить, например, семантические падежи. Однако подавляющее большинство лингвистов вполне правомерно считает, что признание семантических падежей ни в коей мере не должно вести к отказу от членов предложения. Для большей наглядности приведем здесь точку зрения Г. Хельбига, которая представляется весьма интересной и заслуживающей внимания.

Вслед за К. Хайдольфом Г. Хельбиг исходит из того, что, во-первых, члены предложения с точки зрения конституэнтной структуры являются не категориями, а функциями между конституэнтами, т. е. выражают определенные отношения [Helbig 1979:65]. Так, в предложении *Ich sehe ihn kommen* «ihn» может рассматриваться как объект глагола «sehen» и в то же время как субъект глагола «kommen».

Во-вторых, «члены предложения представляют собой не семантические, а синтаксические единицы; им нельзя непосредственным образом приписать какое-либо значение» [там же]. Это, разумеется, не должно означать, что члены предложения вообще не выражают значений. Дело в том, что они не всегда выражают одно и то же значение (так, например, синтаксический субъект в предложении может быть агенсом, пациенсом, адресатом и т. д.).

В каких же отношениях находятся члены предложения и семантика? Уже на начальном этапе анализа обнаруживается, что эти отношения не однородны. Так, адвербиальные определения (обстоятельства времени, места и др.) отличаются тем, что они имеют специфицированное, или специализированное значение (например, значение темпоральности, локальности и т. д.), которое может получить еще большую конкретизацию. К. Хайдольф и Г. Хельбиг [Heidolph 1977:59, Helbig 1979:66] выделяют два вида членов предложения:

1) те, которые не имеют семантической спецификации (субъект, объект);

2) члены предложения с семантической спецификацией (например, различные виды обстоятельств).

Правда, как указывает Г. Хельбиг, семантические подклассы адвербиальных определений следует рассматривать не как подлинные члены предложения, а как разновидности одного члена предложения (в данном случае адвербиального определения). В связи с этим все члены предложения можно распределить на трех уровнях:

1) субъект, объект, предикат, адвербиальное определение (обстоятельство) следует отнести к уровню собственных членов предложения;

2) обстоятельства времени, места и т. д. — это семантические подклассы одного члена предложения, значение которых дифференцировано и которые расположены якобы ниже уровня членов предложения;

3) атрибут как явление исключительно синтаксической поверхности представляет собой только часть члена предложения, является

производным от него и расположено поэтому над уровнем членов предложения [там же].

Предложенная классификация позволяет сделать вывод о том, что только специализированные члены предложения могут получить в пределах синтаксиса семантическое описание. Аналогичная характеристика остальных членов предложения возможна только вне синтаксиса, т. е. на основе семантической валентности (семантических падежей).

По мнению Г. Хельбига понятие члена предложения расположено на двух уровнях: на уровне основной синтаксической структуры (сходной с «глубинной» структурой Хомского) и на уровне поверхностной структуры. Подразделение членов предложения на «глубинные» и поверхностные позволяет разграничить, с одной стороны, внешне идентичные явления, как, например, в следующих предложениях: а) *Hans ist begierig zu gewinnen*; б) *Hans ist leicht zu gewinnen*. В обоих предложениях «Hans» является поверхностным субъектом, однако на уровне основной синтаксической структуры «Hans» следует квалифицировать соответственно как субъект и объект глагола «*gewinnen*».

С другой стороны, в высказываниях с различной структурой: 1) *Peter kauft den Anzug*; 2) *Der Anzug wird von Peter gekauft*; 3) *Das Kaufen des Anzuges durch Peter* субъектом основной синтаксической структуры будет «Peter», который совпадает с поверхностным субъектом только в первом высказывании.

Как видим, члены предложения выражают отношения не только основной синтаксической структуры, но и поверхностной структуры. В связи с этим возникает вопрос о том, не могут ли «глубинные» члены предложения использоваться в целях семантической интерпретации. Приведем два примера:

1) *Der Arzt verursachte die Schmerzen*.

2) *Der Arzt ertrug die Schmerzen*.

В обоих предложениях, построенных по одной и той же синтаксической модели, «*der Arzt*» является одновременно поверхностным и «глубинным» субъектом. В семантическом отношении только в первом случае субъект можно определить как агенс.

Это обстоятельство еще раз подтверждает, что ни поверхностные, ни так называемые «глубинные» члены предложения не в состоянии вскрыть различия (как, например, в двух последних предложениях), которые могут быть описаны при помощи инвентаря семантических падежей [Helbig 1982:48.—49].

После теоретических рассуждений остановимся на некоторых наиболее важных практических вопросах валентности, окончательное решение которых во многом будет зависеть от определения статуса валентности.

В лингвистической литературе до сих пор обсуждается вопрос о разграничении валентно связанных и валентно несвязанных членов предложения, т. е. актантов и свободных распространителей [Biere 1976; Andresen 1973:19—63]. Такое внимание к данной проблеме объясняется отсутствием четких, эксплицитных критериев, кото-

рые бы гарантировали надежное отграничение этих членов предложения, а также их отнесенность к различным уровням. Так, «операционные тесты» Хельбига являются как бы определенным сигналом на уровне синтаксической поверхностной структуры, отражающим различия, которые заложены в семантико-компонентной структуре. Критерии, предлагаемые И. Бальвегом, Х. Шумахером и др. [Helbig 1979:72], напротив, основываются на логико-семантическом уровне, хотя на практике зачастую носят интуитивный характер и никак не обходятся без синтаксического уровня. В этой связи Г. Хельбиг подчеркивает, что границу между актантами и свободными распространителями действительно следует искать на логико-семантическом уровне, однако такая мотивация, во-первых, ни в коем случае не предполагает прямого соотношения между уровнями и, во-вторых, отнюдь не исключает применения определенных «операционных тестов» на синтаксическом уровне [Helbig 1979:72].

В свете изложенной выше концепции валентно связанные члены предложения представляют собой лексикализованные аргументы семантико-компонентной структуры глагола, в то время как свободные распространители, участвующие в отражении действительности, не являются лексически и синтаксически реализованными аргументами из семантико-компонентной структуры глагола. Иными словами: «Речь идет об актанте, как правило, тогда, если лежащий в его основе аргумент зависит от функторного комплекса, реализуемого на поверхности... в виде глагола; о свободном распространителе мы говорим тогда, когда лежащий в его основе элемент не входит в функторный комплекс, реализующийся в виде глагольной лексемы (т. е. находится за пределами этого функторного комплекса)» [Helbig 1979:72].

Конечно, среди актантов глагола встречаются и такие, которые, по-видимому, восходят не к аргументам предикатно-семной структуры, а скорее всего сами имеют характер предиката, например адвербиальные определения в предложениях *Er benimmt sich gut*; *Die Stunde verlauft interessant*. Статус этих элементов на уровне семантической валентности изучен пока мало, зато не вызывает сомнения, что на уровне синтаксической валентности они являются облигаторными актантами.

Что же касается самих операционных тестов, позволяющих отграничить валентно связанные члены предложения от валентно несвязанных, то на них нет необходимости останавливаться, так как они достаточно полно представлены в книге М. Д. Степановой и Г. Хельбига «Части речи и проблема валентности в современном немецком языке» [1978:179—183].

Определенные трудности возникают также при разграничении облигаторных и факультативных актантов. Большую роль в этом играют языковой контекст и внеязыковая ситуация. Поскольку деление валентности на облигаторную и факультативную не обусловлено семантико-компонентной структурой и, естественно, отсутствует на уровне семантической валентности, соответствующий критерий для их разграничения может быть получен только на по-

верхностной структуре. В этом смысле наиболее эффективным можно считать тест на элиминирование (пробу на опущение). Он ограничивает облигаторные актанты от факультативных, с одной стороны, и от свободных распространителей — с другой: «Член предложения является облигаторным актантом в том случае, если его элиминирование в поверхностной структуре нарушает грамматичность предложения. Если же член предложения может быть элиминирован, а предложение остается грамматичным, то он является либо факультативным актантом, либо свободным распространителем» [Степанова, Хельбиг 1978:179].

Однако при всей эффективности тест на элиминирование «срабатывает» далеко не во всех случаях, например с глаголами *stattfinden*, *geschehen*, *sich ereignen*. На грамматичность конструкций с этими глаголами, несомненно, оказывают влияние также такие факторы, как порядок слов, временная форма, выбор артикля [Nikula 1976:28]. Ср.: *Das Unglück geschah in der Nacht*; **Das Unglück geschah*; *Das Unglück ist geschehen*; **Der schwere Unfall begab sich*; *Es begab sich ein schwerer Unfall*.

В других случаях тест на элиминирование не позволяет однозначно определить, является ли опущенный актант облигаторным или факультативным, например *Die Mutter wäscht ab*; *Sie räumt auf*.

Элиминация валентно связанных дополнений в приведенных примерах возможна ввиду узуальности внеязыковой ситуации даже в отдельном, изолированном предложении. Именно сильная ситуативная обусловленность нередко препятствует объективному проведению теста на элиминирование. Кроме того, этот тест не может быть подвержен воздействию субъективных факторов, например индивидуальному восприятию говорящего или грамматиста, которая приводит к различным результатам. Так, в «Словаре валентности и дистрибуции немецких глаголов» Г. Хельбига и В. Шенкеля косвенный объект глаголов *geben* и *schenken* (в значении «вручить что-л. кому-н.»), близких по значению и синтаксическим свойствам, характеризуется соответственно как облигаторный и факультативный актант. В маннгеймском «Словаре валентности» этот объект, напротив, в обоих случаях квалифицируется как факультативный член предложения [Nikula 1976:15—16]. Скорее всего, следует согласиться с Р. Паш, которая считает, что предложение *Peter schenkt Rosen* в актуальном значении глагола *schenken* никак не может выступать изолированно. Оно возможно лишь в определенном контексте, в котором упоминался адресат действия, например *Zum Geburtstag des Direktors versammelte sich das gesamte Institut; Viele überreichten eine kleine Aufmerksamkeit; Peter schenkte Rosen* [Pasch 1977:24].

Отмеченные моменты свидетельствуют о том, что ограничение облигаторных актантов от факультативных иногда связано с определенными трудностями. Отсюда, однако, не следует, что применение теста на элиминирование ставится под сомнение. Напротив, в каждом конкретном случае он должен осуществляться предельно строго, с тем чтобы исключить влияние контекста и внеязыковой ситуации. Необ-

ходимо также совершенствовать методику отграничения валептно связанных членов предложения и свободных распространителей. Поэтому К. Хойер с полным основанием требует, чтобы результаты, полученные при проведении теста на элиминирование, подкреплялись данными семантического анализа [Neuer 1977:26].

Как известно, деление членов предложения на облигаторные и факультативные актанты, а также свободные распространители основано на том, что они не в одинаковой степени связаны с глаголом. Наиболее прочной связью отмечены облигаторные актанты, а наименьшей — свободные распространители. Однако, как показывают исследования последних лет, даже облигаторные актанты (в изолированном от контекста предложении) могут обладать различной степенью облигаторности. Причины этого явления изучены пока недостаточно и кроются прежде всего в семантике глаголов.

Как показывает Р. Паш, степень облигаторности (элиминируемости) облигаторных актантов можно определить при помощи следующих тестов [Pasch 1977:23—25]:

1) на модализацию: если к основному глаголу, выражающему актуальный процесс (состояние), присоединить модальный глагол, выражающий потенциальный процесс (состояние), то при положительном прохождении теста элиминированный актант можно считать относительно-облигаторным: *Kann er schenken? Kann er verwöhnen? Er muß beobachten; *Kann er durchdenken? *Kann er wohnen? *Kann er versehen?*;

2) на контрастность.

Этот тест создает еще большие возможности для элиминирования актантов. Он позволяет элиминировать облигаторный актант у многих глаголов, которые не «прошли» тест на модализацию. Ср.: *Er durchdenkt nicht, sondern er handelt impulsiv; Er wohnt nicht, sondern er haust; *Er versieht nicht, sondern er befreit.*

При помощи данной пробы осуществляется окончательное отграничение относительно-облигаторных актантов от абсолютно-облигаторных, отличающихся наиболее устойчивой связью с глаголом и тем самым наивысшей степенью облигаторности.

Р. Паш высказывает предположение о том, что факультативным актантам также свойственна различная степень элиминируемости (факультативности). С этим едва ли можно согласиться, так как факультативные актанты не обязательно подлежат реализации в отдельно взятом предложении и легко элиминируются при проведении пробы на опущение.

Необходимо отметить, что наблюдения Р. Паш относительно различной степени элиминируемости облигаторных актантов подтверждаются данными семантического анализа, полученными К. Хойером. Проанализировав «диапазон именной избирательности» (*nominale Selektionsbereichsanalyse*) семи немецких глаголов, имеющих одинаковую семантическую структуру (с отношением агенса и пациенса) и обозначающих динамическое действие, Хойер пришел к следующему заключению [Neuer 1977:101—103]:

1. Степень элиминируемости пациенса на поверхностной струк-

туре решающим образом зависит от объема диапазона его избирательности. Чем уже пациентный диапазон, тем выше элиминируемость, и, наоборот, чем шире этот диапазон, тем ниже элиминируемость пациенса.

2. Элиминируемость не является каким-то недифференцированным свойством глагола, которое либо дано, либо отсутствует. Наоборот, у различных глаголов она имеет различную градацию.

Диапазон именной избирательности, по мнению Хойера, в свою очередь, находится в обратно пропорциональном отношении к количеству релевантных признаков, конституирующих его значение. Так, пациенс глагола *stricken* с шестью признаками имеет самый узкий, а глагола *ändern* (без единого признака) самый широкий диапазон избирательности [Neuer 1977:100]. Следовательно, пациенс глагола *stricken* характеризуется наивысшей элиминируемостью (\mathcal{E}_6 -факультативный актанта), а пациенс *ändern* имеет самую низкую степень элиминируемости (\mathcal{E}_0 -облигаторный актанта), ср.: *Sie strickt*; **Er ändert*.

Эти глаголы (так же, как и *bügeln*, и *fabrizieren* со степенью элиминируемости соответственно \mathcal{E}_5 и \mathcal{E}_1) позволяют относительно однозначно определить синтаксическую репрезентацию их пациенса, что, впрочем, совпадает с результатами пробы на опущение. Значительно сложнее обстоит дело с определением степени элиминируемости валентно связанных актантах глаголов *sortieren*, *polieren*, *schnitzen*, располагающихся по числу релевантных признаков соответственно на ступенях \mathcal{E}_2 , \mathcal{E}_3 и \mathcal{E}_4 . К. Хойер характеризует их следующим образом: \mathcal{E}_2 — неэлиминируемый, но со склонностью к элиминации; \mathcal{E}_3 — в равной степени элиминируемый и неэлиминируемый; \mathcal{E}_4 — элиминируемый, но со склонностью к неэлиминации.

Предложенная классификация, разумеется, не лишена субъективизма, ибо здесь многое решает интуиция или индивидуальная компетентность исследователя. Тем не менее она, как и исследование Р. Памп, наглядно демонстрирует синтаксическую неоднородность состава валентно связанных членов предложения, в том числе облигаторных актантах.

Как нам представляется, изучение причин этого явления — одна из нерешенных проблем в современных исследованиях по теории валентности.

С теорией валентности самым тесным образом связаны вопросы синтаксического и семантического моделирования предложений. Выступая в качестве надежной теоретической базы, теория валентности по мере развития позволяет решить многочисленные проблемы моделирования и в то же время сама получает отсюда новые импульсы для дальнейшего развития.

При всем многообразии попыток выявить и классифицировать модели предложения на основе валентности в зарубежном языковедении в последнее время четко наметились два направления. Это синтаксически ориентированные модели, базирующиеся на синтаксической валентности (Г. Хельбиг, У. Энгель, Б. Энгелен, Х. Херингер и др.), и семантически ориентированные модели, составляющие не-

однородную группу. К последним можно отнести как модели, предполагающие прямое соответствие между смысловой и синтаксической структурами (И. Эрбен), так и модели, исключаящие такое соответствие и основывающиеся на семантических падежах (ролях) Ч. Филлмора (В. Шенкель). На наш взгляд, последняя подгруппа, которую Х. Шумахер называет «чисто семантико-синтаксическими моделями» [Schumacher 1975:366], заслуживает особого внимания. Даже при всей неразработанности теории семантических падежей сопоставление моделей, построенных на ее основе и независимо от синтаксических моделей, с основными синтаксическими структурами позволило бы установить, каким образом они соотносятся между собой, а также выявить закономерности репрезентации семантических падежей на уровне поверхностной структуры. Кроме того, семантические модели, обладая большей объяснительной силой, чем синтаксические, создают благоприятные условия для сопоставительного изучения языковых явлений разных языков. Разумеется, реализация этих моделей в речи, в частности разговорной, должна занять достойное место в контрастивных исследованиях.

Таким образом, в центре внимания современного зарубежного языкознания не только находятся проблемы внутреннего развития теории валентности, связанные с углубленным изучением ее статуса, но и наблюдается тенденция вскрыть взаимосвязь валентности, семантических падежей и грамматических отношений. И несмотря на то, что семантическим падежам разными исследователями отводится различная роль, четко обнаруживается стремление еще теснее увязать их с поверхностной структурой предложения. Семантизация валентности в конечном итоге позволит еще глубже исследовать механизм ее проявления на уровне синтаксической поверхностной структуры и изучить синтаксические явления в единстве их формы и содержания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ *

- Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология.— Соч. 2-е изд., т. 3, с. 7—544.
- Маркс К., Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека.— Соч. 2-е изд., т. 20, с. 486—499.
- Энгельс Ф. Диалектика природы.— Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 339—626.
- Энгельс Ф. Ответ господину Паулю Эрнсту.— Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 22, с. 85—90.
- Энгельс Ф. Франкский диалект.— Б. м.: Партиздат, 1935.— 144 с.
- Ленин В. И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? — Полн. собр. соч., т. 1, с. 125—346.
- Ленин В. И. О праве наций на самоопределение.— Полн. собр. соч., т. 25, с. 255—320.
- Ленин В. И. Великий почин.— Полн. собр. соч., т. 39, с. 1—29.
- Ленин В. И. Философские тетради.— Полн. собр. соч., т. 29, с. 164.
- Аврорин В. А. Язык и культура.— В кн.: Теоретические проблемы современного советского языкознания. М.: Наука, 1964, с. 114—121.
- Аврорин В. А. Ленинские принципы языковой политики.— ВЯ, 1970, № 2, с. 6—16.
- Аврорин В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка: К вопросу о предмете социолингвистики.— Л.: Наука, 1975.— 276 с.
- Автономова Н. С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках.— М.: Наука, 1977.— 271 с.
- Адмони В. Г. Основы теории грамматики.— М.; Л.: Наука, 1964.— 105 с.
- Азархин В. А., Горский В. С. Об изучении интегративных процессов в славистике.— В кн.: Современные славянские культуры: развитие, взаимодействие, международный контекст. Киев: Наук. думка, 1979, с. 24.
- Альбрехт Э. Критика современной лингвистической философии: Пер. с нем.— М.: Прогресс, 1977.— 160 с.
- Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории лингвистики.— М.: Наука, 1975.— 559 с.
- Андерш Й. Ф. Проблема мовних універсалій у сучасному зарубіжному мовознавстві.— В кн.: Питання теорії мови в зарубіжному мовознавстві. К.: Наук. думка, 1976, с. 151—195.
- Антонович И. И. Цивилизация и культура: проблема определения и идейная борьба.— ВФ, 1981, № 11, с. 97—107.
- Арманд Д. Л. Человечество и океан информации.— В кн.: Проблемы интерлингвистики: Типология и эволюция междунар. искусств. яз. М.: Наука, 1976, с. 55—59.
- Арутюнова Н. Д. Проблемы синтаксиса и семантики в работах Ч. Филлмора.— ВЯ, 1973, № 1, с. 117—124.

* Условные сокращения: Варианты 1981 — Варианты полиязычных литературных языков.— Киев: Наук. думка, 1981.— 280 с.; ВФ — Вопросы философии; ВЯ — Вопросы языкознания; НЭИ — Новое в зарубежной лингвистике.— М., 1978—1981.— Вып. 8—10; НД — Новое в лингвистике.— 1960—1975.— Вып. 1—7.

- Азманова О. С.* Очерки по общей и русской лексикологии.— М.: Учпедгиз, 1957.— 295 с.
- Азманова О. С.* Словарь лингвистических терминов.— 2-е изд.— М.: Сов. энцикл., 1969.— 607 с.
- Азманова О. С., Минаева Л. В.* Еще раз о так называемой «теоретической лингвистике».— ВЯ, 1979, № 5, с. 17—27.
- Балли Ш.* Французская стилистика.— М.: Изд-во иностр. лит., 1961.— 394 с.
- Белл Р. Т.* Социолингвистика: Цели, методы и пробл.: Пер. с англ.— М.: Междунаур. отношения, 1980.— 318 с.
- Белый В. В.* Американская дескриптивная лингвистика.— В кн.: Философские основы зарубежных направлений в языкознании. М.: Наука, 1977, с. 158—204.
- Бирвиш М.* Семантика.— НЗЛ, 1981, вып. 10, с. 177—199.
- Блумфилд Л.* Язык.— М.: Прогресс, 1968.— 607 с.
- Бодуэн де Куртене И. А.* Фонетические законы.— Избр. тр. по общ. языкознанию. М.: Изд-во АН СССР, 1963, т. 2, с. 189—208.
- Бок Ф. К.* Структура общества и структура языка.— НЛ, 1975, вып. 7, с. 382—396.
- Болинджер Д.* Автоматизация значения.— НЗЛ, 1981, вып. 10, с. 200—234.
- Бородина М. А.* О территориальных вариантах национального языка.— В кн.: Проблемы языкознания: Докл. и сообщ. сов. ученых на X Междунаур. съезде лингвистов. М.: Наука, 1967, с. 134—138.
- Брайт У.* Введение: параметры социолингвистики.— НЛ, 1975, вып. 7, с. 34—41.
- Брендель В.* Структуральная лингвистика.— В кн.: Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. М.: Учпедгиз, 1960, ч. 2, с. 40—46.
- Брозевич Д.* Славянские стандартные языки и сравнительный метод.— ВЯ, 1967, № 1, с. 3—33.
- Бублик В. Н.* Процессы дифференциации в языке ГДР и ФРГ.— В кн.: Варианты 1981, с. 125—144.
- Будагов Р. А.* Язык и общество.— В кн.: Филология и культура. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980, с. 272—278.
- Вазек И.* Лингвистический словарь Пражской школы.— М.: Прогресс, 1964.— 350 с.
- Веденина Л. Г.* Функциональное направление в современном зарубежном языкознании.— ВЯ, 1978, № 6, с. 74—84.
- Вейнрейх У.* Опыт семантической теории.— НЗЛ, 1981, вып. 10, с. 50—176.
- [Вейнрейх] *Вайнрайх У.* Языковые контакты: Состояние и пробл. исслед.— Киев: Вища шк.: Изд-во при Киев. ун-те, 1979.— 264 с.
- Верещагин Е. М., Костомаров В. Г.* Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании рус. яз. как иностр.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Рус. яз., 1976.— 248 с.
- Виноградов В. В.* Некоторые вопросы советского литературоведения.— Лит. газ., 1951, 19 мая.
- Винокур Г. О.* Эпизод идейной борьбы в западной лингвистике.— ВЯ, 1957, № 2, с. 59—70.
- Вокс В. Н.* Новозеландский национальный вариант английского языка.— В кн.: Варианты 1981, с. 87—92.
- Гагранек Б. К.* Проблематике смешения языков.— НЛ, 1972, вып. 6, с. 94—111.
- Гак В. Г.* Проблема соотношения между родственными языками в функциональном аспекте.— В кн.: Типология сходств и различий близкородственных языков. Кишинев: Штиинца, 1976, с. 32—40.
- Гамперц Дж. Дж.* Об этнографическом аспекте языковых изменений.— НЛ, 1975, вып. 7, с. 299—319.
- Георгиев В.* Исследования по сравнительно-историческому языкознанию: Родств. отношения индоевроп. яз.— М.: Изд-во иностр. лит., 1958.— 318 с.
- Грилицев П. А.* Проблема семантики художественного текста в санскритской поэтике.— Учен. зап. Тарт. ун-та, 1977, вып. 422. Тр. по знаковым системам, 9, с. 3—26.

- Гроссе Р., Нойберт А.* Тезисы к марксистской социолингвистике: Пер. с нем.— В кн.: Проблемы зарубежной социолингвистики: Реф. сб./ИНИОН. Ин-т языковедения АН СССР. М., 1976, с. 313—332.
- Гузман М. М.* Против идеализма и реакции в современном американском языкознании.— Изв. АН СССР. Отд-ние лит. и яз., 1952, т. IV, вып. 4, с. 281—294.
- Гузман М. М.* Проблемы системности в синхронии и диахронии.— ВЯ, 1962, № 4, с. 25—33.
- Гузман М. М.* Грамматическая категория и структура парадигм.— В кн.: Исследования по общей теории грамматики. М.: Наука, 1968, с. 117—174.
- Гузман М. М., Семенюк Н. Н.* О социологическом аспекте рассмотрения немецкого литературного языка.— В кн.: Норма и социальная дифференциация языка. М.: Наука, 1969, с. 5—25.
- Дешериев Ю. Д.* Социальная лингвистика.— М.: Наука, 1977.— 382 с.
- Доклады и сообщения* Института языкознания АН СССР.— М.: Изд-во АН СССР, 1956.— № 9, 180 с.
- Докулил М. К.* К вопросу о морфологической категории.— ВЯ, 1967, № 6, с. 3—16.
- Домашнев А. И.* Очерк современного немецкого языка в Австрии.— М.: Высш. школа, 1967.— 180 с.
- Домашнев А. И.* Основные черты современного немецкого языка в свете теории вариантности.— В кн.: Варианты 1981а, с. 112—125.
- Домашнев А. И.* Характерные черты немецкого литературного языка Австрии.— В кн.: Варианты 1981б, с. 144—159.
- Домашнев А. И., Помазан Н. Г.* Социально-функциональная структура немецкого языка Швейцарии.— В кн.: Варианты 1981, с. 160—170.
- Дридзе Т. М.* Язык и социальная психология.— М.: Высш. шк., 1980.— 224 с.
- Дьячков М. В.* Пиджинизация и последующая креолизация как специфическая разновидность языковых контактов.— В кн.: Социолингвистические проблемы развивающихся стран. М.: Наука, 1975, с. 48—52.
- Ельмслев Л.* Прологомены к теории языка.— НЛ, 1960, вып. 1, с. 264—389.
- Есперсен О.* Философия грамматики.— М.: Изд-во иностр. лит., 1958.— 404 с.
- Бржоленко С. С.* Аномальні категорії дієслова.— Укр. мова і літ. в школі, 1979, № 4, с. 29—32.
- Живов В. М., Успенский Б. А.* Центр и периферия в языке в свете языковых универсалий.— ВЯ, 1973, № 5, с. 24—35.
- Жирмунский В. М.* Предисловие.— В кн.: Немецкая диалектография. М.: Изд-во иностр. лит., 1955, с. 3—22.
- Жирмунский В. М.* История немецкого языка.— 5-е изд.— М.: Высш. шк., 1965.— 408 с.
- Жлуктенко Ю. А.* Лингвистические аспекты двуязычия.— Киев: Вища шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1974.— 176 с.
- Жлуктенко Ю. А.* Теория национальных вариантов языка.— В кн.: Варианты 1981а, с. 5—19.
- Жлуктенко Ю. А.* Критика социолингвистичних теорій зарубіжного мовознавства.— Мовознавство, 1981б, № 5, с. 3—11.
- Жлуктенко Ю. А., Вызовец Н. Н.* Канадский национальный вариант английского языка.— В кн.: Варианты 1981, с. 45—73.
- Журицкий А. Н.* Некоторые сопоставления «периферийных» классов языковых знаков (одного или разных языков).— В кн.: Синхронно-сопоставительный анализ языков разных систем. М.: Наука, 1971, с. 240—256.
- Зевгинцев В. Г.* Эстетический идеализм в языкознании: (К. Фосслер и его школа): Материалы к курсам языкознания.— М.: Изд-во Моск. ун-та, 1956.— 26 с.
- Исаченко А. В.* К вопросу об императиве в русском языке.— Рус. яз. в шк., 1957, № 6, с. 7—14.
- Иордан И.* Романское языкознание.— М.: Прогресс, 1971.— 619 с.
- Катц Дж.* Семантическая теория.— НЗЛ, 1981, вып. 10, с. 33—49.
- Кацнельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление.— Л.: Наука, 1972.— 216 с.

- Кацнельсон С. Д. Семантико-грамматическая концепция У. Л. Чейфа (послеловие).— В кн.: Чейф У. Л. Значение и структура языка. М.: Прогресс, 1975, с. 407—427.
- Клаус Г. Слова. — М.: Прогресс, 1967.— 215 с.
- Клюев В. И. Национально-языковые проблемы независимой Индии.— М.: Наука, 1978.— 294 с.
- Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Современная американская фонология.— М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.— 192 с.
- Колесов В. В. Историческая грамматика русского языка.— М.: Высш. шк., 1980.— 215 с.
- Копнин П. В. Диалектика, логика, наука.— М.: Наука, 1973.— 464 с.
- Косериу Э. Синхрония, диахрония и история: Пер. с исп.— НЛ, 1963, вып. 3, с. 143—343.
- Косериу Э. Современное положение в лингвистике.— Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1977, т. 36, вып. 6, с. 514—521.
- Кроче В. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. Ч. 1. Теория.— М.: Сабашниковы, 1920.— 173 с.
- Кубик М. Модели двусоставных глагольных предложений русского языка в сопоставлении с чешским.— Прага: Univ. Karlova, 1977.— 204 с.
- Культура — В кн.: Большая Советская Энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1973, т. 13, с. 594—597.
- Лабов У. Исследование языка в его социальном контексте.— НЛ, 1975а, вып. 7, с. 96—181.
- Лабов У. Отражение социальных процессов в языковых структурах.— НЛ, 1975б, вып. 7, с. 320—335.
- Лакофф Дж. О порождающей семантике.— НЗЛ, 1981, вып. 10, с. 302—349.
- Локштанова Л. М. О валентности глагола в современных лингвистических исследованиях.— Иностр. яз. в шк., 1971, № 1, с. 24—31.
- Лурия А. Р. Язык и сознание.— М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979.— 319 с.
- Макаев Э. А. Принципы сопоставительного изучения современных германских литературных языков.— В кн.: Норма и социальная дифференциация языка. М.: Наука, 1969, с. 69—86.
- Макдэвид Р. И.-мл. Диалектные и социальные различия в городском обществе.— НЛ, 1975, вып. 7, с. 363—381.
- МакКоли Дж. Д. О месте семантики в грамматике языка.— НЗЛ, 1981, вып. 10, с. 235—301.
- Маргине А. О книге «Основы лингвистической теории Луи Ельмслева».— НЛ, 1960а, вып. 1, с. 437—462.
- Маргине А. Принцип экономии в фонетических изменениях: Пробл. диахрон. фонологии.— М.: Изд-во иностр. лит., 1960б.— 260 с.
- Маргине А. Основы общей лингвистики.— НЛ, 1963, вып. 3, с. 528—566.
- Межуев В. М. О понятии культуры.— В кн.: Коммунизм и культура. М.: Наука, 1966, с. 7—33.
- Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков.— М.; Л.: Соцэкгиз, 1938.— 510 с.
- Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании.— М.: Изд-во иностр. лит., 1954.— 99 с.
- Мельничук А. С. Глоссематика.— В кн.: Философские основы зарубежных направлений в языкознании. М.: Наука, 1977, с. 125—157.
- Мельничук О. С. Сучасні проблеми марксистсько-ленінського розуміння розвитку і взаємодії мов світу.— В кн.: В. І. Ленін і розвиток національних мов. К.: Наук. думка, 1974, с. 37—61.
- Метод — В кн.: Философская энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1964, т. 3, с. 409—416.
- Методология — В кн.: Философский словарь. М.: Политиздат, 1981, с. 214—215.
- Миронов С. А. Ф. Энгельс и изучение истории нидерландского языка.— В кн.: Энгельс и языкознание. М.: Наука, 1972, с. 243—260.
- Мыльников А. С. Историко-типологические аспекты изучения современных славянских культур.— В кн.: Современные славянские культуры: развитие, взаимодействие, международный контекст. Киев: Наук. думка, 1979, с. 23.

- Пайда Е.* Анализ значения и составление словарей.— НЛ, 1962, вып. 2, с. 45—71.
- Нерознак В. П.* Палеобалканские языки.— М.: Наука, 1978.— 232 с.
- Никольский Л. Б.* Языковые проблемы афро-азиатских стран и советский опыт языкового строительства.— Народы Азии и Африки, 1972, № 6, с. 83—92.
- Никольский Л. Б.* О некоторых проблемах языкового развития в странах зарубежного Востока.— В кн.: Социолингвистические проблемы развивающихся стран. М.: Наука, 1975, с. 99—110.
- Новые направления в социологической теории.*— М.: Прогресс, 1978.— 391 с.
- О принципах и методах лингвистического исследования:* Пособие для студентов / О. С. Ахмапова, Л. Н. Натан, А. И. Полторацкий, В. И. Фетющенко.— М.: Изд-во Моск. ун-та, 1966.— 184 с.
- Общее языкознание: Формы существования, функции, история яз.* / Под общ. ред. Б. А. Серебренникова.— М.: Наука, 1970.— 604 с.
- Общее языкознание: Внутр. структура яз.*— М.: Наука, 1972.— 561 с.
- Общее языкознание: Методы лингв. исслед.*— М.: Наука, 1973.— 318 с.
- Панфилов В. З.* Язык, мышление, культура.— ВЯ, 1975, № 1, с. 3—12.
- Попова Л. Г.* Лексика английского языка в Канаде.— М.: Высш. шк., 1978.— 116 с.
- Порция В.* Членение индоевропейской языковой области.— М.: Прогресс, 1964.— 332 с.
- Погельня А. А.* Из записок по русской грамматике.— М.: Учпедгиз, 1958.— Т. 1—2.— 356 с.
- Почепцов Г.* Рец.: [Anderson J. A. M. The grammar of case: toward a localistic theory.— Cambridge: Cambridge univ. press, 1976.— 244 p.]— Мовознавство, 1978, № 1, с. 86—90.
- Прокопович Е. Н.* Стилистика частей речи: Глагол. словоформы.— М.: Просвещение, 1969.— 143 с.
- Реформатский А. А.* Глагольные формы типа *злор*.— Изв. АН СССР. Отд-ние лит. и яз., 1963, т. 22, вып. 2, с. 127—129.
- Родзевич Н. С.* Питання стилю в сучасному англо-американському мовознавстві.— В кн.: Питання теорії мови в зарубіжному мовознавстві. К.: Наук. думка, 1976, с. 195—233.
- Русанівський В. М.* Методологія, теорія і часткові методи лінгвістичних досліджень.— Мовознавство, 1975, № 2, с. 3—11.
- Русанівський В. М.* Марксистсько-ленінська методологія вивчення лінгвістичних об'єктів.— Там же, 1980, № 6, с. 3—11.
- Свадост Э.* Как возникнет всеобщий язык.— М.: Наука, 1968.— 288 с.
- Свистунов С.* Под видом помощи.— Правда, 1981, 6 июня.
- Семереньи О.* Введение в сравнительное языкознание.— М.: Прогресс, 1980.— 407 с.
- Сепир Э.* Язык.— М.; Л.: Соцэкгиз, 1934.— XIX, 223 с.
- Сергеевский М. В.* История французского языка.— 2-е изд.— М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1947.— 279 с.
- Силвермен Д.* Методология и значение.— В кн.: Новые направления в социологической науке. М.: Наука, 1978, с. 300—327.
- Скаличка В.* Копенгагенский структурализм и «Пражская школа».— В кн.: Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. М.: Учпедгиз, 1960, ч. 2, с. 92—99.
- Соссюр де Ф.* Курс общей лингвистики.— М.: Соцэкгиз, 1933.— 272 с.
- Степанов Г. В.* Испанский язык в странах Латинской Америки.— М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1963.— 202 с.
- Степанов Г. В.* Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи.— М.: Наука, 1976.— 224 с.
- Степанов Г. В.* К проблеме языкового варьирования.— М.: Наука, 1979.— 326 с.
- Степанов Ю. С.* Методы и принципы современной лингвистики.— М.: Наука, 1975а.— 311 с.
- Степанов Ю. С.* Основы общего языкознания.— М.: Просвещение, 1975б.— 271 с.

- Степанова М. Д. Проблемы теории валентности в современной лингвистике.— Иностр. яз. в шк., 1973, № 6, с. 12—22.
- Степанова М. Д., Хельбиг Г. Части речи и проблема валентности в современном немецком языке.— М.: Высш. шк., 1978.— 258 с.
- Тезисы Пражского лингвистического кружка.— В кн.: Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. М.: Учпедгиз, 1960, ч. 2, с. 69—85.
- Ткаченко О. Б. Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков.— Киев: Наук. думка, 1979.— 300 с.
- Трансформационно-генеративная грамматика в свете современной зарубежной научной критики: Реф. сб. / ИНИОН. Ин-т языковедения АН СССР.— М., 1980.— 185 с.
- Тронский И. М. Историческая грамматика латинского языка.— М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1960.— 320 с.
- Трубейкой Н. С. Основы фонологии.— М.: Изд-во иностр. лит., 1960.— 372 с.
- Уленбек Э. М. Еще раз о трансформационной грамматике.— ВЯ, 1968, № 3, с. 94—112; № 4, с. 107—116.
- Фант Г. Акустическая теория речеобразования.— М.: Наука, 1964.— 284 с.
- Фаукес Р. А. Английская, французская и немецкая фонетика и теория субстрата.— НЛ, 1972, вып. 6, с. 333—343.
- Федосеев П. Н. Некоторые вопросы развития советского языкознания.— В кн.: Теоретические проблемы современного советского языкознания. М.: Наука, 1964, с. 31—38.
- Федосеев П. Н. Философия и мировоззренческие проблемы современных наук.— ВФ, 1978, № 12, с. 34—49.
- Филин Ф. П. К вопросу о так называемой диалектной основе русского национального языка.— В кн.: Вопросы образования восточнославянских национальных языков. М.: Изд-во АН СССР, 1962, с. 22—30.
- Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков.— Л.: Наука, 1972.— 655 с.
- Фишер Дж. Л. Синтаксис и социальная структура: Трук и Понапе.— НЛ, 1975, вып. 7, с. 397—421.
- Фрингс Т. Энгельс как философ.— В кн.: Немецкая диалектография. М.: Изд-во иностр. лит., 1955, с. 220—223.
- Хаймс Д. Х. Два типа лингвистической относительности.— НЛ, 1975, вып. 7, с. 229—298.
- Ханазаров К. Х. Сближение наций и национальные языки в СССР.— Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1963.— 243 с.
- Хартунг В. О смысле и содержании марксистско-ленинской концепции языка.— В кн.: Актуальные проблемы языкознания ГДР. М.: Прогресс, 1979, с. 27—47.
- Хауген Э. Лингвистика и языковое планирование.— НЛ, 1975, вып. 7, с. 441—472.
- Холл Р. А., мл. Критика теории Хомского.— ВЯ, 1978, № 5, с. 55—65.
- Хомский Н. Синтаксические структуры.— НЛ, 1962, вып. 2, с. 412—527.
- Хомский Н. Логические основы лингвистической теории.— НЛ, 1965а, вып. 4, с. 465—575.
- Хомский Н. О понятии «правило грамматики».— НЛ, 1965б, вып. 4, с. 34—65.
- Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса.— М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972а.— 259 с.— (Публ. Отд-ния структур. и прикл. лингвистики. Сер. пер.; Вып. 1).
- Хомский Н. Язык и мышление.— М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972б.— 122 с.— (Публ. Отд-ния структур. и прикл. лингвистики. Сер. пер.; Вып. 2).
- Чейф Л. У. Значение и структура языка: Пер. с англ. Г. С. Шура; Послел. С. Д. Кацнельсона.— М.: Прогресс, 1975.— 430 с.
- Чередниченко А. И. Язык и общество в развивающихся странах Африки.— В кн.: Язык и идеология. Киев: Вища шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1981, с. 190—211.
- Швейцер А. Д. Литературный английский язык в США и Англии.— М.: Высш. шк., 1971.— 216 с.
- Швейцер А. Д. Современная социолингвистика; Теория, пробл., методы.— М.: Наука, 1976а.— 176 с.

- Швейцер А. Д.* Социолингвистика в США.— В кн.: Проблемы зарубежной социолингвистики. М.: Наука, 1976б, с. 7—62.
- Швейцер А. Д.* Американская социолингвистика.— В кн.: Философские основы зарубежных направлений в языкознании. М.: Наука, 1977, с. 204—257.
- Швейцер А. Д., Никольский Л. Б.* Введение в социолингвистику.— М.: Высш. шк., 1978.— 216 с.
- Щепанский Я.* О методологии исследования проблем культуры.— В кн.: Современные славянские культуры: развитие, взаимодействие, международный контекст. Киев: Наук. думка, 1979, с. 14.
- Шихирев П. Н.* Об особенностях методов социально-психологических исследований в США.— В кн.: Методология и методы социальной психологии. М.: Наука, 1977, с. 215—228.
- Эрвин-Трипп С. М.* Язык. Тема. Слушатель: Анализ взаимодействия.— НЛ, 1975, вып. 7, с. 336—362.
- Язык и идеология: Критика идеалист. концепций функционирования п развития яз.— Киев: Вища шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1981.— 244 с.*
- Якобсон Р.* Лингвистика и поэтика.— В кн.: Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975, с. 193—230.
- Ярцева В. Н.* О территориальной основе социальных диалектов.— В кн.: Норма и социальная дифференциация языка. М.: Наука, 1969а, с. 26—46.
- Ярцева В. Н.* Развитие национального литературного английского языка.— М.: Наука, 1969б.— 286 с.
- Ярцева В. Н.* Теория взаимодействия языков и работа У. Вайнрайха «Языковые контакты».— В кн.: Вайнрайх У. Языковые контакты: Состояние и пробл. исслед. Киев: Вища шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1979, с. 5—17.
- Anderson J. M.* The grammar of case: Toward a localistic theory.— Cambridge: Cambridge univ. press, 1976.— 244 p.
- Andresen H.* Ein methodischer Vorschlag zur Unterscheidung von Ergänzung und Angabe im Rahmen der Valenztheorie.— Dtsch. Sprache, 1973, H. 1, S. 49—63.
- Anttila R.* An introduction to historical and comparative linguistics.— New York, 1972.
- Anttila R.* Formalization as degeneration in historical linguistics.— In: Historical linguistics. [Vol.] 1. Proc. first intern. conf. on hist. ling. Edinburgh 2nd-7th Sept. 1973. Amsterdam etc.: North-Holland publ. co., 1974, p. 1—28.
- Anttila R.* The reconstruction of Sprachgefühl: a concrete abstract.— In: Current progress in historical linguistics: Proc. second int. conf. hist. ling. Tucson, Arizona, 1—16 Jan. 1976. Amsterdam etc.: North-Holland publ. co., 1976a, p. 215—234.
- Anttila R.* Who is a structuralist? — In: Linguistic and literary studies in honor of A. A. Hill / Ed. by M. A. Jazayery, E. C. Polomé. Vol. 1. General and theoretical linguistics. Lisse: Ridder, 1976b, p. 63—73.
- Arbeiten zur Konversationsanalyse / T. Dittmann (Hrgs.).— Tübingen: Niemeyer, 1979.— VII, 300 S.*
- Ariste P.* Rez.: [Veenker W. Die Frage des finno-ugrischen Substrats in der russischen Sprache. The Hague, 1967. XY, 329 S.].— Сов. финно-угроведение, 1968, № 2, с. 148—150.
- Badura B.* Sprachbarrieren: Zur Soziologie der Kommunikation.— Stuttgart — Bad Cannstatt: Frommann — Holzboog, 1971.— 184 S.
- Bar-Hillel Y.* Aspects of language: Essays and lectures on philosophy of language, linguistic philosophy and methodology of linguistics.— Jerusalem: Magnes press, Hebrew univ.; Amsterdam: North-Holland publ. co., 1970.— vi, 381 p.
- Bechert J.* Die Theorie der generativen Grammatik und die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft.— In: Theorie, Methode und Didaktik der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft. Wiesbaden, 1973, S. 43—50.
- Bernard B.* Language in sociocultural context: Two recent books by M. A. K. Halliday.— Z. Angl. und Amer., 1979, 27, H 4, S. 341—345.
- Bernstein B.* Some sociological determinants of perception: An inquiry into sub-cultural differences.— Brit. J. Sociol., 1958, 9, N 2, p. 159—174.
- Bernstein B.* A public language: some sociological implications of a linguistic form.— Ibid., 1959, 10, N 4, p. 311—326.

- Bernstein B.* Social class, linguistic codes and grammatical elements.— *Language and Speech*, 1962, 5, p. 221—240.
- Bernstein B.* A socio-linguistic approach to social learning.— In: *Social science survey*. Harmondsworth: Penguin, 1965, p. 144—168.
- Bernstein B.* Elaborated and restricted codes: An outline.— *Sociol. inquiry*, 1966, 36, N 2, p. 254—266.
- Berresford E. P.* The Cornish language and its literature.— London; Boston: Routledge and Regan, 1974.—ix, 230 p.
- Biere B. U.* Ergänzungen und Angaben.— In: *Untersuchungen zur Verbvalenz.* / Hrsg. H. Schumacher. Tübingen: Gunter Narr, 1976.— S. 129—173.
- Blondé J.* La français d'Afrique et l'enseignement.— *Realités afr. et langue fr.*, 1979, N 10, p. 65—118.
- Bondzy W.* Die Valenz zweiter Stufe als Grundlage der Adverbialsyntax.— *Wiss. Z. Humboldt-Univ. Gesellschafts- und sprachwis. R.*, 1974, H. 3/4, S. 245—257.
- Bright W.* Variation and change in language: Essays / Selected and introduced by A. S. Dil.— Stanford C. A.: Stanford univ. press, 1976.— 283 p.
- Brook G. L.* English dialects.— London: Deutch, 1972.— 232 p.
- Bynon Th.* Historical linguistics.— Cambridge etc.: Cambridge univ. press, 1977.— x, 301 p.
- Calvet L.-J.* Le français d'Afrique et l'enseignement du français en Afrique.— *Français monde*, 1978, N 138, p. 29—42.
- Canu G.* Le français, langue seconde en Afrique noire.— *Français moderne*, 1979, N 3, p. 197—207.
- Carnap R.* Logische Syntax der Sprache.— Wien: Springer, 1934.— xi, 274 S.
- Carnap R., Bar-Hillel Y.* Semantic information.— *Brit. J. Philos. Sci.*, 1953, 4, p. 147—157.
- Chafe W. L.* Meaning and the structure of language.— Chicago; London: Univ. Chicago press, 1971.— 360 p.
- Chao Yuen Ren.* Some aspects of the relation between theory and method.— In: *Method and theory in linguistics* / Ed. by P. L. Garvin. The Hague; Paris: Mouton, 1970, p. 15—30.
- Charleston B.* Studies in the emotional and affective means of expression in modern English.— Bern: Franke, 1960.— 367 p.
- Cherubim D.* Sprachwandel, Individuum und Gesellschaft (Thesen).— In: *Historizität in Sprach- und Literaturwissenschaft: Vorträge und Berichte der Stuttgarter Germanistentagung*, 1972. München: Fink, 1974, S. 365—372.
- Chomsky N.* Syntactic structures.— 2nd ed.— 's Gravenhage: Mouton, 1962.— 118 p.
- Chomsky N.* Aspects of the theory of syntax.— Cambridge (Mass.): Mass. inst. technol. press, 1965.— x, 251 p.
- Chomsky N.* Deep structure, surface structure and semantic interpretation.— In: *Semantics: An interdisciplinary reader in philosophy, linguistics, anthropology and psychology* / Ed. by D. D. Steinberg, L. A. Jakobovits. London; Cambridge (Mass.): Cambridge univ. press, 1971, p. 183—216.
- Chomsky N.* Hloubková struktura, povrchová struktura a sémantická interpretace.— V: *Studie z transformační gramatiky. 1. Nové perspektivy syntaxe a sémantiky*. Praha: Státní pedagog. náklad., 1975, s. 9—48.
- Chomsky N., Halle M.* The sound pattern of English.— New York: Harper and Row, 1968.— xiv, 470 p.
- Corbett N. L.* De la philologie à la grammaire transformationnelle, en passant par le structuralisme. In: XIV congresso internazionale di linguistica e filologia romanza. Napoli, 15—20 apr. 1974. Atti. Napoli: Macchiaroli; Amsterdam: Benjamins, 1976, vol. 2, p. 299—315.
- Coseriu E.* Grammaire transformationnelle et grammaire historique.— *Ibid.*, 1976, p. 329—338.
- Coseriu E.* Sincronia, diacronia e historia. El problem del cambio lingüístico.— Montevideo, 1958.
- Couillard M.* A discussion of restricted and elaborated codes.— *Educational rev.*, 1969, 22, N 1, p. 38—50.

- Daneš F.* The relation of centre and periphery as a language universal.— *Tra-vaux linguistiques Prague*, 1966, fasc. 2. Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue, p. 9—21.
- Daneš F.* K novější kritické literatuře o generativně transformační sémantice.— *Slovo a slovesnost*, 1975, N 2, s. 131—143.
- Dauzat A.* L'Europe linguistique.— Paris: Payot, 1953.— 236 p.
- Delattre P.* German phonetics between English and French.— *Linguistics*, 1964, 8, p. 43—55.
- Değbrück B.* Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen.— 6. Aufl.— Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1919.— 250 S.
- Di Pietro R.* New vistas in a post-transformational era.— In: Some new directions in linguistics / Ed. by R. W. Shuy. Washington: Georgetown univ. press, 1973, p. 34—50.
- Dik S. C.* Oppervlaktestructuur en dieptestructuur.— *Forum Letteren*, 1969, 10, N 1, s. 19—41.
- Duponchel L.* Le français d'Afrique: une langue, un dialecte ou une variété de français? — *Dossiers pédagog.*, 1974, N 14, N 13, p. 7—13.
- Eichhorn W.* Zur Bestimmung des Gegenstandes der Philosophie.— *Dtsch. Z. Philos.*, 1973, H. 1, S. 5—19.
- Engel Ü.* Fügungspotenz und Sprachvergleich.— *Wirkendes Wort*, 1980, H. 1, S. 1—22.
- Engel U., Schumacher H.* Kleines Valenzlexikon deutscher Verben.— Tübingen: Gunter Narr, 1976.— 306 S.
- Faik S., Faik-Nzui Madia C.* La néologie comme miroir d'une société: le cas du Zaïre.— *Français moderne*, 1979, N 3, p. 220—231.
- Fillmore Ch.* The case for case.— In: *Universals in linguistic theory*. New York: Holt, Rinehart, Winston, 1968, p. 1—88.
- Fillmore Ch.* Types of lexical information.— In: *Studies in syntax and semantics*. Dordrecht — Holland, 1969, p. 109—137.
- Fillmore Ch.* Subjects, speakers and roles.— *Synthese*, 1970, 21, N 3/4, p. 251—274.
- Fillmore Ch.* Some problems for case grammar.— *Working Papers Linguistics*. Georgetown univ., 1971, N 10, p. 245—264.
- Fillmore Ch.* Subjecty, mluvčí a role.— V: *Studie z transformační gramatiky*. 2. Interpretativní a generativní sémantika. Praha: Státní pedagog. náklad., 1976, s. 245—234.
- Fisher J. L.* Social influences on the choice of linguistic variant.— *Word*, 1958, 14, p. 47—61.
- Fisher J. L.* Syntax and social structure.— In: *Sociolinguistics*. The Hague; Paris: Mouton and co., 1966, p. 168—183.
- Fishman J. A.* National languages and languages of wider communication in the developing nations.— In: *Language use and social change: problems of multilingualism with special reference to Eastern Africa* / Ed. by W. H. Whiteley. London: Oxford univ. press, 1971a, p. 27—56.
- Fishman J. A.* The impact of nationalism on language planning.— In: *Can language be planned?* / Ed. by J. Rubin, B. H. Jernudd. Honolulu: Univ. press Hawaii, 1971b, p. 3—20.
- Fishman J. A.* The sociology of language: an interdisciplinary social science approach to language in society.— In: *Advances in the sociology of language* / Ed. by J. Fishman. The Hague; Paris: Mouton and co., 1971c, p. 217—405.
- Fishman J. A.* Language modernization and planning in comparison with other types of national modernization and planning.— In: *Advances in language planning*. The Hague: Mouton, 1974a, p. 79—102.
- Fishman J. A.* Language planning and language planning research.— *Ibid.*, 1974b, p. 15—26.
- Fishman J. A.* Sociolinguistics: A brief introduction — 4-th print.— Rowley (Mass.): Newbury House, 1975.— xvi, 126 p.
- Fowkes R. A.* English, French and German phonetics and the substratum theory.— *Linguistics*, 1966, 21, p. 45—53.

- Friedrich P.* Rev.: [Variation and change in language/Essays by W. Bright. Selected and introduced by A. S. Dil. Stanford, C.A.; Stanford univ. press, 1976]—Language, 1978, 54, N 3, p. 751—753.
- Fromkin V.* Speculations on the performance models.—J. Ling., 1968, 4, N 1, p. 47—68.
- Gamillscheg E.* Über Lautsubstitution.—Beih. Z. roman. Philol., 1911, H. 27.
- Garvin P. L.* On linguistic method.—The Hague: Mouton and co., 1964.—158 p.
- Garvin P. L.* Introduction.—In: Method and theory in linguistics/Ed. by P. L. Garvin. The Hague: Mouton, 1970, p. 9—12.
- Garvin P. L.* Some comments on language planning.—In: Advances in language planning/Ed. by J. A. Fishmann. The Hague: Mouton, 1974, p. 69—78.
- Ginneken van J. J.* Die Erbllichkeit der Lautgesetze.—Indogermanische Forschungen, 1927, Bd 45, S. 1—44.
- Goląb Z., Heinz A., Polański K.* Słownik terminologii językoznawczej.—Warszawa: Państw. wyd-wo naukowe, 1968.—848 s.
- Goodenough W. H.* Cultural anthropology and linguistics.—In: Language in culture and society: A reader in linguistics and anthropology. New York: Univ. Pensilvania; Harper and Row, 1964, p. 36—39.
- Gray B.* Style: The problem and its solution.—The Hague; Paris: Mouton, 1969.—117 p.
- Gray B.* Towards a semi-revolution in grammar.—Lang. Sci., 1974, N 29, p. 1—12.
- Greenberg J. H.* Rethinking linguistics diachronically.—Language, 1979, 55, N 2, p. 275—290.
- Grimshaw A. D.* Sociolinguistics.—In: Advances in the sociology of language. The Hague; Paris: Mouton and co., 1971, p. 92—151.
- Gumperz J.* Types of linguistic communities.—Anthropol. Ling., 1962, 4, p. 28—36.
- Gutt A., Salfner R.* Socialisation und Sprache: Didaktische Hinweise zu emanzipatorischer Sprachschulung.—Frankfurt a. M.: Europäische Verlagsanstalt, 1971.
- Haas W.* Linguistics 1930—1980.—J. Ling., 1978, 14, N 2, p. 293—312.
- Habermas J., Zuhmann N.* Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie: Was leistet die Systemforschung.—Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1971.—404 S.
- Hagège C., Haudricourt A.* La phonologie panchronique: Comment les sons changent dans les langues.—Paris: Presse univ. France, 1978.—224 p.
- Halliday M. A. K.* Categories of the theory of grammar.—Word, 17, 1961, N 3, p. 241—292.
- Halliday M. A. K.* System and function in language/Selected papers ed. by G. Kress.—London: Oxford univ. press, 1976.—xxi, 250 p.
- Halliday M. A. K.* Language as a social semiotic: The social interpretation of language and meaning.—London: Arnold; Baltimore: Univ. Park press, 1978.—256 p.
- Harris Z. S.* From morpheme to utterance.—Language, 1946, 22, N 3, p. 161—183.
- Harris Z. S.* Methods in structural linguistics.—Chicago: Univ. Chicago press, 1955.—xv, 384 p.
- Hartung W.* Über Sinn und Inhalt der marxistisch-leninistischen Sprachauffassung.—Ling. Studien, R. A., 1973, H. 2, S. 66—93.
- Haugen E.* Planning for a standard language in modern Norway.—Anthropol. Ling., 1959, N 3, p. 8—21.
- Haugen E.* Rev.: [Introduction to a theory of language planning by V. Tauli].—Language, 1969, 45, N 4, p. 939—949.
- Haugen E.* The ecology of language.—Stanford (Cal.): Stanford univ. press, 1972.—356 p.
- Havers W.* Handbuch der erklärenden Syntax.—Heidelberg: Winter, 1931.—292 S.
- Heidolph K. E.* Syntaktische Funktionen und semantische Rollen. (I).—Ling. Studien. R. A., 1977, H. 35, S. 54—84.
- Heinz A.* Historia językoznawstwa.—Kraków etc.: Zakł. nar. im. Ossolińskich; Wyd-wo Pol. akad. nauk, 1979.—91 s.
- Helbig G.* Zum Status der Valenz und der semantischen Kasus.—Dtsch. als Fremdsprache, 1979, H. 2, S. 65—78.

- Helbig G.* Valenz — Satzglieder — semantische Kasus — Satzmodelle.— Leipzig : Enzyklopedie, 1982.— 106 S.
- Helbig G., Schenkel W.* Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben.— Leipzig : Bibliogr. Inst., 1975.—458 S.
- Heuer K.* Untersuchung zur Abgrenzung der obligatorischen und fakultativen Valenz des Verbs.— Frankfurt a. M. : Long, 1977.— 210 S.
- Hirtle W. H.* Time, aspect and the verb.— Québec : Presses univ. Laval, 1975.— 145 p.
- Historizität* in Sprach- und Literaturwissenschaft: Vorträge und Berichte der Stuttgarten Germanistentagung 1972.— München : Fink, 1974.— 685 S.
- Hjelmslev L.* Principes de grammaire générale.— København : Andr. Fred. Høst and Son, 1928.— 363 p.
- Hjelmslev L.* Sproget : En introduction.— København : Berlingske, 1963.— 136 s.
- Hjelmslev L.* Language : An introduction.— Madison (Milw.); London : Univ. Wisconsin press, 1970.— xiii, 144 p.
- Hjelmslev L.* Jazyk.— Praha : Academia, 1971.— 147 s.
- Hoeningwald H. M.* Language change and linguistic reconstruction.— Chicago : Univ. Chicago press, 1960.— 168 p.
- Hoeningwald H. M.* Studies in formal historical linguistics.— Dordrecht; Boston : Reidel publ. co., 1973a.— xi, 63 p.
- Hoeningwald H. M.* The comparative method.— Current Trends Linguistics, 1973b, vol. 11, p. 51—62.
- Hoeningwald H. M.* Intentions, assumptions and contradictions in historical linguistics.— In: Current issues in linguistic theory. Bloomington; London : Indiana univ. press, 1977, p. 168—194.
- Hooker C. A.* Methodology and systemic philosophy.— In: Basic problems in methodology and linguistics.— In : P. 3 of the proc. fifth intern. congr. of logic, methodology and philosophy of science. London; Ontario, Canada, 1975 / Ed. by E. Butts, J. Hintikka. Dordrecht-Holland; Boston : Reidel publ. co., 1977, p. 3—23.
- Hymes D.* Linguistic method in ethnography: Its development in the United States.— In: Method and theory in linguistics / Ed. by P. L. Garvin. The Hague; Paris : Mouton, 1970, p. 249—311.
- Hymes D.* Models of the interaction of language and social life.— In: Directions in sociolinguistics / Ed. by J. Gumperz, D. Hymes. New York; Chicago : Holt, Rinehart and Winston, 1972, p. 35—71.
- Hymes D., Fought J.* American structuralism.— Current Trends Linguistics, 1975, vol. 13, p. 903—1176.
- Idealistische Neuphilologie:* Festschrift für Karl Vossler.— Heidelberg : Winter, 1922.— 288 S.
- Istoria limbii române.*— București : Ed. Acad. RSR, 1969.— Vol. 1. 464 p.
- Jäger S.* Sprachunterricht und Sprachwissenschaft.— Muttersprache, 1971, 81, H. 3, S. 129—130.
- Jernudd B. H., Das Gupta J.* Towards a theory of language planning.— In: Can language be planned? / Ed. by J. Rubin, B. H. Jernudd. Honolulu : Univ. press Hawaii, 1971, p. 195—215.
- Joos M.* Description of language design.— In: Readings in linguistics. 1. The development of descriptive linguistics in America, 1925—1956.— 4th ed. Chicago; London : Univ. Chicago press, 1967, p. 349—356.
- Kanngießer S.* Sprachliche Universalien und diachrone Prozesse.— In: Sprachpragmatik und Philosophie. Frankfurt a. M. : Suhrkamp, 1976, S. 273—378.
- Karam F. X.* Toward a definition of language planning.— In: Advances in language planning. The Hague etc. : Mouton, 1974, p. 103—124.
- Karstien H.* Infixe im Indogermanischen.— Heidelberg : Winter, 1971.— xi, 346 S.
- Katz J. J.* Semi-sentences.— In: The structure of language: Readings in the philosophy of language. Englewood Cliffs; New Jersey : Prentice Hall, 1964, p. 400—416.
- Katz J. J., Fodor J. A.* The structure of a semantic theory.— Language, 1963, 39, N 2, p. 170—200.
- King R. D.* Historical linguistics and generative grammar.— New York : Prentice-Hall; Englewood Cliffs, 1969.— x, 230 p.

- Kiparsky P.* Linguistic universals and linguistic change.— In: *Universals in linguistic theory*. London; New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968, p. 171—202.
- Kiparsky P.* On comparative linguistics: the case of Grassmann's law.— *Current Trends Linguistics*, 1973, vol. 11, p. 115—134.
- Kuryłowicz J.* La nature des procès dits "analogiques".— *Acta ling.*, Copenhagen, 1949, 5, p. 15—37.
- Kuryłowicz J.* L'apophonie en indo-européen.— Wrocław: Zakł. nar. im. Ossolińskich. Wyd-wo Pol. akad. nauk, 1956.— 430 p.
- Kuryłowicz J.* L'accentuation des langues indo-européennes.— Wrocław; Kraków: Zakł. nar. im. Ossolińskich. Wyd-wo Pol. akad. nauk, 1958.— 434 p.
- Kuryłowicz J.* Esquisses linguistiques.— Wrocław; Kraków: Zakł. nar. im. Ossolińskich. Wyd-wo Pol. akad. nauk, 1960.— 311 p.
- Kuryłowicz J.* On the methods of internal reconstruction.— In: *Proc. ninth int. Congr. ling.* Cambridge, Mass., Aug. 27—31, 1962. The Hague: Mouton, 1964, p. 9—31.
- Labov W.* The social motivation of a sound change.— *Word*, 1963, 19, p. 273—309.
- Labov W.* The logic of non-standard English.— In: *Language and social contexts: Selected readings*. Harmondsworth: Penguin, 1972, p. 349—353.
- Labov W.* The social setting of linguistic change.— *Current Trends Linguistics*, 1973, vol. 11, p. 195—251.
- Laitin D. D.* Politics, language and thought.— Chicago; London: Univ. Chicago press, 1977.— 242 p.
- Langner H.* Sprachliche und soziale Schichten: Zu einigen Problemen des Einflusses sozialer Faktoren auf den Sprachgebrauch.— *Z. Phonetik, Sprachwis. und Kommunikationsforschung*, 1974, Bd 27, H. 1/3, S. 93—104.
- Lanly A.* Le français d'Afrique du Nord. Algérie — Maroc.— Paris: Press. univ. France, 1962.— 367 p.
- Lawton D.* Social class, language and education.— New York: Schocken, 1968.— ix, 181 p.
- Leçons de linguistique de Gustave Guillaume (1948—1949)* / Publ. R. Valin.— Paris; Quebec: Klincksieck, 1971.— Vol. 1, 269 p.
- Le français en France et hors de France*. 2. Nice, 1970. *Annales fac. lettres et sciences humaines de Nice*, N 12.
- Lehmann W. P.* Proto-Indo-European phonology.— Austin; Texas: Univ. Texas press, 1952.— xv, 129 p.
- Lehmann W. P.* Historical linguistics: An introduction.— New York, 1962.
- Lehmann W. P.* Historical linguistics: An introduction.— 2nd ed.— New York, 1972.
- Lehmann W. P.* Proto-Indo-European syntax.— Austin: Univ. Texas press, 1974.— xi, 278 p.
- Lehmann W. P.* The challenge of history.— In: *The scope of American linguistics*. Lisse, 1975, p. 41—57.
- Lepschy G. C.* Changes of emphasis in modern linguistics.— In: *Linguistic and literary studies in honor of A. A. Hill.* / Ed. by M. A. Jazayery, E. C. Polomé. Vol. 1. General and theoretical linguistics. Lisse: Ridder, 1976, p. 189—199.
- Levi-Strauss C.* Structural anthropology.— Harmondsworth: Penguin, 1977.— xvi, (4), 410 p.
- Lewy E.* Zur Sprache des alten Goethe: Ein Versuch über die Sprache des Einzelnen (1913).— In: *Kleine Schriften*. Berlin: Akademie, 1961a, S. 91—105.
- Lewy E.* Die Sprache des alten Goethe und die Möglichkeit ihrer biologischen Fundamentierung (1930—1931).— In: *Kleine Schriften*. Berlin: Akademie, 1961b, S. 106—112.
- Löffler H.* Mundart als Sprachbarriere.— *Wirkendes Wort*, 1972, H. 1, S. 23—39.
- Lyons J.* Introduction.— In: *New horizons in linguistics* / Ed. by J. Lyons. Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1977, p. 7—28.
- Makkai A., Becker Makkai V.* The nature of linguistic change and modern linguistic theories.— In: *Current progress in historical linguistics*: Proc, second

- intern. conf. hist. ling. Tucson. Arizona, 1—16 Jan. 1976. Amsterdam, etc.: North-Holland publ. co., 1976, p. 235—266.
- Mańczak W.* Origine de l'apophonie e/o indo-européen.— *Lingua*, 1960, 9, p. 277—287.
- Manessy G.* Le français d'Afrique Noire, français créole ou créole français?— *Langue française*, 1978, N 37, p. 91—105.
- Marouzeau J.* Précis de stylistique française.— 3-ème ed. revue et augm.— Paris: Masson, 1950.— 224 p.
- Marty A.* Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie.— Halle a. Saale: Niemeyer, 1908.— Bd. 1. 764 S.
- Mathiot M.* Theory-building in the descriptive approach.— In: *Method and theory in linguistics* / Ed. by P. L. Garvin, The Hague; Paris: Mouton, 1970, p. 159—168.
- Meillet A.* Les langues dans l'Europe nouvelle.— Paris: Payot, 1918.— 340 p.
- Method and methodology, or methodeutic.*— In: *Dictionary of philosophy and psychology* / Ed. by J. M. Baldwin. New York: Macmillan co., 1928, vol. 2, p. 75.
- Method and theory in linguistics* / Ed. by P. L. Garvin.— The Hague; Paris: Mouton, 1970.— 336 p.
- Milewski T.* Introduction to the study of language.— The Hague; Paris: Mouton; Warszawa: Pol. wyd-wo nauk., 1973.— 204 p.
- Miller A. R.* The Japanese language in the contemporary Japan. Some sociolinguistic observations.— Washington D. C.: Amer. enterprise inst. publ. policy research; Stanford C. A.: Hoover inst., 1977.— 105 p.
- Miller G. A.* The psychology of communication.— Seven essays.— New York; London: Basic books, 1975.— xi, 197 p.
- Miller G. A., Chomsky N.* Finitary models of language users.— In: *Handbook of mathematical psychology*. New York, 1963, p. 419—491.
- Morfológia slovenského jazyka.*— Bratislava: Vyd-vo Sloven. akad. vied, 1966.— 895 s.
- Neustupný J.* On the analysis of linguistic vagueness.— *Travaux ling. de Prague*, 1966, fasc. 2. Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue, p. 39—51.
- Neustupný J. B.* Basic types of treatment of language problems.— In: *Advances in language planning*. The Hague etc.: Mouton, 1974, p. 37—44.
- Ney J. W.* The decade of private knowledge: Linguistics from the early 60-s to the early 70-s.— *Historiographia ling.*, 1975, 11, N 2, p. 143—156.
- Niebold W.* Sprache und soziale Schicht: Darstellung und Kritik der Forschungsliteratur seit Bernstein.— Berlin: Spiess, 1970.— 78 S.
- Nikula H.* Verbalenz: Untersuchungen am Beispiel des deutschen Verbs mit einer kontrastiven Analyse Deutsch-Schwedisch. Diss.— Uppsala, 1976.— 165 S.
- The Oxford English dictionary*: In 12 vol.— Oxford: Clarendon press, 1970.— Vol. 6, 820 p.
- Oyelaran O. O.* Aspects of linguistic theory in Firthian linguistics.— *Word*, 1967, 23, N 1/2/3, p. 428—452.
- Pap L.* On the scope of linguistics today.— *Word*, 1978, 29, N 2, p. 7—17.
- Pasch R.* Zum Status der Valenz.— *Ling. Studien. R. A.*, 1977, H. 42, S. 1—50.
- Pike K. L.* Towards a theory of the structure of human behavior.— *Stud. Ling.*, 1960, 15, p. 1—7.
- Pike K. L.* Language in relation to a unified theory of human behavior.— 2-nd rev. ed.— The Hague; Paris: Mouton and co., 1967.— 762 p.
- Pitkin H.* Method and theory in the perspective of anthropological linguistics.— In: *Method and theory in linguistics* / Ed. by P. L. Garvin. The Hague; Paris: Mouton, 1970, p. 27—33.
- Poghirc C.* Influența autohtonă.— In: *Istoria limbii române*. București: Ed. Acad. RSR, 1969, vol. 2, p. 313—365.
- Porzig W.* Die Gliederung des indo-germanischen Sprachgebiets.— Heidelberg: Winter, 1954.— 251 S.

- Práce o sémantické struktuře věty (přehled a kritický rozbor).* F. Daneš, Z. Hlavsa, J. Kořenský se spolupracovníky.— Praha: Ústav pro jaz. čes. ČSAV, 1973.— 202 s.
- Probleme der semantischen Analyse/Hrsg. D. Viehweger u. a.—* Berlin: Akademie, 1977.— 405 S.— (Stud. grammat.; 15).
- Pulgram E.* Proto-Indo-European reality and reconstruction.— *Language*, 1959, 35, N 3, p. 421—426.
- Reichenkron G.* Das Dakische (rekonstruiert aus dem Rumänischen).— Heidelberg: Winter, 1966.— 227 S.
- Reichling A.* Principles and methods of syntax: cryptoanalytical formalism.— *Lingua*, 1961, 10, p. 1—17.
- Regula M.* Kann man die "generative Transformationsgrammatik" als eine die Sprachforschung fördernde Errungenschaft bezeichnen.— In: *Theorie, Methode und Didaktik der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft.* Wiesbaden, 1973, S. 91—92.
- Robins R. H.* General linguistics: An introductory survey.— London: Longmans, 1966.— 390 p.
- Rona P. J.* A structural view of sociolinguistics.— In: *Method and theory in linguistics* / Ed. by P. L. Garvin. The Hague; Paris: Mouton, 1970, p. 199—208.
- Rosengren I.* Status und Funktionen der tiefenstrukturellen Kasus.— In: *Beiträge zu Problemen der Satzglieder* / Hrsg. G. Helbig. Leipzig: Enzyklopedieverlag, 1978, S. 169—211.
- Ross J. R.* On the cyclic nature of English pronominalisation.— In: *To honor of Roman Jakobson. Essays on the occasion of his seventieth birthday.* The Hague; Paris: Mouton, 1967, vol. 3, p. 1669—1682.
- Die russische Sprache der Gegenwart.*— In 4 Bd / Hrsg. Gabka K.— Leipzig: Enzyklopedieverlag, 1976.— Bd 3, 336 S.
- Rubin J., Jernudd B. H.* Language planning as practiced today.— In: *Can language be planned?* / Ed. by J. Rubin, B. H. Jernudd. Honolulu: Univ. press Hawaii, 1980, p. xiii — xxiv.
- Sanders G. A.* Introduction.— In: *Explaining linguistic phenomena* / Ed. by D. Cohen. New York etc.: Hemisphere publ. corp. (J. Willy and sons), 1974, p. 1—20.
- Sapir E.* Selected writings.— Berkeley: Univ. California press, 1951.— xv, 617 p.
- Sapir E.* Culture, language and personality: Selected essays.— Berkeley; Los Angeles: Univ. California press, 1966.— 207 p.
- Schmitt-Brandt R.* Die Entwicklung des indogermanischen Vokalsystems.— Heidelberg: Groos, 1967.— 140 S.
- Schönfelder K.-H.* Probleme der Völker- und Sprachmischung.— Haale (Saale): Niemeyer, 1956.— 80 S.
- Schumacher H.* Zum Problem der Satzmodelle.— In: *Sprachsystem und Sprachgebrauch* / Festschrift H. Moser. T. 2. Sprache der Gegenwart, 1975, H. 34, S. 360—372.
- Scientific method* — In: *The encyclopedia of philosophy.* New York: Macmillan co. and the free press; London: Collier-Macmillan, 1967, vol. 7, p. 339—343.
- Simon G.* Bibliographie zur Soziolinguistik.— Tübingen: Niemeyer, 1974.— xxvii, 179 S.
- Simon G., Ammon U.* Thesen vom Verhältnis von Sociolinguistik und Systemlinguistik.— In: *Historizität in Sprach- und Literaturwissenschaft: Vorträge und Berichte der Stuttgarter Germanistentagung 1972.* München: Fink, 1974, S. 329—336.
- Stiertsema B.* A study of glossematics: Critical survey of its fundamental concepts — 2nd ed.— The Hague: Nijhoff, 1965.— 288 p.
- Skinner B. F.* Verbal behavior.— New York: Appleton — Century — Crofts, 1957.— x, 479 p.
- Sojko I. W.* Satzmodelle mit nicht-realisierte syntaktischer Valenz in der deutschen und ukrainischen gesprochenen Sprache: Diss. A.— Leipzig, 1979.— 205 S.
- Sommerfeldt K.-E., Schreiber H.* Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Adjektive.— Leipzig: Bibliogr. Inst., 1974.— 435 S.

- Sommerfeldt K.-E., Schreiber H.* Wörterbuch zur Valenz und Distribution der Substantive.— Leipzig : Bibliogr. Inst., 1977.— 432 S.
- Spitzer L.* Two notes.— *Language*, 1943, 19, N 3, p. 258—261.
- Sprache als soziales Verhalten.*— Bebenhaus : Rotsch, 1973.— 128 S.
- Sprachliche Kommunikation und Gesellschaft.*— Berlin : Akademie, 1974.— 636 S.
- Stankiewicz E.* Problems of emotive language.— In: *Approaches to semiotics: Cultural anthropology. Education. Linguistics. Psychiatry. Psychology: Transactions of the Indiana univ. conference on paralinguistics and kinesics. The Hague etc.*: Mouton, 1964, p. 239—276.
- The structuralist controversy: The languages of criticism and the sciences of man* / Ed. by R. Macksey, E. Donado.— Baltimore; London : Hopkins univ. press, 1977.— xii, 345 p.
- Sy M.* Discours d'ouverture à la IV table ronde des centres de linguistique appliquée d'Afrique francophone. Dacar. 14—17 mars 1979.— *Réalités africaines et langue française*, 1980, mars, p. 7—9.
- Szemerényi O.* Einführung in der vergleichende Sprachwissenschaft.— Darmstadt : Wiss. Buchgesellschaft, 1970.— xiv, 311 S.
- Tauli V.* Introduction to a theory of language planning.— Uppsala : Univ. Uppsala press, 1968.— 130 p.
- Tauli V.* The theory of language planning.— In: *Advances in language planning. The Hague etc.*: Mouton, 1974, p. 49—87.
- Teeter K.* Descriptive linguistics in America: Triviality versus irrelevance.— *Word*, 1964, 20, N 2, p. 197—206.
- Tesnière L.* Eléments de syntaxe structurale.— Paris : Klincksieck, 1959.— 670 p.
- Thèses présentées au Premier Congrès International de Linguistes à la Haye (1928)* par R. Jakobson, S. Karcevskij, V. Mathesius avec Ch. Bally et A. Sechehaye.— In: *Actes du Premier Congr. Intern. Linguistes. Leiden (s. d.)*, p. 85—86.
- Thorne J. P.* Generative grammar and stylistic analysis.— In: *New horizons in linguistics* / Ed. by J. Lyons. Harmondsworth etc.: Penguin, 1977, p. 185—197.
- Travaux linguistiques de Prague. Fasc. 2. Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue.* Prague : Academia, 1966.— 287 p.
- Trnka B.* Hjelmslevová teorie jazykové analýzy.— *Čas. mod. filologii*, 1967, zeš. 1.
- Uhlenbeck E. M.* Nové výsledky vývoje transformační generativní gramatiky (kritický přehled).— *Slovo a slovesnost*, 1971a, N 1, s. 1—19.
- Uhlenbeck E. M.* Nové výsledky vývoje transformační generativní gramatiky (hodnocení).— *Slovo a slovesnost*, 1971b, N 2, s. 117—139.
- Uhlenbeck E. M.* Critical comments on transformational-generative grammar.— *The Hague : Smits*, 1972.— vii, 171 p.
- Vachek J.* On the intergration of the peripheral elements into the system of language.— *Travaux linguistiques de Prague*, 1966, fasc. 2. Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue, p. 23—37.
- Vachek J.* Notes on gender in modern English.— In: *Vachek J. Selected writings in English and general linguistics.* Prague : Academia, 1976, p. 386—392.
- Veenker W.* Die Frage des finno-ugrischen Substrats in der russischen Sprache.— *Bloomington; The Hague*, 1967.— xv, 329 S.— (Indiana univ. publ. Uralic and Altaic ser. 82).
- Verhaar J. W. M.* Method, theory and phenomenology.— In: *Method and theory in linguistics* / Ed. by P. L. Garvin. The Hague; Paris : Mouton, 1970, p. 42—82.
- Viatte A. La francophonie.*— Paris : Larousse, 1969.— 205 p.
- Voegelin C. F., Harris Z. S.* The scope of linguistics.— *Amer. Anthropol.*, 1947, N 49, p. 588—600.
- Vossler K.* Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft: Eine sprachphilosophische Untersuchung.— Heidelberg : Winter, 1904.— 98 S.
- Vossler K.* Sprache als Schöpfung und Entwicklung.— Heidelberg : Winter, 1905.— 154 S.
- Vossler K.* Geist und Kultur in der Sprache.— Heidelberg : Winter, 1925.— 268 S.
- Wald P., Chesny J., Hily M. A., Poutighat Ph.* Continuité et discontinuité sociolinguistiques: Hypothèses pour une recherche sur le français en Afrique noire.— Nice : Centre d'Etude des Plurilinguismes, 1973.— 56 p.

- Wartburg von W.* Die Ausgliederung der romanischen Sprachräume.— Z. roman. Philol., 1939, Bd 59.
- Wartburg von W., Ullmann S.* Problèmes et méthodes de la linguistique.— Paris: Press. univ. France, 1963.— 262 p.
- Weinreich U.* Languages in contact: findings and problems.— New York: Mouton, 1953.— 149 p.
- Weinreich U., Labov W., Herzog M.*— Empirical foundations for a theory of language change.— In: Directions for historical linguistics. Austin; Texas, 1968, p. 95—188.
- Whorf B. L.* Science and linguistics.— Technol. rev., 1940, 42, N 6, p. 229—231, 247—248.
- Williams G.* Linguistic reflections of cultural systems.— Anthropol. Ling., 1966, 8, N 6, p. 3—21.
- Wolf K. H., Thorne B.* Notes on the sociology of knowledge and linguistics.— In: Studies in the history of linguistics: Traditions and paradigms / Ed. by D. Hymes. Bloomington, London: Indiana univ. press, 1974, p. 502—510.
- Wunderlich D.* Zum Status der Soziolinguistik.— In: Aspekte der Soziolinguistik. Frankfurt: Klein-Wunderlich, 1971, S. 297—317.
- Zamani S.* Die soziolinguistischen Arbeiten Basil Bernsteins: Ihre empirische Basis und ihre bildungspolitischen Auswirkungen. Inaug.— Diss.— Mainz, 1976.— iii, 221 S.
- Zima J.* K problému expresivity slova.— V: O vědeckém poznání soudobých jazyků. Praha: Nakl. Čes. akad. věd, 1958, s. 201—206.

СОДЕРЖАНИЕ

Зарубежное языкознание на распутье	3
ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА	11
Понимание специфики языка как общественного явления	11
Проблема соотношения языка и культуры	24
Вопросы истории языка	34
Освещение результатов взаимодействия языков	51
Теория «языкового планирования»	70
Проблемы типологии языковой вариантности	83
ПРОБЛЕМАТИКА СТРУКТУРЫ ЯЗЫКА И МЕТОДОВ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ	105
Трактовка связи между значением и звуковым выражением	105
Интерпретативная и генеративная семантика	125
Проблемы изучения экспрессивных единиц языка	140
Понимание соотношения метода и теории	159
Проблемы теории валентности (на материале немецкого языка)	177
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	191